Юлиан Семенов

ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

ЮЛИАН СЕМЕНОВ

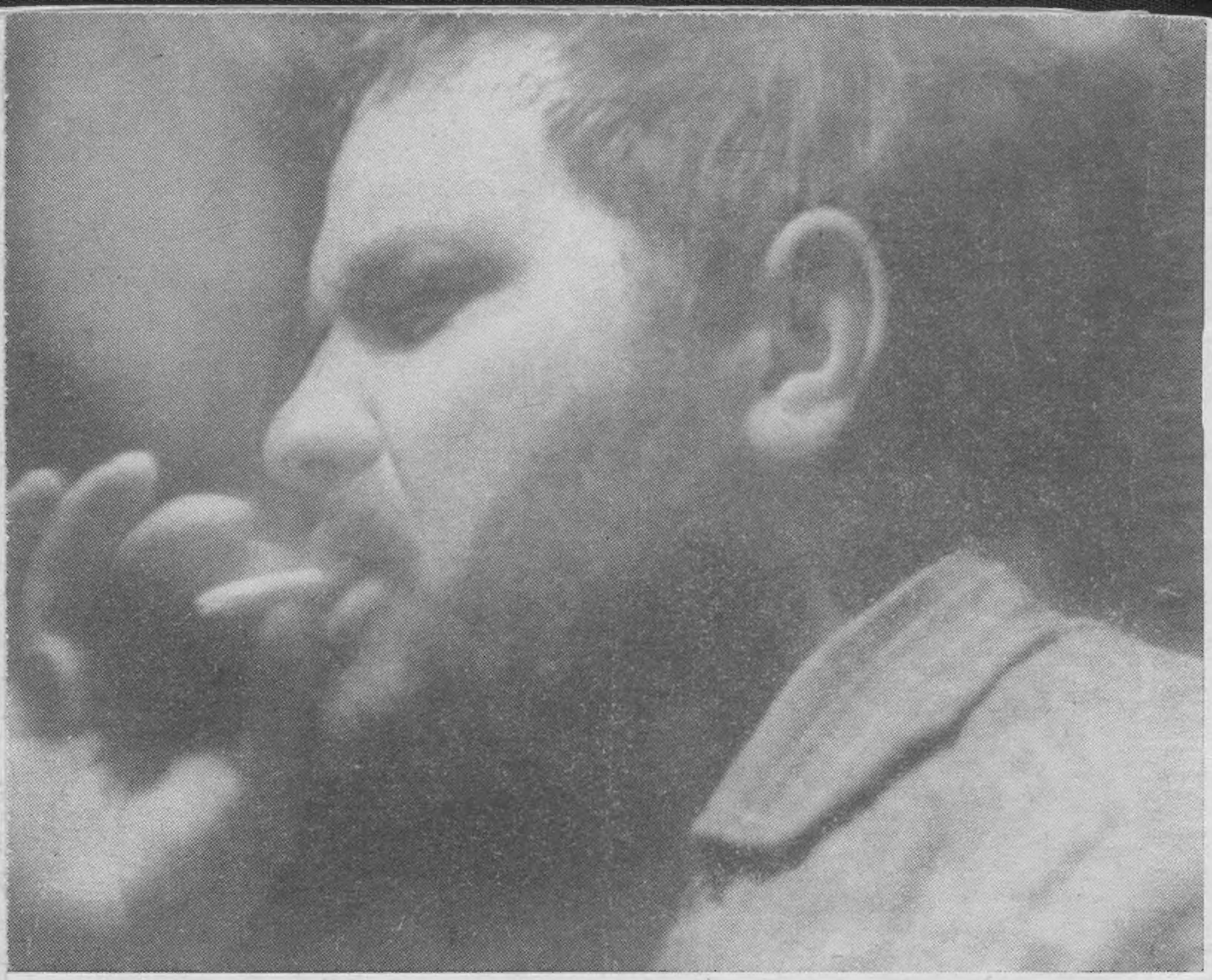
N 1246
120-

ЮЛИАН
СЕМЕНОВ

ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

РОМАН

СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1966



1921 год. В Токио разработана владивостокская операция — реванш за события 1920 года, когда была создана Дальневосточная республика. Во Владивостоке переворот, власть в руках купцов, братьев Меркуловых. Коммунисты уходят в подполье. В Хабаровске, Чите — центрах ДВР — готовятся к решающей схватке с белыми войсками. В сложной дипломатической игре японцев и американцев с марионеточным правительством Спиридона Меркулова и ДВР преследуются политические и экономические выгоды интервентов, уже не решающихся выступить открыто.

Действие романа происходит одновременно во многих местах: в Чите, Хабаровске, Владивостоке, Дайрене, в партизанском отряде, в частях Народной революционной армии ДВР. В него втягиваются самые различные люди — солдаты, генералы, марионеточные премьеры, контрразведчики, комиссары и министры ДВР. В центре многих событий романа — герои гражданской войны, комиссар П. П. Постышев и военный министр ДВР В. К. Блюхер.

Короткие главы сменяют одна другую, словно кадры киноленты. Сюжет развивается напряженно и динамично.

Герой романа — разведчик Владимиров, посланный Дзержинским во вражеское логово.

7-3-2
73-66

На суперобложке воспроизведены плакаты РОСТа работы художника Владимира Лебедева. 1917 г.

ВСТУПЛЕНИЕ

1

Пятый год революции пришел в Россию с голодом. Вымирали целые волости. В холодных вокзалах, на цементных платформах, лежали тихие дети с желтыми старческими лицами. Над обезлюдевшими деревнями и голыми полями черными стаями носилось воронье.

Блаженный Митенька — голубоглазый паренек в серой власянице — бился на паперти Ново-Девичьей церкви, царапал щеки и смеялся, выкрикивая:

— Мор! Мор! Мор!

Голос у него был ломкий, совсем еще детский, слышался он далеко окрест, звенел и перекатывался в студеном воздухе.

Богомолки терпеливо спрашивали:

— Кому мор, Митенька?

— Пальчикам и рученькам, ноженькам и глазынькам,— отвечал блаженный.

— Чьим пальчикам-то?

— Маленьким!— кричал Митенька.— Ма-алюсеньким!

— А что станется? — шептали старухи.

— Благовещенье,— отвечал Митенька испуганно и смотрел на старух жалобно, а ногти грыз быстро-быстро, словно белка.

2

Верховный совет Антанты, вынужденный считаться с мировым общественным мнением, которое требовало оказать немедленную помощь голодающим, поручил бывшему послу Франции в Петербурге господину Нуллансу ознакомиться с положением в России и внести свои предложения. Была создана Брюссельская комиссия. Работа продолжалась много недель. Поволжье продолжало вымирать. Нулланс давал интервью и устраивал приемы, на которых угощал стерляжьей ухой «а ля рюс». По прошествии нескольких месяцев Нулланс заявил:

— Помощь голодающим в принципе возможна, если, конечно, Ленин признает все долги законного правительства императора Николая Романова и лишь в том случае, когда наши люди будут допущены на места, чтобы провести личное расследование.

3

Когда корреспонденты из Лондона спросили народного комиссара иностранных дел Чичерина, как он расценивает подобного рода предложение, Георгий Васильевич ответил:

— Как бы вы отнеслись к доктору, который у постели тяжелобольного требует денег за предыдущие визиты? Если вы исповедуете гуманизм, вы обязаны назвать такое поведение подлостью и живодерством.

Переводчик на слове «живодерство» засмущался и стал делать жесты.

4

— *Живодерство,— резко повторил Чичерин,— именно это я и хотел сказать.*

2 *Репортер из «Ньюс кроникл» спросил:*

— *Считает ли господин министр такое слово допустимым в лексиконе дипломата?*

— *Я исповедую дипломатию правды,— ответил Чичерин.*

— *Но если вы откажетесь от предложений Нулланса — Россия погибнет!*

Чичерин отхлебнул глоток холодного черного чая, усмехнулся и спросил:

— *Вы так считаете?*

4

Помощник министра обороны Великобритании тщательнейшим образом изучал все относящееся к России.

— *У них полный крах. Они проиграли в угле, стали, нефти и хлебе. Эти данные свидетельствуют о том, что Кремлю сейчас, как никогда, тяжело,— говорил он сотрудникам отдела стратегической разведки.— Сегодняшнее положение в России я оцениваю как наш последний шанс. Итак, я говорю вам — пора!*

В этот же день люди из министерства обороны отправились в Польшу — к Петлюре, в Румынию — к Булаховичу, в Чехословакию — к Савинкову, в Хельсинки — к Маннергейму. Самый грубый проигрыш в политике — упущенное время. Надо было в возможно короткий срок подготовить единый фронт выступлений против Москвы. Особо доверенный представитель министерства выехал в Париж для секретных переговоров с руководителями французского генерального штаба.

В тот же день, в пять часов по Гринвичу, премьер-министр Ллойд Джордж был проинформирован о всех предпринятых акциях.

Через час после визита руководителей военного ведомства премьер-министр принял личного представителя Ленина Леонида Красина.

Премьер-министр заявил, что помощь голодающей России начнется сразу же после того, как большевики передадут британским фирмам часть железнодорожных магистралей юга и центра РСФСР. Только это, утверждал Ллойд Джордж, может оказаться той достаточной гарантией, которая устроит британских предпринимателей, согласившихся в принципе финансировать помощь Москве.

5

Представитель Ленина в категорической форме отверг эти предложения премьер-министра Великобритании.

Проводив Красина, премьер попросил вызвать для беседы японского посла.

5

В японском генеральном штабе работали круглые сутки. Лучшие специалисты по России сидели за статистическими таблицами и подсчитывали хлебный потенциал Советов. Ведущий специалист по русским делам МИДа господин Мацудайра все последнее время почти не выходил из двухэтажного здания военной разведки. Два дня господин Мацудайра не был в бане, и поэтому ему все время казалось, что по спине пошли прыщики. Господин Мацудайра был человеком мнительным, и единственное, что мешало ему в работе над владивостокской операцией, были именно эти злополучные прыщики.

О, как великолепно была задумана в Токио владивостокская операция! Это был реванш за выигрыш Ленина, который сумел в апреле 1920-го создать на громадной территории от Байкала до Владивостока суверенное государство ДВР — Дальневосточную республику, «Красный буфер». Этой акцией Ленин парализовал действия японцев в Сибири, ибо ДВР, построенная на принципах незыблемости частной собственности и широкой многопартийности, тут же наладила отношения с Америкой. А США зорко наблюдали за всеми действиями японцев в России, и всякий их успех расценивался в Вашингтоне, как перспективная операция потенциального противника. Вашингтон устраивала слабая дальневосточная окраина без японцев. Подготавливая заговор во Владивостоке, Токио учло позицию Вашингтона. Началась сложнейшая дипломатическая игра. Нужно было найти и привести в ДВР к власти таких русских, которые сначала утвердились бы как антибольшевистская сила — это бы американцы приветствовали, а уж потом такая истинно русская белая сила обратилась бы за помощью к Японии, но никак не к Вашингтону. Однако то была бы уже вторая стадия операции. Пока важно выиграть первую стадию. В течение года в Токио тщательно готовились. Во Владивостоке была создана подпольная контрреволюционная организация во главе с братьями Меркуловыми. Старший, Спиридон Дионисьевич, был купцом, фигурой на Дальнем Востоке довольно известной. Младший, Николай Дионисьевич,— капитан, уже

двадцать лет гонял пароходы по Амуру. Братья были умны и богаты. На них делалась первая ставка. За помощью они обратятся только к японцам и ни к кому больше. А как же отказать суверенной русской, белой власти, которая просит о помощи?! Никак нельзя отказать! Следовательно, перед красными Токио соблюдает реноме — все совершается в соответствии с законом. Да и Вашингтон не сможет придраться: как не помочь антибольшевистскому режиму?! А Лондон и Париж в этой акции первые союзники.

Второй ставкой был атаман Григорий Михайлович Семенов, который сидел в японском генштабе. Но он был как бы запасным центром, приготовленным на случай провала Меркуловых.

К братьям Меркуловым японцы подключили опытного контрразведчика полковника Гиацинтова, который жил во Владивостоке легалом, собирал досье на коммунистов, готовил склады оружия и непосредственно поддерживал связь с японской миссией. Николай Меркулов два раза ездил в Харбин и здесь наладил связь с наиболее влиятельными кругами эмиграции, с либеральной профессурой, с королем газетчиков Николаем Ивановичем Ванюшиным. Это было необходимо для того, чтобы сразу же после переворота заручиться поддержкой эмигрантской прессы. Естественно, о том, что Япония поддерживала его, Меркулов молчал. Речь шла только о том, чтобы создать на территории ДВР законное русское белое правительство. После разгрома Колчака такого противодействующего Ленину правительства — хотя бы чисто формального — на территории России не было.

А появись оно — у Антанты сразу же развяжутся руки. Можно будет помочь не только тем формированиям, которые располагались вдоль границ РСФСР. Нужно будет «выполнять союзнический долг», то есть помогать «законному, белому» русскому правительству, которое находится на территории России и, следовательно, представляет русский народ.

Поэтому чрезвычайные посланники Японии в Париже, Лондоне и Вашингтоне проинформировали глав правительств Антанты о ситуации на русском Дальнем Востоке. И так как Ленин от уплаты царских долгов отказался, железные дороги России под контроль иностранцам не передал, словом, не пошел даже на частичную капитуляцию, операция японцев была признана своевременной. Чтобы поддержать эту дальневосточную операцию, главы европейских правительств поручили своим военным министрам продумать возможность координированного выступления, которое призвано было отвлечь внимание Москвы от подготовляемого дальневосточного путча.

И по прошествии некоторого времени, почти в один день, европейские границы РСФСР пересекли банды Петлюры, Тютюнника, Булаховича, Савинкова; заиграли бандиты на Тамбовщине.

Чуть позже других выступил барон Унгерн фон Штернберг. Его войска двинулись через Монголию к границам России. Войска пятой армии Уборевича, подпиравшие на Байкале границы ДВР, повернули жерла пушек в другую сторону, двинувшись навстречу Унгерну. Этого только и ждали в Токио.

И вот ночью 26 мая 1921 года во Владивостоке был совершен переворот. Коммунистические организации частью ушли в подполье, частью отступили в сопки. Премьер «нового русского правительства» Спиридон Меркулов три часа отстоял на коленях в церкви, вышел оттуда весь просветленный и приступил после этого к формированию кабинета. Брат получил портфель министра иностранных дел и в тот же день вызвал для беседы двух консулов — Японии и Франции.

6

Заметно сдал Пуанкаре за последний год, но глаза его — маленькие, всевидящие буравчики — по-прежнему глядели на мир умно и весело.

— Чтобы все люди земли были счастливы,— говорил он единственному гостю, приглашенному к завтраку, русскому генералу, сподвижнику барона Врангеля,— каждый обязан быть хоть немножечко виноградарем. Землепашество — это иное, это необходимость. Виноградарство — искусство. А?

Генерал слушал его молча, тяжело смотрел себе под ноги и ощущал громадную, нечеловеческую усталость.

«Что он знает? — думал русский.— Что они все видели? Верден? Ах, боже ты мой, Верден! Им один денек России показать. Виноградарь чертов! Водки бы стакан. Ишь вина выставил. Водки бы с луком».

— Понимаете, мой генерал? — продолжал говорить Пуанкаре.— Теперь они задохнутся, потому что потеряли изящество, обязанное сопутствовать культу возделывания земли. Этим они убили себя. Ленин — сильный политик, но он мыслит прямолинейными категориями, а изящество, составляющее сердцевину прогресса, не терпит прямолинейности. Ленин на грани падения. Надо только помочь.

Генерал посмотрел на Пуанкаре исподлобья и тяжело усмехнулся. Старик резко отодвинулся.

— А? Что? — спросил он.

«На ежа б тебя голым задом,— подумал генерал,— сука старая».

Вслух он сказал:

— Ваше превосходительство, меня изумляет ваше умение анализировать самую сущность события... Только я не совсем ясно представляю себе возможность «помощи» Ленину.

Пуанкаре достал из кармана старые часы-луковицу, постучал пальцем по циферблату и, прищурившись, сказал:

— Сегодня утром во Владивостоке к власти пришло законное правительство во главе с господином Меркуловым, истинным патриотом России.

Генерал мучительно напряг память, но фамилия Меркулова ни о чем ему не говорила.

— Я счастлив,— сказал он.— Господин Меркулов действительно великий гражданин нации.

Пуанкаре чуть улыбнулся и сказал:

— Теперь весь вопрос заключается в том, чтобы перебросить туда войска барона Врангеля на наших кораблях.

Генерал сразу же представил себе пьяных офицеров в константинопольских и афинских кабаках, солдат, которые до сих пор живут на пароходах, угнанных из Крыма, и по ночам поют тоскливые мужицкие песни, моряков, что матерят весь мир людской и рвутся обратно, на родину; он представил все это разом — всех измученных, изверившихся людей, которые перестали быть армией,— и сказал:

— Наши люди готовы к бою за Учредительное собрание. Для организации нужно только одно...

— Я понимаю... Оружие?

— Нет. Деньги.

На какую-то долю секунды генерал испугался, что покраснеет, потому что Пуанкаре впился в него своими пронзительными буравчиками — будто в душу влезал. Потом Пуанкаре подвинул генералу блюдо и сказал:

— Вот сыры. Они прекрасны.

7

Во время очередной пресс-конференции корреспондент «Нью-Йорк таймс» задал вопрос президенту, отзовется ли правительство Северо-Американских Штатов на призыв о помощи голодающим России.

— Мы не можем иметь дело с правительством Ленина,— ответил президент,— ибо оно на грани катастрофы. Помогать можно реальной силе. В Москве такой реальной силы нет.

ЛУБЯНКА, 2

Дзержинский отошел к окну. Над городом занимался промозглый рассвет. По-прежнему хлестал шалый весенний ливень. Где-то далеко звонили колокола.

— К заутрене,— тихо сказал Владимиров.

— Послушайте,— спросил Дзержинский,— а вы часто проклинаете все и вся? За то, что у вас нет имени, нет семьи, нет дома?

— Часто.

— Я обещал вам отдых...

— Его не будет?

Дзержинский покачал головой.

— Я понимаю... Куда?

— К Меркуловым. Во Владивосток.

Дзержинский вернулся к столу. Выключил настольную лампу и потер глаза. В комнате стало сине. Черный провал окон был словно вдавлен в серое небо. Над Лубянкой летали белые голуби. На Красной площади малиново перезванивали куранты. Дзержинский положил руку на плечо Владимирова, долго смотрел в его лицо, а потом тихо и до боли грустно сказал:

— Когда возвратитесь, Всеволод, обязательно заведите двух сыновей. А еще лучше — двух сыновей и дочь. Память отцов хранят дети. К обелискам я отношусь отрицательно, да и потом Древний Рим доказал всю их относительность. К тому же людям вашей профессии обелиски не ставят. Вы относитесь к той категории людей, которые призваны быть маршалами без имени, о которых никогда не узнают победители-солдаты. Молчаливый героизм. Мужественный. И самый трудный. Так-то. Ну, давайте пить чай.

Дзержинский намазал Владимирову маслом кусок хлеба, присыпал сахаром и, положив на тарелку, разрезал на несколько ломтиков.

— Угощайтесь,— сказал он,— заварка отменно хороша.

Выпив чай, Дзержинский стал ходить по кабинету. Говорил он быстро, но каждая его мысль была сформулирована четко и ясно до предела.

— Владивосток в течение ближайших месяцев будет некоей лакмусовой бумажкой, по которой мы сможем судить о «колебаниях цен» на международной антисоветской бирже. Следовательно, прежде всего нас будет интересовать политическая ситуация во Владивостоке, столице «Черного буфера». Я не обязываю вас сделаться прозорливой Кассандрой, но мы здесь будем очень ждать ваших прогнозов на будущее, которые должны быть основаны на тамошнем видении ситуации, беспощадно честном и нелицеприятном для нас. Это — главное. Дальше: вам нужно будет постараться нащупать уязвимое звено в японо-американских противоречиях, с одной стороны, и, с другой, выявить такие же противоречия между Меркуловыми и атаманом Семеновым. По нашим сведениям, он собирается выехать из Токио во Владивосток. Конечно, он сразу же начнет драку с Меркуловыми за власть. В эту драку надо будет постараться подлить масла — тогда зачадит. Но если это будет сопряжено с риском — оставьте и не встревайте. Для нас самое важное — получать от вас точную информацию из самого мозга белого движения на Дальнем Востоке, это главное. Теперь о контактах: первым, кто введет вас в конкретную обстановку Владивостока и мятежа, будет Постышев. Он — единственный, к кому вы явитесь в Хабаровске. Завтра же вы познакомитесь у Склянского в реввоенсовете с Блюхером. Он назначен военным министром Дальневосточной республики, это будет второй канал, через который мы с вами будем поддерживать контакт. Теперь о некоторых существенных деталях...

ВЛАДИВОСТОК. КОНТРРАЗВЕДКА

Полковник Гиацинтов сидит на подоконнике. Глаза полузакрыты, подбородок опущен на грудь, тихо и распевно читает он Блока: «О подвигах, о доблести, о славе...» На диване полулежит князь Мордвинов. Он похож на татарина: лицо плоское, спокойное, кожа на подбородке и под носом — девичья, свежая; растительности почти

нет. Френч князь повесил на спинку кресла и сейчас, на старинном кожаном диване, в галифе и тонкой шелковой рубахе, кажется гусаром прошлого века. Лежит он картинно: нога за ногу, мыски вытянуты, как у балерины, голенища начищены до антрацитового блеска.

— Юрочка,— говорит Гиацинтов, оборвав строку,— право, плюньте на все это. Научитесь спокойствию в мышлении. Вас там непременно схватят и через месяц шлепнут в чекистском подвале.

— Может быть. Но если мы все будем сидеть кротами, тогда уж наверняка нас с вами шлепнут в здешнем подвале через год. Чтобы сохранить себя — надо драться.

— Неужели вы не видите, что мы проиграли? Мы гальванизируем труп, в демократию играем. В России истинную демократию можно завоевать и сохранить только штыком и пулей. Иначе народец наш демократию прожрет, пропьет и проспит. А мы, помните, в либералов играли. Юный социалист бомбу кидает в губернатора, а ему десять лет ссылки. А он через пять месяцев в Женеве пиво жрет. Развратили народ либерализмом. Он в нашем русско-татарском государстве неприемлем. Сочли, что демократию штыком неловко охранять — просвещенная Европа смотрит. Ай-яй-яй, как же мы Россию профукали, а?! Юрочка, умница вы моя, через год мы с вами в Шанхае улицы будем подметать, если только не чудо...

— Перестаньте, Кирилл, это цинизм.

— Смешно. В России испокон века смотреть правде в глаза считается цинизмом. Ну что ж... Я испытал все пути, князь. Тогда давайте перейдем к нашим играм. Я вам назвал бы сейчас из многих имен только два. Я бы назвал вам кадрового военного Блюхера и комиссара Постышева, пользующегося громадной популярностью. Но я назову только одного Блюхера, потому что завтра вечером Постышев должен будет сыграть в ящик. Если вы повторите подобное с Блюхером — будет прекрасно. Но если, упаси бог, попадетесь, вам надо будет сделать еще одно дело. Если вас схватят после убийства Блюхера, вас ничто не спасет. Коли же схватят случайно, вы постарайтесь спастись, дав показания в ЧК о том, что вы безобидный связник, пришедший из-за кордона, чтобы наладить контакт с подпольной организацией офицеров и генералов во главе с Гржимальским.

— Зачем, Кирилл?! Это подло!

— Если вы пришли к нам, князь, то вам придется несколько пересмотреть прежние понятия о подлости и честности. Вы поступите, как патриот России, потому что красные завлекают к себе кадровых

военных; они таким образом становятся сильнее в военном отношении, понимаете меня? Необходимо оставить большевиков с их же быдлом, а кадровиков посадить в тюрьму до нашего возможного прихода. В большом надо уметь жертвовать малым, не так ли?

— Скажите правду: ваш скепсис — это ход картежника, который боится спугнуть талию?

— С вами опасно сидеть рядом, князь. Вы ясновидящий.

Гиацинтов вызывает адъютанта, вкрадчивого и вечно сияющего Пимезова, и просит его:

— Воленька, не сочтите за труд поинтересоваться: из Хабаровска никаких новых известий не поступало?

— О Постышеве?

— Да.

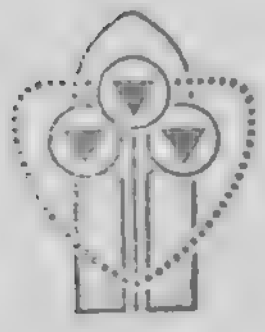
— Я уже интересовался, Кирилл Николаевич. Пока ничего.

— Нет вестей — уже хорошие вести,— говорит Гиацинтов задумчиво.— Барон Унгерн обожает повторять эту фразу, а он фанатик веры, я отношусь к нему с большим доверием. Я прошу вас, Воля, все время следить за новостями.

— О конечно, Кирилл Николаевич.

Адъютант неслышно выходит из кабинета. Гиацинтов останавливается напротив Мордвинова, долго на него глядит, а потом говорит задумчиво:

— А то плюньте на все, князь. Оставайтесь, право слово, а?



ХАБАРОВСК. ЦЕНТР

Раннее утро. Город одет голубоватой дымкой. Снизу, с Канавы, тянет горьковатым дымком — во дворах жгут мусор. С реки поднимается туман, и город сейчас похож на Петроград: дома, вывески, деревья на Муравьево-Амурской улице зыбки и смотрятся, словно через папиросную бумагу. Хабаровск еще не проснулся: редко прогрохочет извозчик по булыжнику, простучат каблучки по тротуару, и снова влажная тишина ложится на город.

Постышев в кожаной куртке, подняв воротник, вышагивает по улице.

Возле дома, где помещается профсоюз конторских служащих, толпится очередь. Здесь дамочки в потертых пальтишках с облезлыми соболями, сухощавые, тщательно выбритые мужчины в офицерских шинелях без погон, два милиционера и делопроизводитель исполкома Лысов.

Постышев останавливается и негромко спрашивает даму в шляпке с заштопанной вуалеткой:

— За чем стоим?

— Скоро будут выдавать благотворительные американские посылки.

Ни милиционеры, ни Лысов Постышева не видят, а если б и увидели, так не сразу признали: фуражка надвинута низко на глаза, воротник приподнят, только торчит у комиссара Восточного фронта нос и топорщатся коротко постриженные рыжие усы.

— Вы слыхали,— говорят в очереди,— оказывается, из чикагского яичного порошка можно прекраснейшим образом делать кексы.

— Что вы говорите?! Их яичный порошок сделан из нефти, от него химией воняет за версту.

— Нефтью стали рак лечить.

— В России теперь у каждого рак души, а тут нефть бессильна.

— Что же вы предлагаете?

— Нагайку. Прекрасное лекарство.

— Я б яичным порошком большевиков кормил, от него брюхо пучит и газоном-с отходит.

— Сударь, здесь дамы.

— Какие это дамы? Проститутки.

— Они же старухи!

— А вы старух проституток не видели? Особый смак! А вон в вуальке — спекулянтка. Э, милиционер, махорки нет?

Милиционер оборачивается, чтобы ответить, и замечает серые, спокойные глаза Постышева. Минуту вспоминает, где он видел эти глаза, а вспомнив, легонько толкает локтем товарища.

— Влипли,— шепчет он,— комиссар тут.

— Можно вас в сторонку?— просит Постышев милиционеров и Лысова.

Не дожидаясь, комиссар переходит улицу и вышагивает до тех пор, пока очередь не исчезает, растворившись в тумане. Постышев останавливается возле тумбы, на которой расклеены афиши. Сразу же лезет за папиросами, закуривает, зло отшвыривает спичку, хмурится и, не оборачиваясь, тихо спрашивает:

— Ну?

Трое за спиной молчат.

Постышев резко, корпусом разворачивается.

— Нищенствуем?— гневно спрашивает Постышев.— Подачку клянчим?

Молчат милиционеры, молчит Лысов.

Милиционер — тот, что постарше,— поднимает голову, и Постышев видит, как трясется его одутловатое, с желтизной лицо.

— Я в семье сам-шестой, товарищ комиссар. Четверо мальцов у меня. Младшенькому — год. У него живот вздутый и ноготки не растут...

— У меня трое,— говорит тихо второй милиционер.

— Жена в чахотке,— поясняет Лысов.— Кровохарканье третий месяц. И дочка при смерти. Я им бекон на сальце топлю...

Тихо в городе. Спит еще Хабаровск.

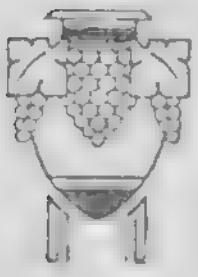
— Я понимаю,— говорит Постышев,— я понимаю.... Что же делать-то, а?

— Так вам видней, товарищ Постышев,— жестко отвечает Лысов.— На то вы и комиссар...

— Детишек очень болезненно хоронить,— говорит милиционер,— они в гробу махонькие и до того тихие, что глохнешь...

— Зайдите ко мне в штаб завтра утром,— говорит Постышев.

Уходит он быстро, еще больше ссутулившись, вышагивает длинными ногами с выпирающими коленями — широко и торопливо.



ГАЗЕТА «ВПЕРЕД»

Заместитель редактора Григорий Иванович Отрепьев — поэт. Ночами не спит, учится технике стихосложения, даже пожелтел весь, насквозь светится. Оттого страсть как нервен.

— Пал Петрович,— кричит он Постышеву, который вешает свою кожанку на ржавый крючок за дверью,— есть тема для хорошей басни. Понимаешь, военное начальство по железной дороге без билетов ездит, а если контроль — наган ему в нюх, и весь разговор. Я тут баенку накидал, посмотри.

— Басня,— усмехается Постышев,— это литература угнетенных.

Ты впрямую пиши, с фамилиями и именами. Давай-ка, посмотрю.

Постышев был первым редактором этой газеты. Поэтому и сейчас он проводит здесь, в маленькой типографии возле метранпажа Моисея Соломоновича, час-другой, но обязательно каждый день. Читает комиссар по-редакторски: быстро и с карандашом.

— Нет,— говорит он,— от такой басни ни холодно, ни жарко. Тут деликатничать нечего. Пиши впрямую, как есть.

Потом он просматривает корректуру и сердито тушит окурок в старой консервной банке.

— Послушайте, Моисей, вы когда-нибудь подсчитывали, сколько слов в нашей газете?

— Много,— скорбно отвечает Моисей Соломонович.— Очень много пустых слов.

— Я сегодня ночью подсчитал: у нас в газете употребляется четыреста слов! Понимаете? Всего четыреста из сорока тысяч в словаре русского языка. Не статьи — а интендантские отчеты. В сон клонит. Или вот — пожалуйста, верстаете на первой полосе:

НАШЕДШЕГО

ЕНОТОВУЮ МУФТУ,

пропавшую в то время,
когда я продавал открытки
советских вождей,
прошу оную вернуть

гражданину **ЦЫПЛЯТНИКУ**

в горторг.

— Гражданин Цыплятник платит за объявление золотом.

— Четвертая полоса есть для Цыплятника.

— Если мы объявления станем печатать на четвертой, кто будет читать первую?

— Это зависит от того, как сверстана первая полоса.

— Вы же видите, как она сверстана.

УДАРИМ ПО СПЕКУЛЯНТУ

Уже сколько раз по нему ударяли, а он все-таки жив. Может быть, в том, что он жив, больше вина комиссара Постышева, чем гидры мировой буржуазии?

— Крестьянка, которая тащит на базар молоко, чтобы потом детишкам купить букварь,— не спекулянтка, хотя кое-кто склонен ее в этом обвинять. Тут есть вина комиссара Постышева, не спорю.

В типографию возвращается Отрепьев.

— Слушай, Пал Петрович,— говорит он с отчаяньем,— ей-богу, нет сил работать. Пять человек на всю редакцию. Мое письмо у тебя месяц лежит — прибавь две единицы.

Не отрываясь от газетных полос, Постышев отвечает:

— Наоборот. Я у тебя одну единицу забираю. И паек с деньгами делю между милицией и исполкомом. У них люди голодают. И не кричи, Григорий Иванович, тут крик не поможет. Хоть басню пиши.

В типографию заходит курьер и кладет перед Постышевым только что полученные сводки телеграфного агентства ДВР ДальТА Постышев откладывает полосу и быстро пролистывает бланки с последними новостями. На одном сообщении задерживается. Обхватив голову руками, изогнулся вопросительным знаком, фыркнул.

— Ну-ка, прямо в номер. Моисей, снимите объявление Цыплятника, пусть поищет муфту завтра. Тут интересный материал: присуждение Нобелевской премии. Кандидатами выдвигались Горький, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Габриэль д'Аннунцио и Анатоль Франс.

— Максимычу дали! — радуется Отрепьев.

— Горький, Франс и Аннунцио вычеркнуты за «близость к идеологии коммунизма». Бернард Шоу и Герберт Уэллс отведены из-за

того, что им свойственна «ветреность во вдохновении». Премию получил маркиз О'Кума — японец.

— Это кто ж такой?

— Знать надо. Японский дипломат. Двадцать одно требование Китаю он писал. Сволочь. Ну-ка, я комментарий в номер сделаю, и быстренько в штаб. Громов у меня задурил.

ШТАБ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА

Комбриг Громов пьет чай быстрыми глотками, обжигаясь. Лицо его жалобно, словно у обиженного ребенка.

— Я ничего не понимаю, Павел,— говорит он,— я два дня его речь с карандашом читал. И что же? Я работал в подполье, я дрался с Колчаком — вон, две дыры в груди. А теперь? Допуск частной собственности и капитализма! И кто же это говорит?! Это ж Ленин говорит, Павел!

Постышев слушает Громова, смотрит в большое итальянское окно и молча курит. Тяжело затягивается. Папиросу рвет красными искрами, сжимает, бумага желтеет и прожигается изнутри черно-красными кружочками, будто нарывчиками. Осторожное утро идет с сопок, которые сейчас кажутся зыбкими, нежно-голубоватыми. В кабинете плавает слоистый фиолетовый дым. В двух пепельницах высятся горы окурков.

— Значит, все двадцать лет борьбы впустую?! Значит, каторга девятьсот третьего года псу под хвост? Девятьсот пятый к черту?! Значит, прощай революция?! И кто это провозгласил с трибуны съезда, Павел?! Ленин! Да я ж лучше еще десять лет с пустым брюхом прохожу, чем буржуя терпеть! Э, чего там говорить...

— Говорить есть чего. Ты в партии двадцать лет, ты от нее ничего не просил, потому как ты ее солдат. Мы с тобой не в счет. А рабочий, который бросил станок? А мужик, что от земли ушел? Зачем? Во имя лучшей жизни он все бросил.

— Так он же свободу получил!

— Голодной свободе грош цена. На голодной свободе тираны рождаются. Да и не свобода это, если она голодная, а рабство навыворот.

— И слово какое пузатое — нэп! Теперь в каждом хозяйчик проснется... А вместо того, чтобы его по шапке,— наоборот, гладь его, сучару, по головке. Развратят народ, погубят.

Постышев поднимается. Длинный, худой, нескладный.

— А ты зачем? — взрывается он.— Партбилет в кармане носить? Охать да ахать, если непонятно? А вот ты смоги так, чтоб рабочий на твоем заводе жил лучше, чем на фабрике у буржуя! Смоги! Воевать выучился, а вот теперь торговать выучись. Строить! Хозяйствовать! Не научимся — сомнут. Вот что Ленин сказал! Ишь герой — в атаку поднимать. Не гордись — обязан! А ты за прилавок стань! Что? Не нравится белый фартук? Ты чистый, а торговец не чистый? Не с руки тебе торговать, да? Не коммунизм это, да? А что ж тогда феодализм такое? Феодал — он тоже одни турниры да войны уважал, а строитель с торговцем для него тоже не люди. Смотри, Громов, феодалом станешь. Это я серьезно тебе говорю. Я вот тебя в гормилицию с твоими настроениями пошлю, там голодуха, я посмотрю, как тебя на тачке вывезут с твоей ортодоксальностью. Имей в виду — ортодокс иногда хуже врага может стать.

После долгой и тяжелой паузы Громов отвечает:

— Нет, Павел. Не понять мне этого.

— А ты подумай. Не поймешь — клади партбилет, так честно будет.

— Партбилет я тебе не положу, он мне заместо сердца. А драться стану.

— Это валяй. Тут я тебе мешать не могу. Только с кем драться собираешься? С Лениным? Слаб.

Громов поднимается, отталкивает стул, идет к двери, не прощаясь. Постышев долго смотрит ему вслед — раздумчиво и устало.

Входит адъютант. Молоденький, двадцать два года, на девять лет моложе комиссара фронта. Русый, длинный, руки болтаются, на носу веснушки. И тоже, вроде Постышева, усы отпустил. Только усишки-то жиденькие, белесые. Как на адъютанта взглянет Павел Петрович — так сразу и улыбается: смешон адъютант, смешон, просто спасу нет, а еще к тому же грудь выпячивает и пыжится, чтобы плечи побольше казались.

— Товарищ комиссар, к вам из Москвы.

— Кто?

— А он фамилию не говорит и мандата не кажет. Морда у них больно аккуратная — я на всякий случай в политохрану брякнул.

— Это как должно понимать — брякнул?

— Понимать так, что позвонил.

— Ну, тогда зовите.

В кабинет заходит Владимиров. На нем кургузенький пиджачок и галифе с заплатами на коленях.

— Здравствуйте,— говорит Владимиров,— я от Феликса Эдмундовича.

Постышев читает мандат, а потом, как и написано в мандате, сжигает его. Усаживает Владимирова, устраивается напротив него, спрашивает:

— Когда будем говорить: сейчас или передохнете?

— Если можно — передохну. В теплушках не поспишь.

— Ложитесь на диван. Если я уйду — вот здесь все материалы для вас. Подполье — в синей папке. В зеленой — меркуловцы. Прочитайте, есть занятные документы. Даже кто как в покер играет. И какие взятки берет на бегах секретарь премьера господин Фривейский. Сейчас шинельку принесу, укрою вас. И окно пошире откроем — с Амура свежестью тянет.

Владимиров отошел к дивану, сбросил сапоги, вытянул ноги, стащил до половины пиджак и сразу уснул, словно потеряв сознание. Постышев на цыпочках подошел к окну и пошире открыл створки. Сизый табачный дым потянуло, словно в трубу. На столе зашелестели бумаги. Захлопала на стене огромная карта. А на карте синие стрелы — острые, злые — со всех сторон направлены на ДВР: и с Владивостока, и с Китая, и с Монголии.

Постышев взглянул на Владимирова. Тот спал, сложив руки на груди, как покойник. Вспомнилась шифровка из Владивостока: трое наших связных расстреляны в контрразведке белых. В нашем штабе, возможно, сидит их человек.

В дверь тихонько постучались. Постышев спросил шепотом:

— В чем дело?

В кабинет заглянул шофер штаба Ухалов.

— Куда поедем, Пал Петрович?

— В городской театр, там учительская конференция бушует.

Ухалов лениво глянул на спящего и вышел.

В зале полно народу — яблоку негде упасть. За столом президиума взволнованные, часто переговаривающиеся люди. Они что-то пишут на маленьких клочках бумаги, рвут написанное, то и дело посматривают на Постышева, который сидит с края и отделен от остального президиума пятью пустыми стульями. На трибуне сейчас человек в пенсне, бородка — клинышком, под мятым пиджаком — ослепительной чистоты рубашка и большой, красиво повязанный черный галстук.

— И вот, изволите ли видеть,— налегая грудью на трибуну, говорит он,— является ко мне комиссар с трехклассным образованием и молвит свое просвещенное слово: «Ты, говорит, буржуйская твоя харя, почему не читаешь детишкам народные стихи Демьяна, а заместо них читаешь помещика Пушкина?» Говорит, а я чувствую: он пьян! И с красным бантом на груди!

Постышев ждет, пока в зале утихнет возмущенный гул, и бросает с места реплику:

— А вас что возмущает: красный бант или запах алкоголя?

На галерке и в задних рядах — смех, передние ряды хранят молчание, хотя некоторые сдерживают улыбку, в президиуме — суетня и быстрое перебрасывание записками. Председательствующий звонит в колокольчик и нервически призывает уважаемое собрание к спокойствию. Оратор, несколько оправившись, продолжает:

— Уж если гражданами большевиками провозглашена свобода, то позвольте учить детей на тех примерах, которые близки мне! А стряпня разнузданного хулигана и футуриста Маяковского отдает половой распущенностью. Не мешайте нам,— кричит оратор Постышеву,— сеять разумное, доброе и вечное! Вы пишите директивы, а я отвечаю за души детей! И воспитывать их в зверстве, распускать в них инстинкты я не позволю никому, чего бы мне это ни стоило! Я знаю, что грозит за это мое выступление, но я не могу молчать!

Первые ряды рукоплещут, президиум — весь в улыбках, ядовито поглядывает на комиссара, только на галерке и в задних рядах шум и говор. Постышев сидит, подперев голову кулаками, смотрит задумчиво в одну точку — и вроде бы нет его здесь.

На трибуну, продираясь сквозь сидящих в проходе, идет молодой парень в гимназическом френчике, перепоясанном солдатским ремнем. Лицо у него удлиненное, нервное, бороденка и усы под Дон Кихота, на белых щеках горит нездоровый румянец, видимо ту-

беркулез у парня. Начинает он говорить, не дожидаясь тишины, выкрикивая фразы в разномастный зал:

— Пусть гражданин Широких тут не играет в святую добродетель. Для него Маяковский — символ революции, и нечего болтать про половые инстинкты и распущенность! Для вас футуризм так же страшен, как и большевизм! Вы хотите растить из детей беленьких херувимчиков? Не позволим! Основа развития — борьба, и мы должны воспитывать подрастающее поколение солдатами, ибо история человечества — это история войн! Так было, так есть, так будет! А сладенький пацифизм Широких идет совсем от другого! Это он сейчас пацифист, а завтра он станет учить детей белогвардейским гимнам! И я этого господинчика за его речи, в порядке профилактического предохранения, предлагаю изолировать к чертовой матери! Меньше двоек пролетарскому элементу всадит!

В зале — грохот, свистки, вопли, возмущение, овации, визг.

Председатель позванивает колокольчиком.

Постышев поднимается со своего места и неторопливо идет к трибуне. Долго откашливается, а потом начинает говорить — глуховато, по-волжски окая.

— *Тут мне придется на два фронта сражаться. И с учителем Широких и с его молодым оппонентом, который, по-видимому, в силу юного возраста вообще к учительству относится как к сплошному классовому врагу.* (Смех.) *Молодой товарищ, как я заметил, увлечен теорией профессора Леера, который утверждал, что война есть главный импульс продолжения жизни на Земле. Леер приводил одним из главных доводов в защиту своей теории тот факт, что война началась с появлением человека, ибо мужчины дрались друг с другом за женщину — не за прекрасную возлюбленную, а за ту, что приносит потомство, только лишь. Однако дальнейшую эволюцию человечества Леер опускал, потому что она против него. Действительно, примитивное проламывание черепов сменилось рыцарскими турнирами. Но и это прошло. Турниры и дуэли сменились маскарадами, а за женщину воюют прекрасной строкой Пушкина.* (Аплодисменты учителей.) *Иные причины порождали и порождают войны. История человечества, молодой мой товарищ, есть все-таки история мира, но не история войн. А с учителями следует вам уважительно говорить, право слово... Не надо так. Обвинения клеить — последнее дело. Вот так-то. А вы, учителя, обязаны растить молодежь широко и всесторонне образованной, понимающей истинные причины войны и мира, добра и зла. Отвечаем за детей мы, большевики. Мы доверили вам, учителям, воспитание новых человеков. Но мы, гражданин Широких,*

можем вас из школы изгнать, если вы не приемлете нас. Если вы против нас — боритесь! Я уважаю открытый бой. Но не все идут на открытый бой. Большинство шушукается. Деритесь, но не шушукайтесь! Нет ничего страшнее учителя-двурушника, который исповедует в душе одно, а вслух проповедует обратное. (Овация галерки и амфитеатра.) *Что-то, правда, учительство со мной не очень соглашается?* — спрашивает Постышев первые ряды.— *Или молчание в данном случае синоним согласия?* (Смех на галерке и в амфитеатре.) *Я думаю, это проявится при голосовании резолюции в целом. Повторяю: вы можете любить и не любить Маяковского — это дело ваших личных вкусов, но вот свободы учить чему заблагорассудится одному лишь Широких — такой свободы мы вам не давали и не дадим!*

Постышев медленно возвращается на свое место. Галерка и амфитеатр, поднявшись со своих мест, аплодируют. Партер аплодирует островками. Председательствующий поднимается и провозглашает:

— Перерыв!

Широких, отталкивая острыми локтями окружающих его людей, торопится за Постышевым, который идет к выходу.

— Послушайте! — кричит Широких.— Послушайте! Комиссар!

Постышев оборачивается и ждет, пока учитель пробьется к нему.

— Вы, оказывается, интеллигентный человек,— говорит, отдышавшись, Широких,— просто-напросто интеллигентный.

— Стараюсь. Вот ораторскому искусству не учен — так что, простите за резкость, ежели была. Но искренне говорю вам: учительство считаю нашим цветом и надеждой нашей. А с надежды особый спрос. Вот так-то. Всего вам наилучшего.

Постышев протягивает Широких руку, тот пожимает ее и жадно рассматривает комиссарово худое лицо.

В перерыве Широких ходит от одной группы к другой и говорит:

— Я потрясен, господа. Он мыслит широкими категориями. Неужели мужик пробуждается? Неужели жизнь не зря прожита?!

— Перестаньте, Платон Макарович... Ему эти речи пишут еврейчики, а он их по ночам зубрит. Глаза у него оловянные. Или не заметили?

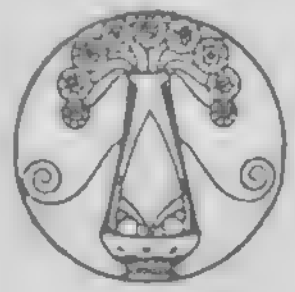
— Злобствование,— говорит старичок в золотом пенсне,— наихудший аргумент в споре. Комиссар — фанатик, но он умеет логично мыслить.

— В нем есть мужицкая доброжелательность,— говорит дама из женской гимназии грассирующим басом.

— Я проголосую за их резолюцию,— говорит старик в пенсне.

— Ну, уж извините... Надеюсь вы, Широких, против?

— Я воздержусь,— задумчиво отвечает Широких,— пока что я воздержусь...



КАБИНЕТ ПОСТЫШЕВА

Владимиров сидит за столом, перелистывая бумаги в папках, оставленных ему Постышевым. Павел Петрович дивится тому, как гладко причесан его гость, лицо свежее, будто спал он не два часа, а добрых десять, щеки лоснятся после бритья, и легко пахнет довоенным мужским одеколоном.

— Эк вы, однако, лихо со сном управились,— говорит Постышев,— я думал, вы часика три-четыре на ухо надавите. До восьми еще времени хватит.

— Выход назначен ровно на восемь?

— Да. Надо, чтобы вы ночью перешли границу нейтральной зоны.

— Понятно... Я просмотрел материалы: увы, там слишком много благоглупостей и сплетен. Пишут, например, что Меркуловы — болваны и кретины, Гиацинтов — глупый трус, японцы — хуже баранов, американские резиденты — доживающие последний день кровавые империалисты. Если Меркуловы — кретины, то мы, следовательно, еще большие кретины: кому проиграли, кому Владивосток отдали?! Если полковник Гиацинтов — трусливый болван, то почему все-таки наши люди взяты его контрразведкой? Простите, Павел Петрович,— оборвал себя Владимиров,— просто я очень зло принимаю фанфаронство и комчванскую благоглупость.

— Ничего, ничего, вслух посердиться — куда как облегчает. Я иной раз по ночам в кабинете ору — стены звоном дрожат. Помогает. Теперь я хочу вам кое-что порассказать. Сейчас во Владивостоке было несколько очень подозрительных арестов в большевистском подполье: по-видимому, в организацию проник провокатор. Поэтому вам придется работать пока что автономно. Вас найдут, когда в этом появится необходимость, вы сами ничего не ищите. Связь у вас будет идти через товарища Чена. Это Марейкис, бухарец, опытный чекист.

На корейца похож, поэтому — Чен. У него налажена почта через торговцев наркотиками, которые ездят в Харбин. Но это, как говорится, его дело. Ваше определено для вас Феликсом Эдмундовичем достаточно точно. Предпринимать что-либо вы можете только в экстреннейших случаях — вы сами тогда поймете. По обычным делам — не надо, сдерживайте себя, как ни больно порой может быть. Теперь еще вот что: во Владивосток приехал из Берлина ваш знакомый Ванюшин, редактор «Ночного вестника».

— Николай Иванович?!

— Да. Вы, кажется, у него работали при Колчаке в пресс-центре?

— Громил красных дьяволов печатным словом.

— Как вы с ним расстались?

— Товарищами. Он считает, что я эмигрировал в Лондон.

— Это очень здорово, потому что сейчас Ванюшин — третий человек — сразу же за Меркуловыми.

— Любопытно. Очень любопытно...

— Теперь вот что... С финансами у нас, как всегда, ни к черту, поэтому мы только самую малость для вас приготовили.

— Я понимаю.

— Когда пойдем знакомиться с провожатыми, обговорим запасные формы связи. Пароль... Хотя, пожалуй, пароль там не нужен. Чена вы по фотографии узнаете, слова тут ни к чему. Встретит вас на вокзале Васильев, он легал, руководитель профсоюза грузчиков, это — вторая, запасная ваша связь. Парень он обаятельный, добрый парень. Любимец рабочего Владивостока. Если, не дай бог, какие-нибудь неожиданности — Чена найдете в ресторане «Версаль». Он там каждую ночь бывает.

Звонит телефон. Постышев снимает трубку:

— Я слушаю. Кто? Трибунал? Филиповский?! Не может быть! Хорошо, я приеду на допрос.

Он швыряет трубку на рычаг и брезгливо морщится. Сидит мгновение в неподвижности, а потом, рывком встав, говорит:

— Ну что ж, пошли собираться. С командующим познакомлю: Степан Серышев — великолепный человечина. Пошли.

Постышев пропускает Владимирова перед собой, кладет ему руку на плечо и говорит:

— Экое у вас плечище-то железное, просто Самсон...

— Чтобы не появилась Далила, надобно будет срочно обстричь волосы, спокойней как-никак...

Они быстро идут по длинному коридору штаба, весело переговариваясь, и свет из окон то выплескивает на них солнце, то — в

простенках — мрак поглощает их. Но когда их поглощает мрак, все равно слышен глуховатый бас Постышева и низкий широкий смех Владимирова. Так и идут они рядом, а потом скрываются за тяжелой дубовой дверью.

ВЛАДИВОСТОК. РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Премьер приамурского правительства незаметно для себя подражает — даже в мелочах — Александру Федоровичу Керенскому. Он носит такой же полувоенный костюм, так же сидит в автомобиле — сзади, справа от шофера, так же ласково улыбается офицерам, которые картинно козыряют ему, когда лимузин с трехцветным романовским флажком на радиаторе проезжает по Владивостоку, так же говорит: сначала чуть слышным, усталым голосом, а когда разойдется — не остановишь; мечет Спиридон Дионисьевич громы и молнии, картинно жестикулирует, только в отличие от Керенского довольно часто поминает бога.

Через пять дней после переворота, когда меркуловцы похоронили своих героев, он позвонил Николаю Ивановичу Ванюшину, только что вернувшемуся из Харбина, заехал за ним на Алеутскую в редакцию и сказал шоферу:

— На Эгершельдское кладбище.

По тряской дороге едут быстро. За окном мелькают маленькие домишки, тускло поблескивают рельсы, отходящие от вокзала к портовым пакгаузам, набитым миллиардами: здесь хранятся товары, полученные Россией от союзников, начиная с четырнадцатого года. Чего только нет в этих пакгаузах: медь, цинк, бумага, сукна, снаряды, винтовки, сеялки, грабли, презервативы, танки, шелка! Словом, золото лежит в пакгаузах, истинное золото, а охраняет это несметное богатство японский часовой. Ходит медленно, штык короткий, взят на изготовку, шаг печатает ровно, как на параде.

Меркулов молчит, а Ванюшин что-то под нос себе мурлычет — не иначе, как Пушкина. Лучший знаток в городе, позавчера лекцию читал в университете — не протолкнешься.

Шофер резко тормозит. Меркулов вылезает из машины первым. Замер на ветру: сухонький, росточка маленького, фуражка надвинута на глаза. Ванюшин вылезает из машины тяжело, с одышкой: последние два дня много пил с новым членом правительства Сержем Широкогоровым. Этнограф и биолог, Широкогоров по-своему видел концы и начала эволюции человечества и умел рассказывать так, что не пить нельзя было, ибо все равно — по его выкладкам — в мир шло скотство.

— Прошу, Николай Иванович,— приглашает Меркулов,— тут недалече.

Меркулов шагает между могилами быстро, ориентируясь в кромешной темноте ночи, как днем. Ванюшин идет за ним, спотыкаясь, ничего еще толком не поняв, и очень сердится, потому что в штиблеты заливается грязь. В сером беззвездном небе висит дынный огрызок месяца. Слышно, как над заливом зло орут чайки.

«Молодой месяц,— думает Ванюшин,— только народился. Слева. Значит, можно на счастье загадать».

На фоне серого неба, словно чучела, печатаются черные кресты. Город вдали моргает быстрыми огоньками. Воют собаки в Эгершельдском поселке. Ветер налетает быстрыми порывами. На рейде тоскливо кричат пароходы.

Меркулов останавливается. Возле свежих крестов белеют венки и увядшие цветы. Здесь похоронены герои белого переворота.

— Тут,— говорит Спиридон Дионисьевич и падает на колени, словно подрубленный,— тут начинается история новой России.

Ванюшин лезет за папиросами, чтобы не рассмеяться.

«Неужто верит? — думает он.— Или играет, хочет, чтоб я это расписал — и в номер? Честолюбивы, черти, спасу нет!»

Меркулов истово молится, кладет земные поклоны, шепчет быстрые слова, обращенные к богу. Ванюшин, стоя у него за спиной, молча и сосредоточенно курит, чувствует себя неловко, будто подглядывает в замочную скважину. Премьер молится долго, потом молча поднимается с земли, почти бегом направляется к машине, ожидает, пока подойдет Ванюшин. Сухо кашляет и просит шофера:

— Ко мне в ставку, будьте добры.

Уже въехав в город, оборачивается к Ванюшину:

— Вам, видно, в газету? Номер небось не готов?

«Хочет старик попасть в прессу с сегодняшним карнавалом,— думает Ванюшин.— Не иначе, как за этим и возил. Умен ведь, а в этом болван».

— Номер уже сверстан,— говорит он.— Я в «Версаль».

— Спасибо вам, Николай Иванович, что подарили время старику. И слова мои запомните: отсюда придет народу свобода. Здесь подымется светлый град Китеж со дна моря крови и слез русских. Остановитесь, шофер!

Ванюшин вылезает из машины, долго смотрит вслед громадному «линкольну», вздыхает и отправляется к себе.

Фривейский стоит под портретом государя и наблюдает за реакцией Меркулова, который читает листочки, даже не сбросив своей солдатской шинели. Фривейский — секретарь Спиридона Дионисьевича. Он умен, ловок и держит себя довольно независимо. Меркулов-то сам из купцов, он независимость в людях ценит, а посему Фривейскому прощает, как никому, многое. Не любит его только в те времена, когда личный секретарь мучается вспышками хронической болезни. В эти моменты Фривейский озлоблен и готов досадить кому угодно. В такие дни Меркулов просит своего «милого дружка» отдохнуть и не показываться в канцелярии. Но именно сегодня вечером Фривейский почувствовал рези и вместо того, чтобы уйти домой, принять хины и спокойно вылежаться, собрал семь штук подпольных большевистских газет и положил их прямо на стол премьеру. А газеты — злющие! То, о чем все помалкивают, большевики выливают — да еще с перцем, с солью, чтоб побольней.

Когда очередь доходит до рассказа о его, премьера, торговых операциях с японцами, Спиридон Дионисьевич снимает фуражку, отирает лоб платком и говорит:

— Ну что за подлецы, боже ты мой праведный! Куш в два миллиона! Какая, право, подлость!

Всю жизнь торгует Спиридон Дионисьевич, никто о нем плохого слова не сказал! Что это: зазорно, что ль, с фирмой контракт заключить?! Им выгода, но ведь и нам — польза! Ах ты, боже мой, сейчас по городу сплетни поползут!

— Какой тираж этой гадости? — спрашивает Меркулов, брезгливо тронув газету пальцем.

— Большой.

— Где остальные экземпляры?

— У читателей.

Меркулов поднимает глаза на Фривейского, догадывается, что у того вспышка, и опускается в кресло.

«Помощничек... Тоже, видно, ликует... За дверь бы и на улицу! И на порог не пускать впредь и навсегда!»

А нельзя! Умен. Умных людей Меркулов ценит. Умному можно многое прощать.

— Идите отдохните, милый дружок,— говорит премьер.— У вас лицо с желтинкой. Не иначе, как желудок мучает? Я вам попозже домашнего врача подошлю, он в желудочных заболеваниях горазд.

«Вот тебе, миленький! Ишь лик скривил! Ничего, ничего, зато квиты, никому обиды не станет. Я тебе, ты мне, все по-свойски и по-домашнему».

— Я перемучаюсь,— говорит Фривейский,— врач мне не нужен.

— Ну отчего ж? Мне это труда не составит. А газета... Пускай их пишут. Правда все равно себя скажет, история разберется, кто прав, она — жрица из беспристрастных...

После ухода Фривейского Меркулов вызывает полковника Гиацинтова, начальника контрразведки, и говорит ему по телефону:

— Кирилл Николаевич, миленький, послушайте, что о вашем премьере пишут. Ах, уж читали? Ну и как? Любопытные детали, не правда ли? Только удивляюсь: как это вы, офицер и дворянин, служите спекулянту и грабителю русского народа. Кто это? Я — спекулянт, я, полковник! Да вы не кашляйте в трубочку, мне в ухо отдает. А коли смешно — смейтесь! Только я старый, я смешного гораздо перевидал на своем веку, посмешней того, что красные бумагомаратели выкобенивают, я и это переживу. А вот вы человек на службе! Мне что? Мне ничего! Я в отставку, и адье, а вам отставка крайнюю скудость означать будет. И потом — я отставку прошу, вам же ее дают.

Премьер опускает трубку на рычаг и идет в маленькую комнату, соседнюю с кабинетом. В углу — киот. Меркулов опускается на колени — молиться. Просит мира на землю и благоволенья человецем.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов в задумчивости держит телефонную трубку возле лба, потом аккуратно опускает ее на рычаг и вызывает Пимезова.

— Воленька, я попрошу вас пригласить ко мне полковника Суходольского и всех руководителей отделов.

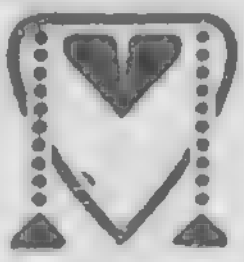
— Слушаю, Кирилл Николаевич.

Через несколько минут в кабинете у начальника контрразведки собираются руководители семи важнейших отделов. Они рассаживаются на удобные трехместные диванчики. Гиацинтов здоровается с каждым за руку, потом садится за громадный стол и говорит:

— Господа, я собрал вас для того, чтобы сообщить неприятную новость. Нам сегодня же придется провести аресты выявленных подпольщиков, не дожидаясь окончания работы по ликвидации всех скрытых красных. Увы, это не моя воля, я выполняю приказ. Мы обязаны в ближайшие же дни выйти на их газету или в крайнем случае сделать так, чтобы она не попадала в руки к читателям. Но главная задача — захват московского представителя, который, по моим сведениям, направлен сюда,— становится трудновыполнимой, потому что подполье после наших сегодняшних арестов затаится, как никогда. Следовательно, особое внимание ко всем вновь появившимся здесь. Тех, кого мы заберем, спрашивать не только про газету, но и про московского гостя. А вдруг кто знает дату или место приезда? Хотя это особая тема, мы соберемся вскоре, чтобы ее детально обсудить. Имейте в виду, что красное подполье, которое сегодня мы начинаем забирать, в недалеком будущем окажется нашей серьезной картой в политической игре.

Гиацинтов усмехается, оглядывает своих сотрудников, спрашивает:

— Не тяжело объясняюсь, а? Так и заносит на усложненные обороты, будто на дипломатическом приеме нахожусь. Итак, прошу вас начинать аресты организованно, сразу по всему городу, чтобы никто из наших красных приятелей не ушел. Допросы проводить настойчиво, я обязан порадовать нашего премьера сообщением о найденной красной газете. С богом, друзья мои.



ХАБАРОВСКИЙ РЕВТРИБУНАЛ

В кабинете следователя ревтрибунала сидит Филиповский, старший руководитель группы по борьбе с вооруженным бандитизмом. Он арестован за то, что во время обыска у баронессы Нагорной похи-

тил жемчужную осыпь. Сейчас он сидит, зажав кисти рук между коленями, на лбу капли пота, глаза воспаленные, красные, как у кролика. Следователь позвонил Постышеву и сообщил ему об аресте чекиста, а ведь полгода не прошло, как Павел Петрович самолично вручал Филиповскому именной маузер с серебряной планкой за беззаветную доблесть. И вот сейчас Постышев сидит напротив Филиповского, а тот глаз поднять не смеет, головой вертит и все время морщится, будто у него зубы болят.

— Ты не крути, Филиповский,— говорит Постышев,— ты давай честно.

— Я четыре года с белыми дерусь, я жизни не жалею.

— Погоди, погоди! Я о другом спрашиваю: как ты мог жемчуг воровать?

— Не воровал я! — глухо выкрикивает Филиповский.— Реквизировал...

— Врешь! Если б ты реквизировал, он бы в казне оказался! А ты воровал, как последний гад. Грязный ты человек, дело наше позоришь. Слепой я был, что тебе маузер за доблесть вручал, слепой!

— Я четыре года воевал, я в атаку на белого генерала ходил.

— Про то молчи!

— Воля ваша.

— Моей воле — грош цена, тут что трибунал скажет.

— Неужто судить меня станут?

— А ты как полагаешь?

— Так я ж верой и правдой четыре года...

— Хоть сорок четыре! У вора нет прошлого! Товарищ,— спрашивает следователя Постышев,— доказательства у вас собраны?

— Сам признал.

— Это, конечно, хорошо, что сам признался. А свидетели есть? Факты есть? — спрашивает Постышев.

— Свидетелей нет, и фактов нет, Павел Петрович, только что сам признался, без давления.

— Цацки где?

Следователь достает из несгораемого ящика драгоценности и кладет их на стол, покрытый пожелтевшим газетным листом. Свет электрической лампочки вспыхивает тысячью зеленых искр в жемчужной осыпи. Постышев рассматривает жемчужную нить недоуменно и с ухмылкой.

— И за что такая цена? — спрашивает он.— Никак не пойму. Напридумывали людишки себе кумиров — и ну поклоняться им... А тебе нравится, Филиповский?

— Да разве я в них сведущий? Мне на базаре дед один сказал, что на камушки хлеба наменяет с салом и водкой. А у меня в подчинении трое пацанов: один чахоточный, другой без ноги, а третьему шестнадцать лет, и за мировую революцию он сражается единственно по светлому энтузиазму. Госполитохрана мы, а по ночам в мусорных ящиках за рестораном Клоньева кожуру картофельную собираем, чтоб днем не позориться...

— У него дома обыск делали? — спрашивает Постышев.

— Какой у него дом? В подвале живет, как пес в конуре.

— Семья где?

— На кладбище,— отвечает Филиповский,— порубана в девятнадцатом калмыковцами... Детям своим ни крохи не давал, когда в ЧК работал, голодовали дети, а у меня тогда через руки золота буржуйского поболе проходило. А теперь по ночам глазенки их вижу — пропади, думаю, все пропадом, хоть трех своих теперешних пацанов накормлю, тоже по земле смертниками ходят. Вон позавчера двух наших зарезали в малинах... Так неужто и с буржуйских камушков не могу дать своим пацанам пожрать вволю и водки перед сном выпить?

Следователь отворачивается к окну, чтобы арестованный не видел его лица. Тяжело сопит следователь, больно ему слышать Филиповского, а закон какое к душе отношение имеет? Закон — он и есть закон, он по бумаге писан, не по сердцу.

— Ты мне нутро не вынимай, Филиповский,—говорит Павел Петрович.— Ты за трех своих пацанов в ответе. Это так. А сколько им жить на земле предстоит?

— Как выйдет. Пуля в рожу не смотрит...

— Ничего. Посмотрит. Так вот надо, чтобы твои пацаны жили в стране, где закон для всех один, а не такой, чтоб чего Филиповский захотел, так то и вышло. Они подумать могут, что ты над законом, а не он над тобой... В трибунал, пойдешь, товарищ.

Филиповский впервые за весь разговор вскинул голову.

— Ты как меня назвал, Павел Петрович? — шепчет он.

— Я назвал тебя товарищем,— говорит Постышев.

Поднимаясь, Постышев бросает следователю:

— До суда отпустить. Возвращайся на работу, Филиповский. Ночью в городе двенадцать бандитских налетов зарегистрировано.

За длинным столом, укрытым красным сукном, сидят комиссары Хабаровского укрепрайона. Выступает — весь в кожаном — комиссар стройбата, который занимается понтонной переправой через Амур. Комиссар говорит хорошо, с выражением, только, правда, по бумажке. Выступать умеет: где надо покричит, где надо кулаком над головой взмахнет, а то вдруг на драматический шепот перейдет, что твой Шаляпин.

— Только смобилизовав свою стальную волю,— говорит он,— только подняв на должную высоту воспитательную работу, мы сможем взять светозарные рубежи и добиться новых успехов. Ни для кого сейчас не секрет, что дела наши идут хорошо...

Постышев бросает реплику:

— Куда как лучше! Бойцы твоего батальона третий день без каши сидят.

— Это детали, Павел Петрович. А я беру вопрос шире, я его в целом беру, как говорится. Продолжаю. За последние два месяца мы провели около сорока политбесед с народармейцами, охватив более девятисот сорока семи бойцов.

— Можно твой текст посмотреть? — просит Постышев.— А то больно скоро говоришь.

Тот передает комиссару фронта текст. Павел Петрович неторопливо листает исписанные странички. Негромко говорит:

— Ты продолжай, продолжай, товарищ.

— Так ведь текст у тебя, Павел Петрович.

— А ты попросту говори, без текста.

Комиссар стройбата растерянно оглядывает собравшихся и, подняв над головой кулак, начинает:

— Белая гидра контрреволюции, оскалив свою волчью пасть, брызжет ржавым оружием проклятого империализма! Их свиное рыло пытается хрюкать возле наших границ, угрожая счастью победившего пролетарьята! Не позволим!

Постышев спрашивает:

— Кому не позволим и что именно?

— Гидре, собственно говоря, не позволим.

— А какая она, гидра? С ногами? Или змееобразная? Ладно, садись, комиссар. Возьми свой доклад — липовый он. Я у твоих бойцов только что был.

— Можно мне, Павел Петрович? — спрашивает комиссар Особого амурского полка.— У нас вот какой вопрос: пока имеем передышку

на фронте, помог бы с учителями. Народ грамоты жаждет. Я полагаю, что грамотность — она главнейшее подспорье в борьбе за мировую революцию.

— Вопрос толковый. Завтра утром выделю тебе трех педагогов — приезжай и бери. Кто еще?

— Я. С бронепоезда «Жан Жорес».

— Давай, «Жорес».

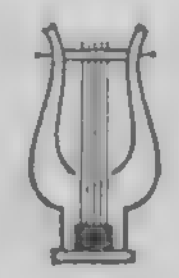
— Так я прикидываю, Павел Петрович, что политработа может человека засушить, как бабочку в гербарии, если одни беседы про счастливое будущее проводить, а при этом на глазах у бойцов отваливать военспецам по шестнадцать рублей золотом, не считая продовольствия.

Постышев прихлопывает ладонью по красному сукну, резко поднимается, зло смотрит на моряка с «Жореса».

— Фамилия твоя, как помню, Солодицкий? Так? Отвечаю. Я сегодня получил шифровку из Владивостока. Там американцы всех наших профессоров, ученых, даже студентов к себе увозят, предоставляя им райские условия. Архивы скупают, частные библиотеки, за старые письма золото платят. А они деньгам получше нашего учены. Почему они так поступают? Потому как понимают, что будущее — за наукой, за спецами. А кто же нас задарма будет учить драться? Я? Могу тебя навыкам конспирации и подпольной полиграфии выучить. А Клаузевицу и Мольтке не могу. Зато они могут. Тебе волю дай — ты и Максима Горького на рубль суточных посадишь.

Постышев предлагает:

— Прошу дальше. Только без трескотни, время цену знает. Давайте поговорим о том, как нас партизанщина мучает, что будем делать, как переводить партизан в регулярные части. Это сейчас вопрос вопросов...



ШТАБ ФРОНТА

Шофер Ухалов спрашивает адъютанта Павла Петровича:

— Можно в гараж ехать?

— Нет, комиссар кончит работать со сводками, и вы ему понадобитесь на вечер.

— Куда ехать?

— К морякам.

— Это внизу, на берегу Амура?

— Да.

— А домой я успею съездить?

— Валяйте. Но не больше часа.

Навстречу шоферу идет женщина в невероятно старомодном наряде.

— Мне нужен гражданин комиссар.

— А вы кто такая?

— Я френолог и поэтесса Канкова. Я изучила тайны мира и человека, я предсказываю будущее по зрачкам и морщинам на висках.

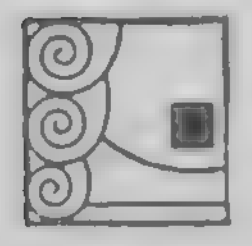
— Что, комиссару погадать хотите?

— Передайте комиссару, что я внучатая племянница писателя Карамзина и покажите ему два моих диплома — бестужевский и цюрихский.

Дама отходит к окну и садится на стул. Адъютант с любопытством разглядывает хрустящие бумаги; шевеля губами, пытается прочесть латинские буквы, потом, продолжая читать по слогам, снимает трубку телефона и говорит:

— Товарищ Постышев будет во флотилии ровно к девяти часам.

Опускает трубку, сидит несколько мгновений в задумчивости над дипломами, а потом, свернув их в трубочку, уходит в кабинет комиссара.



КАБИНЕТ ПОСТЫШЕВА

— Садитесь, пожалуйста,— говорит Павел Петрович,— неужели вы впрямь карамзинская родственница?

— Будь я родственницей его кухарки, мне жилось бы значительно вольготней. Я пришла потому, что слышала ваше выступление сегодня в театре. Я два дня ничего не ела. Вчера ваши солдаты выбросили меня из комнаты, и я ночевала под лестницей у дворника Васьки.

— Он что, мальчишка, этот дворник?

— Старик. А почему вас это интересует?

— Вы сказали, что дворника зовут Васька...

— Я могла сказать что угодно! Я посвятила жизнь тому, чтобы писать стихи, изучать древнюю философию и переводить греческих поэтов. А мне плюют в лицо и говорят, что я недорезанная.

— Кто плюет в лицо?

— Ну, это метафора. Поймите, мир теряет разум, накопленный веками. Я смотрю в людские глаза и вижу там отблески далеких пожарищ и сумасшедшую радость затаенного призвания двуногих — разрушения! Что вы делаете с планетой, комиссар?

— Мы проводим с ней эксперимент,— улыбается Постышев,— направленный на то, чтобы каждый Васька стал Василием. Адъютант сказал мне, что вы гадаете?

— Дальняя дорога, трефовая десятка и богатый червовый король в казенном доме... Что делать? Когда приходит беда, люди ищут веры в чем угодно, только не в правде. За ложь платят хлебом. Мне запретили лгать им, и я голодаю, а я лгала добро, я поддерживала в людях веру, как могла...

— Значит, сами вы не верите гаданьям?

— Карточным — с большой осторожностью. А кабалистике — великой магии цифр — да. Вспомните иудейский «Зехер». Там говорится: «Горе человеку, который не видит в Торе ничего, кроме простых рассказов и обыкновенных слов. Рассказы, записанные в Торе, лишь внешняя одежда закона. Горе тому, кто одежду посчитает за закон». Вспомните Апокалипсис! «Кто имеет ум — сочти число зверя! Ибо это число человеческое. Число его шестьсот шестьдесят шесть». Но ведь это скрытое имя чудовища, имя которому Нерон! Комиссар, я вижу в вас Нерона!..

Постышев вызывает адъютанта.

— Пожалуйста,— просит он,— поищите комиссара с «Кореса». Пусть зайдет.

— Вы хотите меня отдать ему? — спрашивает Канкова.

— Хочу. У него морячки учиться жаждут. Комнату вам вернем и дадим военный паек.

— Кому сейчас нужна учеба?

— Всем.

— В ваших глазах светится доброта — откуда она в вас? Ведь вы поклоняетесь безверию. Вы пришли к единомыслию вместо анализа.

— Мы с вами пока не договоримся. Вы пока поработайте с нашими людьми, а там побеседуем.

Входит комиссар с «Кореса». Канкова в ужасе отодвигается к Постышеву.

— Эта гражданка,— пряча улыбку, говорит Постышев,— будет учительствовать у тебя в бронепоезде. Поставь ее на довольствие и покорми щами.

Комиссар бронепоезда разглядывает Канкову с изумленным недоумением.

— Павел Петрович,— жалостливо спрашивает он,— а дамочка хоть русская? Дикость в ей какая-то.

— Русская, русская. Ты ей условия создай. Она будет народармейцам книги читать и грамоте учить.

Канкова, осмелев, рассматривает комиссара «Кореса» в лорнет.

— Бинокль свой убрали б, а то я себя под прицельным огнем ощущаю.

Канкова прячет лорнет и выходит в приемную. Комиссар спрашивает Постышева:

— Павел Петрович, на кой хрен мне этот божий одуванчик?

— Пригодится. Только обижать ее не вздумай.

Постышев вызывает адъютанта.

— Пожалуйста, запишите,—говорит он,— с завтрашнего дня снять один паек у газеты «Вперед» и передать в милицию для многодетных товарищей Приймака и Чохова. Из нашего представительского фонда перешлите Лысову в исполком фунт сала и три кило пшеничной муки — у него жена помирает в чахотке. И чтобы к завтрашнему утру все было оформлено. А теперь пригласите сюда людей из оперативного отдела.

РАСПОЛОЖЕНИЕ АМУРСКОЙ ФЛОТИЛИИ

В город приходят сумерки. Вода в Амуре становится темно-коричневой. В небе, пока еще светлом и необыкновенно высоком, загораются первые звезды. Они словно калятся изнутри: поначалу синие, потом белые и лишь потом, с каждой минутой становятся все больше и больше голубыми, переливными — ночными. Где-то высоко на обрыве тонкие девичьи голоса ведут протяжную песню. Когда песня смолкает, слышно, как быстрые пальцы гармониста осторожно трогают ломкую тишину вечера.

Постышев идет по берегу. Коричневые волны, будто щенки, лижут его длинноносые сапоги. Постышев по-мальчишески ступает по самой кромочке, видно, загадал: соскользнет сапог в Амур или нет. Дошел до пристани — нога ни разу не соскользнула. Улыбнулся озоровато и начал подниматься по тропке к трем домишкам на косогоре — там расположился штаб флотилии.

— Товарищ Постышев,— негромко окликают его.

Павел Петрович оборачивается. На пристани прохаживается молоденький паренек с маузером. Он бежит к Постышеву, останавливается возле него и говорит:

— Товарищ Постышев, я из группы Филиповского.

— И что?

— Донеслася до нас весть, что судить будут нашего Филиповского.

— Будут.

— За что ж невинного красного командира обижать? Мы за него горой.

— А ты что здесь делаешь?

— Бандиты шуруют. А мы дежурим. Филиповский с хромым за горой, я — тут, а Витька — в секрете. Обиду мы все за Филиповского чувствуем. Вы б сказали, чтоб по справедливости рассудили...

— Сколько тебе лет?

— Семнадцать.

— Ну, валяй, дежурь. Одному не страшно?

— А дура зачем? — улыбается парень, похлопав себя по боку, там, где висит громадный маузер в деревянном футляре.— Она у меня промеж глаз свистит, что вы...

— Слышь, чекист,— улыбается Постышев,— а ты в школу ходишь?

— Это после победы в мировом масштабе. А пока нам Филиповский сказки Пушкина читает. Ничего книжки, только больно много нереальной волшебности, веры не вызывают.

После того как поздним вечером совещание в штабе Амурской флотилии окончилось, Постышев в сопровождении моряков направляется к машине. Над Амуром — ночь. Постышев прощается с моряками, садится на переднее сиденье рядом с Ухаловым и говорит:

— Едем в штаб, Андрей Яковлевич.

Машина резко берет с места.

— Сколько времени, Павел Петрович?

— Без пяти десять.

— А уж ни зги не видать. Весна темноту любит.

Проехали с километр и стали — спустил задний левый баллон. Ухалов чертыхается и лезет на крыло за запаской. В зыбкой тишине кричат ночные птицы и глухо несет свои воды Амур.

С дороги выстреливает длинный луч фонаря. Он скользит по лицам и гаснет, но еще мгновение после этого в темноте висит черная полоска.

— Кто? — спрашивает Постышев.— Кто светит?

— Я. Филиповский.

— Меняйте колесо,— говорит Постышев шоферу,— а я с товарищем пройдусь.

Идут Постышев с Филиповским по ночной дороге. Тяжело вздыхает Филиповский и молчит. И Постышев молчит.

— Да...— протяжно вздыхает Филиповский.— Хожу по земле, как туберкулезный.

— Что так?

— Радуюсь я ей и знаю, что недолго радоваться осталось. Когда трибунал-то?

— Скоро.

— В глаза людям глядеть не могу, попросился, чтоб только в ночные дежурства ходить. Ночью сам себе царь. Только вот собаки воют. Как к утру заведутся — тоска и в сердце тяжесть. Чего они воют? То ли ночи им жаль, то ли утра боятся?..

— Хочешь закурить?

— Благодарствую.

Останавливаются, закуривают.

— Легкий табак,— говорит Филиповский,— от него кашель будет. Махра, говорят, полезней для организма.

— Это точно.

— И что это художники ночь не рисуют, а все больше фрукты?

— Рисовали и ночь, просто не знаешь ты. Архип Куинджи рисовал. «Тиха украинская ночь» — так и называется у него картина. Чудо какая прелесть.

— У меня младшенький рисовать любил. Я ему из бумаги солдатиков вырезывал, а он их красил карандашом. Только один карандаш у меня был: чернильный. Ему б набор — вот радость была б ребятеночку.

— Ты себя не мучь.

— Все они в глазах у меня. От этого не сбежишь. Ночью в кроватках, бывало, спят, чмокают, на мордашках улыбки. Эх, господи...

Филиповский резко останавливается. Хватает Постышева за руку.

В зыбкой весенней темноте видны возле развилки двое спешившихся всадников.

— Кто такие?— кричит Филиповский.

— Свои. Чего орешь? Светильник выключи!

Один отходит в сторону и исчезает в темноте. И сразу же оттуда высверкивают подряд два выстрела. Филиповский сдавленно охает и сильно бросает Постышева на землю. Вскидывает маузер и бьет несколько раз в конское ржание. Крик. Грохочут копыта о камни. Филиповский бежит на крик, следом за ним Постышев.

По дороге несется машина. В свете фар виден человек, придавленный конем, а на человеке — Филиповский, хрипит, руки ему вертит.

Воткнули в машину, Филиповский валится рядом с Постышевым, белеет, морщится, рукой трогает грудь, просит Ухалова:

— Скорей, черт! Второй уйдет!

Машину несет по ухабам, руль вырывается из рук Ухалова.

— Скорей! — хрипит Филиповский.

Гр-рох!! Передними колесами — в яму. Занесло машину. Остановились. Филиповский как сидел, так и замер.

— Приехали, мать твою так...— говорит Постышев.— Вылезай, Филиповский.

А Филиповский сидит молча. Тронул его Павел Петрович за плечо, и рука стала мокрой — в теплом и липком.

— Филиповский, ты что?

И понял Постышев, что молчит Филиповский, потому как мертв, сражен белой пулей.

Под утро кончился допрос захваченного офицера каппелевской армии Урусова. Среди прочих любопытных признаний Урусов сказал, что еще днем ушла шифровка о красном разведчике Дзержинского, который отправлен во Владивосток. Кто про него узнал — не говорит, божится, что не знает, а известно лишь то, что передали это сообщение шифровкой из японской миссии.

Постышев связывается с нашим пограничным пунктом, велит задержать товарища, который уходит за кордон, во Владивосток, а ему отвечают, что уже ушли проводники, повели товарища по таежным тропам к Владивостоку, поздно теперь, не остановишь...

Сюда проводники довели Владимирова и передали его охотнику Тимохе. Тот обычно выводил людей из своей заимки к пригородной станции Океанской. Оттуда в город ходит паровичок, да потом и извозчика можно взять. На фанзе проводники задерживаться не стали, а сразу же повернули назад: жить в двенадцати километрах от поста белых казаков — занятие дрянное для красного партизана.

Тимоха спрашивает Владимирова:

— Самогоночки примешь, Максим Максимыч?

— Приму.

— У меня в ей женьшень настоян. От моей самогонки медведем ходишь. Сам-то не в мандраже?

— Откуда такое слово чудное?

— А в мирное время ко мне городские рыбаки приезжали, я от них на свой баланс приходовал. Бывало, профессором говорил. Баба моя даже пугалась. Я ей как ученое заверну, так она лоб у меня начинала щупать — не загорячился ли я. А теперь седьмой год живу без всякого мысленного обмена, полным Рафинзоном.

— Робинзоном.

— Именно.

— А кто бывал у тебя из владивостокских?

— Многие,— сразу оживляется Тимоха.— Вот, к примеру, Николай Дионисьевич бывал, младшенький Меркулов. Он теперь иностранными делами заворачивает. Кто там и как про него считают, это дело современное, а я скажу правду: хороший он человек и веселый. Ну и уж обязательно Кирилл Николаич Гиацинтов, жандарм. Охотник — куда там, зверь до охоты. Я изюбря каждый год обкладываю — для его самого с друзьями... Потом профессор был с ним — Гаврилин Роман Егорыч. И дочка его приезжала — чистый ангелочек, Сашенька. Сейчас небось девица, если баланс подбить.

— А про баланс кто говорил?

— Святой человек. Должность у него по-русски неприлично называется. Коротко так, вроде задницы. С лошадьми он занимался.

— Жокей.

— Именно.

— Мой младшенький братишка, Федька, «жопей» его называл вместо «жокея». Прибылов Аполлинарий. Денег имел — тьму. Только он порченый, хлебное вино пьет — ужас. А напьется, бывало, и ну

пятирублевки золотенькие вокруг себя расшвыривать. Федька потом лазит, лазит — все ладони об траву стерет. Аполлинарий-то помогал кой-кому деньгами. Он с сердцем человек, только по-хорошему его надо просить. Мне двух коров купил... А теперь наши погорельцы хотели к нему пойти — не пустили их японские патрули в город. Увидишь его — попроси от мужиков, пусть подможет, что ему стоит?

Первый стакан выпивают молча. Долго сопят, мотают головами, жмурятся и занюхивают самогон разварным картофелем. В тайге, которая кажется пустой и гулкой, как ночной театр, ухают птицы. Далеко-далеко на востоке, возле Лаубихары, гудят водопады. Звезды, поначалу слабо тлевшие, теперь ярки и злы. Одна звезда — по всему, Орион — горит то красным, то синим цветом. И кажется Владимирову, что кто-то далекий хочет сказать землянам нечто очень важное, но не может.

Языки костра то ластятся к земле, то взмывают вверх ломкими фигурами скифских танцовщиц. На той стороне ручья, в болоте, кричит выпь. Крик ее извечен и жуток.

— Как прошла? — спрашивает Тимоха.

— Жжет.

— Греет. Все органы души прогреет и обновит. Еще, что ль, ломанем?

— Давай.

Тимоха ухмыляется в пегую бороду:

— А из ваших никто не пьет.

— Наши — это кто?

— Красные.

— А ты какой?

— Розовый.

— Это как понять?

— А это понять так, что хотя Федька мой за красных погиб, но ведь белый — он тоже русский. Скуластый, глаз точкой — все как у меня. Землю одну любим, под одним небом живем. У меня до стрельбы жажды нет, я охотник, мне и в миру есть кого в тайге на мясо завалить. Мне в драке нынешней не пальба важна и не сабля с золотом. Мне в ей правда важна. А когда я про это красным командирам, которых из окружения выводил, сказал — они мне заявили, что я, понимаешь, зыбкий элемент и возможная гидра.

— Дураки.

— Это другая сторона. А народ их слушает и надо мной смеется. А я ведь, когда головой рискую, вам помогая, денег не беру. Я одного

прошу: ты мне правду до сути растолкуй. Мужик, он правды жаждет, как земля — воды.

— Федьку твоего красные по мобилизации забрали?

— Сам побег.

— Партийный?

— В армии вроде бы записался в ячейку.

— Ты с ним толковал?

— Брат он мне, как же не толковать.

— Ну, а про истинную правду?

— Так ведь малой он. Какая у него может быть истинная правда, когда ее старики не постигли?

— Выходит, молодому правду не постичь?

— Трудней.

— Ты в бога веришь, Тимох?

— Это мой вопрос, ты его не касайся.

— Да нет, я не касаюсь, я просто к тому, что Христу было тридцать три года, когда его распяли.

Тимоха медленно поднимает голову, упирается взглядом в своего собеседника.

— Нравится мне,— говорит он,— что ты за горло не берешь, хотя увлекательности в твоем слове мало. За таким говоруном, как ты, не многие пойдут. Надо, чтоб жилы на шее раздувались, когда говоришь, надо, чтоб про будущее такое разрисовал: один кисель да птичье молоко — тогда за тобой мужик попрет. В России на красивом слове кого угодно проведешь.

— Я не жулик. Да и потом народ долго байками не прокормишь. Не выйдет. Он посмотрит, посмотрит, да и рассердится.

— Что ты! — смеется Тимоха.— Русского сердиться царь отучил. Он все больше обижается, русский-то. Другу пошепчет, жену отлупит, самогонки поддаст — вот и вся недолга.

— Занятно говоришь...

— Обычно говорю. Сам из каких?

— Отец профессором был.

— А молчалив ты. Многие наши, те, что не от земли, говорливы больно. А ты слушаешь. Хорошо это.

— У древних китайцев книга такая была. Лао Цзы. Книга главного учения. А главное учение — это наука о пустоте. Смысл прост: в каждом человеке должна быть пустота, чтобы принять мнение других, даже если это мнение противно твоему. Все равно это обогатит тебя, сделает более широким в суждении и более подготовленным в борьбе за свое, во что ты веришь.

— Выходит, если белые эту самую китайскую трехомудию усвоят, значит, мир настанет?

— Черт его знает,— весело удивляется Владимиров,— как-то я не думал об этом. Во многом люди разобрались, а вот в том, кто начинает войны и кто заключает миры, до сих пор не могут порядка навести.

— А как его навесть?

— Дать людям свободу.

Костер угасает. С ручья поднимается туман. Он висит зыбким, но плотным облаком, растекается, делаясь из серого белым. Выпь теперь ухает совсем рядом. Осока по берегам ручья серебрится каплями росы.

Владимиров ложится на теплую землю, закидывает руки за голову, мурлычет что-то тихое и протяжное.

— Тимох, звезды считать умеешь?

— Много их.

— Если вернусь — научу звезды считать. Может стать, я к тебе скоро вернусь — и не один, а с твоими бывшими знакомыми.

— Примем, угостим, а как иначе... Ну, а звезд на небе сколько?

— Я насчитал двести восемьдесят пять. А мне надо семьсот семьдесят семь — обязательно.

— Зачем?

— Индусы говорят: три семерки — самое счастливое число. Вот и стараюсь

КАМЕРА ВЛАДИВОСТОКСКОЙ ТЮРЬМЫ

Васильев очнулся после допроса только на второй день. Сначала он лежал не двигаясь, тело свое казалось ему легким и крохотным. В голове звенело, и он подумал, что все случившееся с ним было во сне. Но когда он попробовал подняться с пола, боль свела спину, он замычал и на минуту потерял сознание. А снова открыв глаза, увидел над собой, словно через пелену, расплывчатые лица товарищей из подпольного губкома.

— Какое сегодня число? — спросил он, с трудом разлепив толстые, разбитые губы.

— Восьмое,— ответили ему.

Васильев весь затрясся, будто агония пришла, и стал повторять:

— Не может быть, не может быть, не может быть...

Он вспомнил, как Суходольский вперемежку с вопросами о подполье и типографии несколько раз спрашивал о московском госте. А он, Васильев, должен был московского гостя встретить на вокзале восьмого, в девять утра, то есть сегодня.

— А сколько времени? — прохрипел он.

— Половина одиннадцатого.

— Ночи?

— Ночи.

— Сегодня никого новых в тюрьму не привозили?

— Никого.

— Точно знаете, товарищи? — поднявшись на локтях, спросил Васильев.

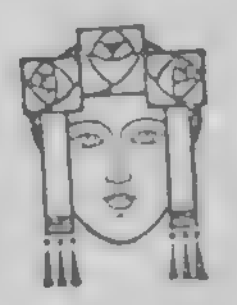
— Совершенно точно, последний арест был вчера, девочек из типографии забрали.

Васильев рухнул на пол, и какое-то подобие улыбки прошло по его лицу. В горле у него забулькало, и он, повернувшись на бок, зашелся кровавым предсмертным кашлем.

«Слава богу,— подумал он, отдышавшись,— они москвича не встретили, значит, я молчал, когда в беспамятстве был, значит, все хорошо...»

— Воды,— попросил Васильев хрипло,— вроде бы кончаюсь я, товарищи, сердце у меня холодеет. Вы только держитесь, вы держитесь, тогда все будет как надо, иначе каюк...

Он говорил быстро, а левой рукой все над собой шарил и пальцами шевелил — окровавленными, с синими подушечками вместо ногтей.



РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

В зале шумно. За столами люди друг друга знающие, поэтому здесь царит обстановка непринужденной веселости. На сцене стоит певец, загримированный под Вертинского. Возле сцены столик для

особо почетных гостей. Здесь Николай Иванович Ванюшин, профессор Гаврилин с дочкой Сашенькой, главный режиссер театра «Ко всем чертям» Ефим Михайлович Долин.

Певец на сцене заламывает над головой руки:

Птичка божия не знает
Огорчений никогда.
Антихрист собакой лает
Без особого труда...

Долгу ночь в подполье дремлет.
Солнце красное взойдет,
Антихрист, геенне внемля,
Встрепенется — и орет!

За весной, красой природы,
Лето красное бежит,
Пляшут красые уроды,
А в дуду играет жид!

Ефим Михайлович Долин, засмущавшись, покашливает и, чтобы разрядить неловкость, первым аплодирует за столиком.

— Все же, господа,— говорит он,— я, иудей, признаю справедливость в дележе нашего племени на евреев и жидов. Всякие Троцкие и Керенские — чем не жидоморды?! А кто посмеет сказать о господине Абрамовиче что-либо кроме как: еврей?

— Я,— смеется Ванюшин.— Дерьмо ваш Абрамович! Сам кашу заваривал, а теперь всем за границей в жилетку плачет. Дрэк! И ты, Фима, сволочь. Пусть бы при мне кто посмел про россиянина хоть словечко обидное сказать! Я б немедля глотку перегрыз. А ты изгиляешься перед нами, своих соплеменников продаешь, хуже любого черносотенца. Так себя ведут потаскухи.

— Когда вы начнете браниться по Далю,— просит профессор,— заранее предупредите, я уведу дочь.

— Сашуля,— смеется Ванюшин,— ваш папа — ханжа. Вы у нас единственная одаренная поэтесса, вам не надо бояться гримас жизни, вам их надо видеть. Вот, например, на всех заборах каждую ночь появляются такие призывы, начертанные рукою юных мужей, что мне, знатоку мата, и тому завидно... А папа, верно, велит вам проходить мимо с закрытыми глазами.

— Коля, зачем вы бравируете?

— Любил барин нотации читать.

— Я нотации лакеям читаю,— жестко возражает Гаврилин,— когда мне подают пережаренное мясо.

Ванюшин придвигается к Гаврилину и жарко говорит — не поймешь: то ли пьян, то ли издевается:

— А вот я мяса никому не подаю и все равно лакей! Имеющий рубль не станет пить пустой чай, у кого десятка — потребует шашлыка на ребрышке, а кто владеет тысячами — тому подавай печатное слово! А как же?! Тысяча — вот визитная карточка цивилизованного человека. А ему без триппера и скандальной хроники — жизнь не в жизнь! Скандальную хронику — а ее сущность составляет политический репортаж, публицистическая гневность и сводка с фронта,— это все ему, цивилизанту, подаю я — лакей и прихвостень! Мне платят не за талантливость, а за количество строк и запах жареного! И тебе, профессор, тоже. А Долину — подавно. Он такие вонючие пьесы ставит — просто тошно. Зато меценатам нравится. А что есть меценат? Оно есть некультурная сволочина, которая позволяет себе судить обо всем и советы давать всем, потому как может платить.

Сашенька слушает Ванюшина жадно, нахмурив мохнатые брови. Долин катает хлебные шарики на скатерти, а Гаврилин скептически улыбается и цыкает зубом, как будто что попало в дупло.

— Мой репертуар не так уж плох, напрасно ты так резко,— возражает Долин.

— Замолчи! У тебя нет репертуара, у тебя набор дурно пахнущих анекдотов.

— Знаете, почему вы неправы? — задумчиво спрашивает Гаврилин.— Вы, Коля, неправы оттого, что плохо знакомы с историей русской государственности.

— А се-то и нет. Есть сплетни, далекие от историзма, и пошлые байки про то, как Екатерина с Потемкиным в постели развлекалась!

— Ты сердишься, Юпитер, значит, ты неправ.

— Я не сержусь. Я утверждаю. Убедите в обратном — с огромной радостью признаю себя побежденным.

— Я постараюсь убедить вас в письменном виде.

— Как?

— Так. Напишу в ваш лакействующий орган.

— Лет через пять? Когда нас вышибут отсюда в объятья к китайским мудрецам? Русская интеллигенция похожа на существо с огромной головой, но без рук. И с великолепным языком: болтать можем прелестно, писать — в год по чайной ложке, надиктовывая, а делать — нет, это мы не можем, пусть мужик делает, мы будем скорбно комментировать и намечать перспективы.

— Вам бы застрелиться,— советует Гаврилин.

— Ха-ха, я жить хочу! Мне приятно жрать кислород — единственное, что человеку отпускают бесплатно!

— Не надо ссориться, господа,— говорит Долин,— в конце концов, мы все единомышленники.

— Не надо! —соглашается Ванюшин.— Ни к чему! Сашенька, лапа, почитайте свои стихи — они сильны и чисты, я прошу вас, девочка!

В зал входят трое пьяных офицеров. Один из них, низенький, раскосоглазый, поразительно напоминающий атамана Калмыкова, визгливо кричит:

— Ма-а-алчать!!!

В привычном к таким выходкам зале — чему за годы революции не выучили российскую интеллигенцию?! — все смолкает.

Один из трех вошедших выхватывает из-за спины гори и серебряно играет позывные кавалерийского марша.

— А-аркестр! — приказывает низкорослый.— Валяй «Боже царя храни»!

Первая скрипка, треща фрачными фалдами, гарцуя, несется между столиками к офицеру.

— Господа, у нас не тот состав, чтобы играть эту мелодию! Может получиться весьма фривольно.

— Дали вам, собакам, фри-волю,— говорит офицер.— А ну играй!

— Но...

Офицер вырывает у музыканта скрипку, поднимает ее над головой. Тишина в зале делается напряженной и гулкой. Ванюшин грузно поднимается, отталкивает стул и идет на офицера. Останавливается перед ним, огромного роста, бешеный. Усы топорщатся, лоб в испарине.

— Вон отсюда,— негромко говорит он офицеру.

Тот начинает скрести кобуру негнущимися пальцами. Из-за столика, поставленного близко к двери, поднимается молодой человек лет двадцати пяти, неимоверно франтоватый, быстро подходит к офицеру, который уже ухватил пистолет за рукоять, чуть трогает его за плечо. Офицер оборачивается, и молодой человек с размаху бьет его в подбородок. Офицер, грохнувшись, едет на заднице по вощеному паркету к дверям.

Верещат пронзительными голосами дамы; биржевые спекулянты и интеллигенты молчаливо жестикулируют, выражая крайнюю степень озабоченности.

Офицер, лежа на полу, достает пистолет, целится в молодого человека, пытаясь унять дрожь в руке, но тот в прыжке выбивает у

него оружие. Потом неторопливо поворачивается, чтобы идти на свое место. Но Ванюшин бросается к нему, обнимает и целует неловко, по-медвежьи — в шею.

— Исаев! — кричит он.— Боже мой! Максим Максимыч! Откуда здесь! Какая радость, а?! Исаев! Максим!

Ванюшин ведет Исаева через зал, и все аплодируют ему, прочувствованно повторяя:

— Браво! Браво!

ПОРТ

С потушенными огнями на рейд входит полувоенный корабль. На носу, крепко вбив свое тело в палубу, стоит атаман Григорий Михайлович Семенов. Он щурит острые глаза, кусает ус, жует губами. Сейчас решается его судьба: быть ему верховным главнокомандующим всеми войсками России или Меркуловы окончательно одержат верх.

Для всех его прибытие сюда будет сюрпризом, да еще каким! Всполошатся купчики, япошки изумятся, американцы ахнут. А хрен с ними. Играть — так ва-банк, а иначе не стоит мараться.

РЕСТОРАН «ВЕРСАЛЬ»

За столом, возле оркестра, дым стоит коромыслом. Обняв Исаева левой рукой, Ванюшин размахивает над головой правой и кричит:

— Мы Пушкина не знаем, профессор!

— Но почему же? — возражает пьяный Долин.— Прекрасные строки, мы воспитывались на них.

— «Однажды в студеную зимнюю пору»? Да? Ты — молчи!

— При чем здесь Пушкин и крах российской государственности? — спрашивает Гаврилин.

— При чем? А при том! Пушкин писал, что нет ничего страшнее русского бунта — бессмысленного и жестокого. Только тот может к нему звать, кому чужая шейка — копейка, а своя головушка — полушка! А мы что делали? Успенского с прислугой вслух читали и государя бранили при любом удобном случае — ради красного словца, забыв, что он прямой наследник Петра! Если что до конца Россию и погубит, так это разговорчики сытых интеллигентов! Пушкина читать надо, Пушкина!

— Николай Иванович,— улыбается Исаев,— а кстати, вы помните, что Пушкин писал о наследниках Петра? Нет? Он писал, что ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что не требовало нового вдохновения. Таким образом действия правительства были выше собственной его образованности и добро производилось не нарочно, между тем как азиатское невежество царило при дворе!

За столом воцаряется тишина. Ванюшин смотрит в глаза Исаеву.

— Сколько вам лет, Максим Максимыч?

— Двадцать семь.

— На кого вы сейчас работаете?

— Я только что прибыл из Лондона.

— Я не спрашиваю, откуда вы прибыли, я спрашиваю, кому вы запродались?

— Я, право, затрудняюсь...

— В таком случае вы обозреватель в моей газете с сегодняшнего дня.

— Браво! — говорит Гаврилин.— Вот так делаются дела. Ванюшин не просто король прессы, он у нас бизнесмен высшей марки! Вас ждет, Исаев, слава, а Николая Ивановича — новые подписчики. И перемежайте ваши статьи о наследниках Петра Великого сообщениями о скачках — это в духе времени.

— Сейчас он скажет, что я спекулянт,— хохочет Ванюшин,— они меня здесь все считают спекулянтом, потому что я исповедую веселость, в отличие от их многострадально-показной усталости.

— Николай Иванович,— просит Сашенька Гаврилина, молчавшая до сих пор,— а вы обещали меня свозить в чумные бараки.

— Не говори глупостей, Саша,— раздражается отец.— Твои эксперименты наконец делаются вздорными.

— Я слышала, чумные, когда бредят,— продолжает Сашенька,— говорят всю правду. Главное, беспощадно честно говорят про себя все. Если только успевают. А вы? Вокруг правды ходите, а к ней никогда не придете.

— Почему? — спрашивает Ванюшин.

— Потому что вы все себя любите, а правда у вас — словно компот — на десерт. Потому что у вас только разговоры о правде, а она разговоров не любит, она предпочитает либо молчание, либо действие.

Долин бормочет несуразное, Ванюшин целует ей руку, а Исаев, отстранившись, смотрит на девушку, чуть прищурившись, и не поймешь сразу: то ли он усмехается, то ли изумлен.

Сашенька видит, как он смотрит на нее. Она привычна к тому, что на нее все смотрят с обожанием, а этот странный человек, похоже, смеется.

— Вы не согласны? — спрашивает она Исаева.

— Я как раз собирался пойти к чумным. Так что я обожду отвечать вам.

— О-о! — вдруг протяжно возглашает Ванюшин.— Кирилл, Кирилл! К нам!

Все оборачиваются и видят в дверях Гиацинтова.

Полковник идет навстречу Николаю Ивановичу. Они трижды целуются. Гиацинтов выглядит усталым, но в глазах бегают веселые огоньки. Он пожимает руку Сашеньке, сухо здоровается с Гаврилиным, фамильярно-дружески треплет по затылку Долина.

— Знакомься с моим другом, Кирилл. Мы вместе были в Омске, у адмирала.

— Максим Максимыч Исаев.

— Гиацинтов.

По залу проносится быстрый, как ветер, шепоток. От двери, прямо к столу, ни на кого не глядя, идет Николай Дионисьевич Меркулов, министр иностранных дел. Подвижной, с умным казацким лицом, широкоскулый, он улыбчиво здоровается со всеми, выпивает немного вина и, не говоря ни слова, начинает ковырять вилкой паштет из рыбьей печенки.

— Профессор,— вскользь замечает он Гаврилину,— из Вашингтона вам пришла виза, так что, по-видимому, самое большее, через неделю вам следует ехать туда.

— Когда профессор становится главой миссии,— замечает Ванюшин,— ждите крупных неприятностей, а пуще — убытков, отнесенных за счет гордости и бескомпромиссности.

Меркулов нагибается к Ванюшину и негромко, одними губами, шепчет:

— Только что в порт прибыл атаман Семенов. И уже по городу раклеены его приказы с подписью: «ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАН-

ДУЮЩИЙ ВСЕМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ВОСТОКА РОССИИ». Этот идиот не понимает новой ситуации. А в порту уже началась стрельба. Пьяные семеновцы палят.

— Где Спиридон Дионисьевич? — медленно трезвея, спрашивает Ванюшин.

— Брат молится. Заперся в своем кабинете и ничего слышать не хочет. Поехали туда? Примите ванну, а я заварю кофе и станем думать.

Ванюшин поднимается, в глазах у него темнеет. Он думает, что это от сердца. Но нет — люстры медленно гаснут, а в огромные окна вползает серый рассвет. Амурский залив сейчас кажется густо-зеленым, как весеннее поле ночью.

— В чем дело? — ни к кому не обращаясь, спрашивает Гиацинтов.

К нему трусит метрдотель и шепчет на ухо.

— Стачка.

Гиацинтов медленно поднимается и, поклонившись всем, уходит из зала.

Следом за ним — Меркулов и Ванюшин.

Гаврилин глядит на их спины и говорит устало:

— Политика лакеев отличается крайним либерализмом. Часто сменяется ненужной жестокостью; при этом — глупо непоследовательна и наивно хитра. Спокойной ночи, Исаев. Заходите к нам, я буду рад вас видеть. Долин, спокойной ночи.

Долин предлагает:

— Поехали к проституткам, Максим Максимыч?

— Я, пожалуй, попью кофе...

— Прощайте, еду на растерзание.

— В добрый час...

Исаев остается за столом один и долго смотрит на залив — спокойный и безбрежный.

«ВЕРСАЛЬ». НОМЕР ВАНЮШИНА

— Вы знаете, в чем заключается трагедия добрых людей? — спрашивает Николай Иванович Исаева.

— По-видимому, в том, что у них напрочь отсутствует злость.

— Отчасти. А главное — добрых людей весьма мало на земле, вот в чем дело. Потом добрые люди ужасно переживают содеянное ими. И наконец, они все меряют своей доброй меркой. И это самое страшное. Желание мерить все на свою мерку в конце концов либо сделает доброго человека безвольной тряпкой в глазах окружающих, либо превратит в злодея — с отчаянья.

— Надеюсь,— спрашивает Исаев,— эта тирада ко мне не имеет никакого отношения?

— Господь с вами. Кстати, не позволяйте никому называть вас Максом. Особенно женщинам, которых любите.

— Я позволяю любить себя — только лишь. Сам же стараюсь не любить — это утомительно.

Ванюшин кружит вокруг Исаева и пронзительно разглядывает его. Спрашивает:

— А как это у вас выходит? Дайте рецепт.

— Просто-напросто я отношусь к числу не очень добрых людей. Возможно, вы слышали об опытах Карла Кречмера?

— Нет.

— Занятные опыты Кречмер делит человечество на три категории: на пикников, атлетиков и астеников. Пикники — полные, быстрые в движениях, с короткой шеей, сильно развитой грудной клеткой, склонные к тучности и одышке, кареглазые и крутолобые люди. Не смейтесь: Кремчер провел более тридцати тысяч наблюдений в своей клинике. Я сейчас буду перечислять характерные черточки пикников — и это будет про вас, поверьте.

— Валяйте.

— Пикники социабельны, все выдающиеся политические деятели мира, начиная с времен Эллады, были пикниками, для людей этой конструкции одиночество страшнее всего, они созданы для общества, для активнейшей работы, самые распространенные заболевания у них сердечные, они мнительны и легко ранимы, их замыслы широки и неконкретны, они исповедуют синтез, а не анализ, их память отнюдь не универсальна, а сохраняет лишь самое броское и яркое, отсюда, кстати, обывательская уверенность, что пикники поверхностны в знаниях; они воспринимают книгу, спектакль, науку в целом, сразу, или принимая ее или отвергая напрочь; полная бескомпромиссность у пикника сменяется таким компромиссом, который и атлетику и астенику будет казаться предательством. И наконец, в любви — бесконечные увлечения, причем и любовь и увлечения — отнюдь не самоцель, а некий вспомогательно-стимулирующий инструмент для непрерывного обновления основной его, пикника, деятельности.

— Черт,— говорит Ванюшин и опускается в кресло,— да у вас просто готовый номер для концерта. Ваши сведения ошеломят всех пикников в зале. Занятно. Ну, а что такое атлетики?

— Внешне — эталон атлетика греческая скульптура. Спокойствие, рационализм, точность. Астеник — худой, с покатыми плечами, абсолютно невосприимчив к жировым накоплениям, склонен к легочным заболеваниям, аналитичен, пессимист.

— Вы думаете, эта классификация серьезна?

— Пока рано делать заключения. Но опыты, по-моему, интересны.

— И у пикников в семье обязательно бордель, да?

— Не всегда, но в большей части.

— Это точно! А кто виноват? — усмехнулся Ванюшин.— Футуристы, акмеисты, имажинисты и вся прочая сволочь...

— Зачем же вы о них так грубо?

— А я их ненавижу. Все эти «измы» — способ, фокусничая, быть сытым и устроенным в те времена, когда цензура свирепствует против реализма. Они строят загадочные рожи и порхают по самой поверхности явлений и при этом играют роль непонятых гениев, которых травит официальщина. Тьфу!

Исаев долго стоит у окна, пока Ванюшин повязывает в ванной галстук и причесывается.

— Наверное, нет ничего грустней,— задумчиво говорит он вошедшему Ванюшину,— как смотреть на женщину, которая долго сидит одна в сквере...

— С одной стороны. А с другой — нет ничего грустнее, как смотреть сегодня утром на нашего премьера, которому предстоят переговоры с Семеновым. Едем в редакцию, надо писать в номер комментарий, я введу вас в курс дела.

У СЕМЕНОВА

В салоне, отделанном под мореный дуб, сидят трое: атаман Семенов, претендующий на всю полноту власти, напротив него — братья Меркуловы, люди, властью в настоящий момент обладающие.

Меркулов-старший, помешивая ложечкой зеленый чай в тонюсенькой фарфоровой чашке, заканчивает:

— Таким образом, мы рады приветствовать вас здесь, на островке свободной и демократической русской земли. Сразу же после того, как вы соблаговолите выставить свою кандидатуру на дополнительный тур выборов в Народное собрание и ежели вы будете выбраны, наше правительство сочтет за счастье предложить вам тот портфель, который наше демократическое собрание сочтет возможным одобрить.

— Где это ты, Спиридон Дионисьевич, выучился таким жидовским оборотам?!

— Только грубить зачем? — вступается Николай Дионисьевич.— Это в казачьем войске проходит, а у нас — не надо, Григорий Михайлович. У нас надо все трезво и всесторонне рассматривать.

Семенов поднимается из-за стола. Грузно расхаживает по каюте. Солнечные зайчики носятся наперегонки по черному потолку. В большие иллюминаторы видно, как два миноносца под андреевским флагом стоят напротив семеновского теплохода. Орудия, все до единого расчехленные, точно наведены на него. Семенов это видит.

— Трезво? — уже спокойнее говорит Семенов.— Хороша себе трезвость, когда Россия поругана красной сволочью, а вы ни мычите, ни телитесь. Изничтожать надо красную гангрену.

— Каким образом?

— Виселицей и нагайкой.

— Вчерашним днем живете, Григорий Михайлович.

— И потом,— раздумчиво говорит Меркулов-старший,— для того чтобы выступление было эффективно, нужна толковая подготовка, господин атаман. Погодить надо, пообвыкнуть.

— Чего годить? Годить, покеда вас в океан сошвырнут? Нет, это не для меня. Либо так, либо никак. Если боитесь — уступите место другим.

— Григорий Михайлович,— смеется Николай Дионисьевич,— ты зачем же множественное число употребляешь, когда одного себя имеешь в виду?

— И-и-и,— качает головой Семенов, чтобы скрыть усмешку,— нужна мне власть?! Я свое дело сделаю, да и уйду. Мне в борьбе любая должность почетна.

— Красное словцо ты любишь, Григорий Михайлович. Любая... Если любая — я тебе предложу должность полкового командира. Пойдешь?

— Ты зачем же надо мной куражишься? — багровеет Семенов.—

Я сюда не должности делить приехал, а сражаться за поруганную честь государя-императора!

— Вот видишь, как разнервничался? Значит, незачем было про любую должность говорить. Ведь уговорились мы: пройдут выборы, и тогда мы с открытой душой вас примем в свои ряды. Неужели нельзя месяц-другой обождать? Мы, когда тут готовили наш победоносный переворот, подолгу ждали. А ведь мы, Григорий Михайлович, не в Токио сидели, как ты, а под чекистским пистолетом.

— Ты меня этим не упрекай! Пока ты тут золото в двадцатом году наживал в торговле, я под Читой красных сдерживал и своих друзей хоронил! Ишь Пуришкевичи мне тут отыскались!

— Я попрошу вас вести себя в рамках приличия,— просит премьер.— Мне стыдно за вас, атаман!

— Ты за себя лучше стыдись! Лампасы им желтые не нравятся, от виселиц их коробит! Меня тоже коробит, я тоже человек, да только я фронт прошел, а вы зад в тепле держали! А вот вас стукнет — и вы запрыгаете!

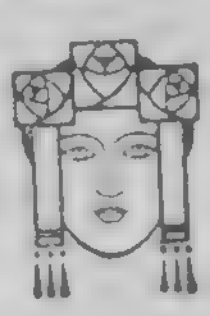
Меркуловы гневно выходят из каюты. Идут по палубе, ни на кого не глядя. Их тесным кольцом окружают журналисты, засыпают вопросами, трещат фотокамерами и киноаппаратами. Первым к ним — Исаев. Уже около самого трапа Спиридон Дионисьевич останавливается и отвечает на все вопросы одной трафаретной фразой:

— Господа, повторяю, переговоры продолжаются в атмосфере сердечности и полного взаимопонимания. Григорий Михайлович Семенов — патриот родины, который тонко и своеобразно понимает сердцевину переживаемого момента. Мы убеждены, что в дальнейшем наши контакты возрастут еще больше.

— Думая о будущем,— добавляет Николай Дионисьевич,— мы конечно же трезво учитываем уроки прошлого.

У младшего братца выдержки поменьше: проговорился. Газетчику только красшек покажи, он все вытащит. Шум, новые вопросы, крики. Братья не отвечают. Они быстро спускаются по трапу, садятся в свой бронированный катер и уплывают на берег.

Исаев спускается в пассажирское отделение и, по-кошачьи мягко ступая, приближается к двери, которая ведет в кабинет Семенова.



Пресс-атташе диктует шифровальщику:

— Следующее сообщение под шифром «Юг» передадите сразу в два адреса: МИД и военная разведка генштаба. Итак, вы готовы?

— Я готов, Танака-сан.

— Прекрасно. **Владивосток, семь тысяч восемьсот сорок пять, агент семьдесят шесть с подтверждением через агента четыреста восемьдесят семь передает: продолжающиеся второй день переговоры между Семеновым и Меркуловыми явно зашли в тупик. Происходящее на руку розовым, которые сейчас продолжают всеобщую стачку. Под розовыми мы имеем в виду рабочих, близких по убеждениям к большевикам. Красных в городе стало меньше после ареста руководящего звена подполья полковником Гиацинтовым. И хотя розовые не организованы, тем не менее разногласия между двумя лидерами белой России, между Семеновым и Меркуловым, не могут не быть прекрасным поводом для антиправительственной и антияпонской пропаганды. Единственно правильным выходом из создавшейся ситуации есть примирение двух лидеров и создание коалиционного правительства. Мы пока не можем делать ставку ни на одного из двух, с тем чтобы не попасть впросак в будущем: Семенов перспективен, как вооруженная сила отчаянной дерзости, а Меркуловы олицетворяют мощь торгово-промышленных институтов. Выводы: приложить максимум усилий, оказать давление как на Меркулова, так и на Семенова, с тем чтобы в ближайшие дни соглашение было достигнуто и монолитность власти подтверждена публично, как перед русским, так и перед мировым общественным мнением.** Вы не устали, Сувама-сан?

— Я не устал, Танака-сан, благодарю вас за столь любезное внимание.

— Итак, дальше...

АМЕРИКАНСКАЯ МИССИЯ

Второй секретарь диктует шифровальщику:

— И хотя наше отношение к Семенову крайне отрицательное, в настоящий момент мы не видим иного выхода, кроме как поиск возможных путей примирения двух группировок. Эта временная мера должна сейчас, на первых этапах, явиться свидетельством сплоченности тех групп, которые противостоят идеологии большевизма, сохраняя свои политические убеждения различными и свободными от давления извне.

ФРАНЦУЗСКОЕ КОНСУЛЬСТВО

Вице-консул — шифровальщику:

— И последнее: хотя наши симпатии находятся на стороне атамана Семенова, как наиболее последовательного борца с большевизмом, тем не менее, учитывая реальную политическую обстановку на Восточной окраине, поддерживать следует Меркуловых, с тем чтобы прибывшая сюда армия Врангеля не вступила в конфликт с армией Семенова. Даже по личным симпатиям и привязанностям Врангель и Меркулов более подходят друг к другу, нежели атаман и генерал. Наиболее же устраивающий нас выход из создавшейся ситуации — это коалиция Меркуловых с атаманом.

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Японский генерал Тачибана с переводчиком сидят в кабинете Меркулова уже третий час кряду. Фривейский, два раза входивший к Спиридону Дионисьевичу с только что поступившей прессой и новыми сообщениями телеграфных агентств, намеренно долго раскладывал вырезки, очерчивая нужные места разноцветными карандашами, внимательно и цепко прислушиваясь к напряженному и тонкопунктирному разговору премьера с генералом.

Выйдя третий раз из кабинета, после двухминутного разговора с Меркуловым-младшим, он снимает трубку телефона, набирает редакционный номер Ванюшина и говорит:

— Николай Иванович, нужен хороший комментарий. Завтра Семенов и Спиридон Дионисьевич подпишут совместную декларацию. Бой за монолитность нашу выигран!

РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

— Оставьте окно,— говорит Ванюшин метранпажу,— сейчас я набросаю комментарий. Заголовок пусть будет набран крупешником.

— Какой заголовок? — интересуется Исаев.—

ВОН ИЗ ВЛАДИВОСТОКА, АТАМАН!

— Это могло быть вчера. А сегодня:

БОЙ ЗА МОНОЛИТНОСТЬ НАШУ ВЫИГРАН

— Вы действительно верите в это, Николай Иванович?

Ванюшин расхаживает по кабинету, суетливо жестикулирует, поясняя:

— Я никогда не был так уверен в нашей победе, как сейчас, никогда, Максим! Раньше нас разъедали дрязги: Деникин сам по себе, Колчак сам по себе, англичане темнят, французы против адмирала,

американцы выжидают,— словом, бордель, и только! А теперь на территории России остался лишь один очаг свободы — мы! Весь цивилизованный мир помогает и сочувствует нам! Мы подперты американскими кораблями и японской пехотой! Наконец, Меркуловы — русские патриоты, которые преследуют не свои честолюбивые интересы, а живут главной задачей освобождения нации из-под большевистского ига. Они честны и просты, как сам русский мужик, и у них добрые сердца, поверьте мне! А Семенов — ну бог с ним, в конце концов! Он вояка, он будет под ними, он не выйдет из-под нашего подчинения, зато казачество его боготворит, а это — громадная сила! И потом — худой мир с ним лучше доброй ссоры, право слово. Так что я полон оптимизма, друг мой, и он зиждется на реальности, а не на грезах. Мы спаслись только что от раскола — вот вам блистательное подтверждение моим словам, не так ли?

Ванюшин запирается в своем кабинете и просит Исаева не уходить надолго. Исаев обещает быть где-нибудь рядышком, только разве, может, сходит в бар.

Он действительно идет в кафе-бар «Банзай». Там, за столиком, занавешенным бамбуковой перегородкой, сидит молодой человек, похожий на корейца.

— Простите, не могу ли я сесть рядом? — спрашивает Исаев.

— О, прошу вас,— отвечает кореец,— это очень приятно мне, поверьте.

Исаев садится подле него и заказывает подбежавшему лакею немного виски. Чуть заметным движением Исаев передает корейцу два листка рисовой бумаги. Тот оставляет на мраморном столике полторы иены и, кланяясь по-японски, уходит.

РЕДАКЦИЯ «ВЛАДИВО-НЬЮС»

Здесь, в большом зале с огромными, стрельчатыми окнами, возле диковинного цветка, растущего в громадной кадке, стоит забавной конструкции письменный столик. На нем старинная, разболтанная пишущая машинка и великолепнейшая рисовая бумага — плотная, но в то же время очень тонкая. Писать на ней одно удовольствие. И по-

лучает это удовольствие корреспондент газеты Джозеф Лобб — единственный американец на всю русскую проамериканскую газету. К нему-то и подходит кореец, только что сидевший с Исаевым в баре. Он что-то шепчет на ухо Лоббу. Тот достает из кармана пятьдесят долларов, кореец качает головой, тогда Лобб добавляет еще десять, и после этого он получает два листочка бумаги, на которой — «подлинный черновик заявления» атамана Семенова, «украденный только что боем с японского теплохода». Заявление скандально. Начинается оно по-семеновски: *«Я, верховный главнокомандующий и Правитель Восточной окраины России, генерал-лейтенант, атаман войска казачьего Семенов, обращаюсь к тебе, народ русский. С болью в сердце вижу я, что хотя большевистский гнет и сброшен с божьей помощью, но истинно народный дух — дух мщения за поруганных и убиенных красной сволочью — не восторжествовал здесь! Мягкотелый правитель не в состоянии вести великий народ на подвиг — и к славе! А посему: с сегодняшнего дня я считаю так называемое правительство Меркулова низложенным, Народное собрание — распущенным впредь до новых выборов, с тем чтобы нам, сынам православия и веры, понести знамена свои — через боль и кровь — к свободе и освобождению от дьявольского наваждения красных псов и жидовских недоносков!»*

Сенсация, скандал, боже мой, прелесть-то какая! А материал проверенный? Конечно, а как же?! Кореец Чен — студент университета, подпольный делец, сколько раз поставлял интереснейшие, скандальные сведения! Причем всегда точные.

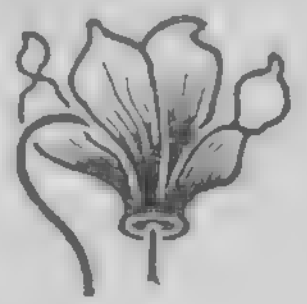
— Спасибо, Чен,— говорит Лобб,— спасибо.

И уносится вниз, на телеграф.

Значит, ровно через два часа весь Владивосток будет знать текст «обращения» Семенова, написанный Исаевым. Пока Семенов даст опровержение, пройдет время, а быть может, Николай Дионисьевич, опровержения не дождавшись, сделает заявление для печати, а может, Николай Иванович, поднапившись, в пьяном угаре прислушается к совету Максима Максимовича: все может быть, там посмотрим, что получится. А пока главное, самое важное, сейчас получилось.

КОРЕЙСКИЙ КВАРТАЛ

Чен возвращается от Лобба в третьеразрядную корейскую гостиницу, проходит в свою каморку, расположенную в подвале, запирает дверь и начинает медленно раздеваться. Он снимает свой модный костюм, вешает его на плечики, укрывает марлей и ложится на циновки. Достает деньги, полученные от американца, тщательно просчитывает их, откладывает себе на жизнь доллар, а остальное прячет в тайник, сделанный в полу. Это неприкосновенно, это в партийную кассу или на оперативные нужды. Чашка риса и кусок мяса в день — весь его рацион. Чен укрывается легоньким одеялом, свертывается в калачик и старается уснуть: после каждой операции у него страшно болит затылок — до слепоты и обмороков. Он начинает тихонько петь себе колыбельную песню. Во дворе визгливо кричат дети. Чен заставляет себя уснуть. Спит он ровно час, как будто будильник ставил. Из своей каморки он выходит беззаботным франтом с гаденькой угодливой улыбочкой и отправляется на биржу — к своим «друзьям»-спекулянтам.



РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

Николай Иванович смотрит на ночной порт. Ревут неразгруженные пароходы. Стоят трамваи — бастуют кондуктора. Поэтому улицы полны людьми. Ресторанчики открыты, в кафе и скверах играют оркестры. Весело в центре. А что бастуют — так ну их, право. Побастуют, да и бросят. Господи, вон ведь красиво как все! И бухта Золотой Рог, и сумасшедше раскрашенное закатом небо, и деревья — все в зеленой кипени, и веселая публика на улицах: студенты, офицеры, негры, дамы, японцы, моряки, американцы, греки. Чего бояться, когда на город слепо смотрят орудийные башни крейсеров, а каппелевцы в казармах колют соломенных противников? Завтра город торжественно встретит Семенова, по-видимому, он будет просить портфель военного министра, ну да черт с ним,— если он декларацию подпишет, японцы заставят его уважать подписанное.

Метранпаж приносит из типографии сверстанный номер. Надо подписывать в печать. На первой полосе огромный заголовок:

БОЙ ЗА МОНОЛИТНОСТЬ НАШУ ВЫИГРАН

И дальше — светлый и публицистически-приподнятый комментарий Ванюшина.

Николай Иванович подписывает номер в печать, и как раз в это время в кабинет заходит репортер из международного отдела и кладет на стол Ванюшину только что полученные сводки американского агентства при «Владиво-ньюс» с полным текстом нового заявления Семенова. Ванюшин грузно оседает, кресло трещит, чуть не ломается. Читает заголовок:

Меркуловы низложены

Ванюшин звонит к Меркуловым. Братья еще не знают о тексте семеновского заявления. После того как прочитан текст, Спиридон Дионисьевич долго откашливается и голос у него становится очень высоким, как у подростка. Он спрашивает:

— Что же вы советуете?

Ванюшин разводит руками, придерживая трубку телефона плечом.

— Сейчас еду к вам,— говорит он.

РАННЕЕ УТРО

По Светланке несутся мальчишки, вопят пронзительными голосами и размахивают над головами свежими газетными оттисками:

— Последние новости, последние новости: атаман Семенов лишен

генеральского звания и признан персоной нон грата в нашем городе! Атаман Семенов под домашним арестом на японском теплоходе! Великая победа демократии! Атаман Семенов рыдает в подушку! Народ одобряет победу нашего родного правительства!

Следующей ночью атаман Семенов сбежал с теплохода и отправился к китайской границе, в Гродеково, к своим казачьим частям, шепча проклятья и обещая расправиться с Меркуловыми. Разговоры о святой борьбе с красными псами несколько отошли на задний план.

Меркуловы, озабоченные возможным выступлением Семенова, занялись организацией линии обороны в районе Гродекова.

Ситуация сулила серьезную распрю между двумя белыми лидерами.

Японские представители во Владивостоке сбились с ног, пытаясь примирить враждующие группировки. Но Меркуловы и Семенов ни на какие уступки друг другу не шли, а от японцев, увлеченные борьбой, стали отмахиваться, как от надоедливых мух.

В этой ситуации японский МИД дал понять представителям Дальневосточной республики в Токио, что переговоры между красной Читой и Токио, которые ранее каждый раз отклонялись правительством микадо, сейчас становятся возможными. А как же им быть невозможными, когда началась такая драка между Меркуловым и Семеновым? Обязательно надо искать запасную платформу. В политике, как в хлебопашестве, если не подумаешь о завтрашнем дне, пропадешь, и ничто не поможет.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ЧИТА-II

Перрон почти пуст. На жарких, раскаленных перронах — замер строй почетного караула, чуть в стороне, под металлическим, давно не крашенным козырьком,— оркестр Читинского гарнизона. Возле облупившейся ресторанной вывески — группа военачальников, представители парламентских групп Народного собрания ДВР, партийные работники: большевики, эсеры и меньшевики. Кадеты и народные

социалисты стоят особняком, оживленно переговариваются, смеются, лица холеные, очки поблескивают золотом, белые канотье выписаны из Парижа, штиблеты по последней американской моде — тупорылы, пиджачки коротенькие, тоже на американский манер.

Вокзальное начальство, упрежденное, что прибывает новый военный министр и главком, загнало пассажиров в залы ожидания, а двери все заперло — на контролеров надежды нет: народ до зрелищ жадный, сомнет. Все вокзальные двери расплющены прижатыми носами любопытных.

— Говорят, начальник-то,— шепчут в зале ожидания,— свирепый, порядок приехал навести, растрясет буржуев тутошних.

— Мели Емеля! Он сам из немцев, а немец — первый буржуй на земле.

— Какой немец! Прикусись. Жид. Жид он.

— Евреи против капитала свирепые. Сейчас гривой своей затрясет кучерявой — и чтоб конфисковать немедля!

— Коль, он мне под юбку залазит!

— Ишь, ишь, кадеты стеклами сверкают. Министры-капиталисты! Как при адмирале сидели в начальниках, так и теперь остались. Эх, Расея, нет на тебя плетки!

— Терпеливы, терпеливы, это точно.

— Погоди, доведут — подымемся, с заду искры полетят.

— Слышь, папаш, а чего это эсеры все, как есть, нестриженые и с перхотями на спинах?

— Это у них от идейности. Идейный — он завсегда нестриженый. А перхоть — так то ж мозг зашелушивается изнутри...

— Коль, он мне под юбку залазит!

— Эвон паровоз, паровоз!

Кадеты переговариваются:

— Говорят, весьма способный военный.

— Перестаньте. Откуда? Очередной крикун.

— Гражданин Протопопов, любопытно: большевики — каменны, молчат, будто воды в рот набрали.

— Меньшевиков боятся.

— Не верю. Ни во что не верю. Придут сюда желтые, весьма скоро заявятся. Армия может им противостоять, а ее, увы, нет. Есть сброд.

— Американцы тянут с визами...

— Чего вы от них хотите? Союзники — одно слово.

Эсеры:

— Кто будет его приветствовать?

— Естественно, от большевистской фракции.

— Я спрашивал: те говорят, что приветствие будет от имени коалиционного правительства.

— Какая к черту коалиция? Пауки в банке. Коалиции в России противоестественны; каждый в Бонапарты метит.

— Двадцатый век — последний век этой цивилизации. И конец миру придет из России, истерзанной изнутри.

— Меньше афоризмов, Владислав Прокопьевич. Афоризмы надоели, мы с ними проиграли все, что могли проиграть.

— Граждане, поезд...

Состав министра обороны и главкома медленно приближается к платформе. Заместители министра, военные руководители, начальник гарнизона медленно двигаются к тому месту, которое отмечено на перроне мелом: здесь должен остановиться салон нового министра. Следом за воинскими руководителями длинно вышагивает начальник почетного караула: шашка посередине туловища, тело сотрясается от шагов, вдалбливаемых в жаркий асфальт, брови сосредоточенно нахмурены, глаза поедают спины заместителей министров.

Капельмейстер, взятый напрокат из оперного театра, неуклюже морщится в военном кителе, то и дело обмахивается платочком, подрагивает рукой, поднятой в уровень с головой: ударить марш встречи надо секунда в секунду, чтоб все как в прежнее мирное время, когда губернатор появлялся в ложе.

Паровоз остановился. Дверь вагона министра распахнулась, и оттуда медленно вылез бритый наголо человек в зеленом английском френче — без орденов и знаков отличия. Оркестр рванул марш торжественной встречи. Начальник гарнизона стал выкрикивать слова приветствия. Блюхер, не дослушав его, отвернулся. Из распахнутой двери жена и адъютант протянули ему махонький гробик. Блюхер принял гроб на руки и пошел сквозь толпу встречающих к выходу. Оркестр оборвал приветственный марш, веселый и громкий, только когда Блюхер был совсем рядом. Шел министр с трехмесячной дочкой Зоенькой, умершей за два часа до приезда в Читу, шел под марш торжественной встречи, мимо строя почетного караула и парламентских фракций.

Когда Блюхер в Москве пробовал отпроситься у Склянского на неделю хотя бы, пока дочка выздоровеет, тот стал суров и озабочен и много говорил о том, что революция — это жертвенность и стоицизм.

А Зоенька умерла — зашлась кашлем, сухонькая стала, синенькая. Первенец, агукать начала, в глазоньках смысл появился — и нет ее.

На следующий день Блюхер приехал в ставку к семи утра. Первым, кого он принял, был замначоперод — из бывших офицеров: сухой стареющий человек с длинной шеей, заросшей седым пухом.

— Введите меня в обстановку,— сказал Блюхер,— вы — грамотный военный, обсудим все без трескотни и фраз.

— Вот мой рапорт,— сказал замначоперод и протянул Блюхеру листок бумаги.

— Рапорт — после. Сначала давайте-ка займемся делом.

— Гражданин министр, я прошу вас ознакомиться с моим рапортом.

Блюхер взял лист бумаги. Там было всего две строчки: «Министру Блюхеру. Прошу уволить меня из рядов армии ДВР. Евзерихин, заместитель начальника оперативного отдела штаба НРА».

— Не знал, что в штабе работает трус.

— У меня солдатские Георгии и золотое оружие от Фрунзе.

— Объяснитесь в таком случае.

— Я не хочу быть лжецом, гражданин министр.

— Вы лозунгами-то не говорите. Вы по-человечески говорите.

— Я не хочу быть лжецом. Мне совестно получать паек. Армии нет. Грамотных офицеров нет. Партизанские отряды заражены анархизмом, приказов не слушают! Мы держимся чудом, поймите! Если белые ударят — мы покатимся до Москвы! Когда я пытаюсь пригласить в штаб грамотных военных, меня упрекают, что я протаскиваю белого гада-интеллигента! Я не могу так больше! Не могу!

Замначоперод стал весь красный, а длинная шея его посинела, и от этого белый пушок стал особенно беззащитным и нежным. Блюхер испытал острый приступ жалости к этому незнакомому человеку.

— Сядьте,— сказал он,— я понимаю вас. Простите за «труса». Вы займетесь переговорами с кадровыми офицерами. Я — партизанами. Где наиболее трудный участок?

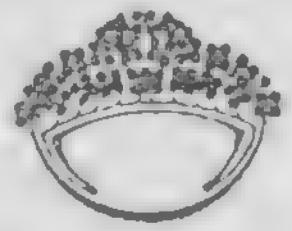
— В Лесном,— тихо ответил замначоперод,— там анархисты сильны.

Блюхер подошел к громадной — во всю стену — оперативной карте.

— Где? — спросил он тихо.— Покажите, пожалуйста.

Замначоперод ткнул длинным узким пальцем в кружок.

— Здесь. Вашего заместителя оттуда на тачке вывезли, под свист. У них там второй день кутерьма.



ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА. СЕЛО ЛЕСНОЕ

Партизанский сход шумит. Выбирают нового командира. Прежнего белобандиты третьего дня в лесу угрохали. Как пошел на заимку к пасечнику поговорить про сено для конского запаса, так и не вернулся вовсе. Только голову нашли. На шест воткнута, язык вывалился — синий, длинный, будто озорует командир, глаза напрочь выколоты, а чуб аккуратно на две половинки расчесан. В подбородок вбит старый гвоздь, а на нем бумага в линеечку, и слова на ней: «Смерть коммунии».

— Пущай командиром Кульков станет! — предлагает молоденький, безбородый паренек, весь в пулеметных лентах, галифе у него красного цвета, с неимоверным кандибобером, маузер болтается чуть ли не у голенища, ремень оттянут пятью лимонками, глаза шалые, озорные, но детские еще совсем глаза.

— Молод еще,— отвечают ему,— зеленый он, не уходился!

— Рано Кулькову в командирах выкобенивать!

— Дерьмо! Еще та титька не выросла, которую ты апосля сосал, когда Кульков подымал людей в атаку!

Шумят люди, ругаются, а как же иначе?! Командир — он и есть командир, его надо со всех сторон обсмотреть, чтобы потом в боевой кампании конфузу не вышло!

Василий Константинович Блюхер молча сидит на раскладном стульчике чуть поодаль. В английском мундире, без орденов, быстро сосет мундштук, перебрасывая его из одного угла рта в другой. Иногда голько по лицам глазами зырк, зырк и снова будто совсем чужой здесь. Только чем дольше слушает, тем больше голову бычит.

На середину схода выскакивает Колька-анархист. Клеши широки, словно Черное море, бескозырка на затылке блинчиком.

— Братва, слушай меня!

Кольку-анархиста любят слушать, потому что говорит он грамотно, с непонятностями и паузами, а это мужику уважительно, будет над чем потом помозговать.

— Кто там как,— возглашает Колька,— а я правду-мамульку в глаза режу! Кулькова год знаю. Много в нем молчания, и голос у него чахоточный. А командир — он кто? Он орел! Он голосом должен играть, как оркестрант роялем! Обратно же что? Обратно же весьма в нем инициатива прижатая. Тихая в нем инициатива, как вошь на трупе. А великое царство всемирной свободы не утвердишь на земле, если тихонько ползти да с оглядкой. С оглядкой надо борова резать, чтобы он хрипом нервы не будоражил, а буржуя следует брать на голос — и ура, инициатива! Посему отвожу персонально Кулькова, сохраняя к нему дань уважения, как к бойцу рядового профиля.

На смену Кольке, который уходит вразвалочку, понятливо и ехидно подмигивая партизанам, поднимается из первого ряда старик Иннокентий Суржиков. Перед тем как начать говорить, он долго переминается с ноги на ногу, тщательно оправляет бороду. Партизаны шутки шутят, посмеиваются, гадают, чего это Суржиков изобретает: он сроду больше трех слов связать не умел! Дрался, правда, хорошо. А как ему иначе драться, когда белые его сынов зарубили?

— Вот чего,— начинает Суржиков скрипучим голосом,— когда нас Семенов в прошлом году гнал и лупил, мы с Кульковым сопками убегали. Он поранетый, и я, обратно, с двумя дырками в груди. Осень. Солнышко днем светит, грязь мягкая становится, вроде перины. Кто себя не переможет, ляжет в грязюку отдохнуть — так ночью мороз вдарит, и пропал человек, вмерз в грязь, зенки полопалися. Нес меня Кульков на себе, волоком волочил, в грязь лечь не давал, а я стоном у него просился.

— Ладно, чего там,— досадливо говорит Кульков, по всему видно чахоточный, из рабочих: руки у него тонкие, в груди впалый и черные точечки на лице от металлической гари.

— Ты погоди,— машет рукой Суржиков,— не тебе говорю, а обществу. Шли мы через сопки и такая у меня стала наблюдаться тоска, что я в себя дых мог сделать, а из себя уж сил не хватало. Помираю, и весь разговор. А Кульков сам дохнет, а меня тащит, кровью харкает и все говорит: «Потерпи, вона хутор рядом, собаки лают». А я ничего не слышал, кроме звона в собственных ушах, да и не было там никакого хутора, это успокаивал он меня просто-напросто. Так что молодой он, старый — это другой разговор, а жизнь он мне тогда

спас. Иной старый пес только лаять и может, а зубов, чтоб укусить, нет, скрошилися напрочь.

Шумят партизаны, переговариваются, хорошо сказал Суржиков, ай да Суржиков, молчком, молчком, а тут речугу двинул — вон Колька-анархист аж позеленел со злобы, козьей ножкой пальцы жжет, но нет ему чувства боли, потому что обидно, а обида любую боль перехлестывает.

Поднимается Блюхер. Шум голосов постепенно стихает.

— Народармейцы,— говорит он гулким, низким голосом,— граждане народармейцы...

Колька-анархист поднимается и кричит:

— Ошибка вышла! Мы партизаны, а не народармейцы!

— Партизанам Дальнего Востока за их подвиг здесь еще потомки золотые памятники воздвигнут. Но тем не менее с сего часа вы становитесь регулярной боевой единицей Народно-революционной армии. И командиром к вам властью, данной мне, я назначаю гражданина Кулькова.

— Мы назначенных не принимаем! — кричат Колькины дружки.— Мы сами себе хозяева! Кто такой умник выискался, чтоб нас в армию из партизан?!

— Я! — грохочет Блюхер.— Этот приказ издал я, военный министр Блюхер.

Воцаряется тишина. Блюхер смотрит на партизан прищуренным глазом. Сейчас все решается: заорет кто-нибудь, начнет с маузера палить и рубаху на груди рвать,— глаз нужен, ох как нужен! Нет, пока все спокойно. Ждут. Важно, как убедить теперь, каким словом.

— Кто пришел играться в войну,— продолжает Блюхер,— тот пусть уходит. Кому по душе махать шашкой и бомбой громыхать, тот адресом ошибся. Мы воюем для того, чтобы эта война была последней. Вот так. А для этого мы должны быть силой — организованной и мощной. Я вчера получил шифровку из Владивостока: меркуловцы вооружают армию до зубов, ждут подкрепления от Врангеля из Европы, разрабатывают стратегический план организованного наступления на нашу Дальневосточную республику. Момент ими выбран удачно, что и говорить: в братской России голод, и мировая буржуазия считает, что именно сейчас можно отхватить Дальний Восток, пока, как им кажется, Москве не до нас. Умно. И чтобы этому умному плану противостоять, нам до́лжно в ближайшее же время стать мощной организованной силой, армией, а не табором. У кого есть противное мнение, прошу высказаться...

Остановился Блюхер в доме у попа. Батюшка Никодим слывет красным, Ленину поет с амвона долголетие, белых проклинает бранными словами, а иногда бывает так, что и матюжком пустит, если увлечется.

— Может, гражданин министр,— предлагает он,— откушаете топленого молочка?

— Благодарю, я уж из котла перекусил.

— Жидок котел-то...

— Да уж не густ.

— Вот я как раз к тому и про молочко. Не брезгуете ли?

— Право слово, сыт.

— Не отвергай руку дающего.

— Да не оскудеет она,— улыбается Блюхер.

— О-о, Библию изволите цитировать?

— Читал.

— Только, пожалуйста, при мне не браните.

— Зачем же бранить? Библия интересная книга.

— Вы по партейности кто? Не кадет ли?

— Коммунист.

— А как же такую для вас грешность допускаете, как про Библию, и не ругательно.

Бежит батюшка на половину к матушке. Лицо у него светится, пальцы играют, шепчет он ей на ухо:

— Маня, нацеди самогоночки! Такая, право, радость!

— А чего, Димочка?

— Чего, чего,— суетится отец Никодим,— ты не чегокай, а влаги поднацеди скорей, радость во мне птицей порхает и на сердце легко, как от пения.

В комнату Блюхера заходит Колька-анархист. Стоит на пороге раскорякой, соблюдает флотский форс, хотя до моря еще идти и идти.

— Гражданин министр,— говорит Колька с дурной улыбочкой,— наш разведвзвод порешил подарить вам жеребчика, отбитого у белых. Крутой жеребчик, просто министерский. Вам его, может, кто объездит, будете потом довольны, а сейчас только взгляните.

Блюхер поднимается, идет вместе с Колькой на площадь. Там стоит красавец жеребец. Норовистый, копытом бьет, глаза кровавые, пена с морды к земле тянется. Партизаны его впятером держат и то еле-еле. Блюхер берет поводья, заглядывает жеребцу в морду, тот храпит и скалит зубы.

— Неужто сами решитесь объехать? — спрашивает Колька-анархист, незаметно подмигивая партизанам — мол, черта с два! Министр, он на что способен? Он только речи способен двигать про дисциплину.

— Пускай,— негромко просит Блюхер и закидывает ногу в стремя.

Пускают партизаны жеребца. Эх, чуть раньше времени пустили! Понес! Стремя подвернулось, нога соскользнула, вторую ногу не успел забросить Василий Константинович, только за гриву уцепился — висит вдоль жеребца, а тот носится по площади кругами, и нет сил его остановить, и нет никакой возможности себя самого в седло взбросить.

А земля рядом — серая, красная, желтая, белая.

Кровь в висках стучит.

Отпустишь пальцы с гривы — сомнет об землю, расплющит, раскровенит, костей не соберешь. Ах, глупо-то как все вышло! Нет! Врешь, сволочь! А ну помаленьку ногу вверх. Еще. Еще малость! Самую малость бы еще! Нет. Мысок подвернут, стремя зажато, жеребец несется, что твой цирк.

И тишина вокруг.

Не слышно Блюхеру, как партизаны кричат, винтари вскидывают, а стрелять боятся. Зацепишь ненароком человека или поваленный конь насмерть задавит.

Голова кружится каруселью, а земля теперь черная, и нет на ней зелени.

Из последних сил отчаянно рвет Блюхер повод. На мгновение жеребец останавливается. А больше и не надо! Василий Константинович рывком взбрасывает свое тело в седло. Вокруг сейчас все как бы электрическое: жутко-синее, несется кругами, и в висках стук.

Блюхер натягивает повод еще круче. Дает шенкеля, жеребец — в свечу, ноги передние взбросил, замер так, а потом копытами об землю грох! А Блюхер в седле, влитой, и ну еще раз шенкеля. И снова жеребец в свечу и снова об землю грох! Так раз десять его Блюхер забирал.

И стих жеребец. Идет послушно. В мыле весь.

Блюхер спрыгивает с коня. Бросает повод Кольке-анархисту.

— Хорош конь,— только и говорит Василий Константинович.

Идет к дому не торопясь, шаги вколачивает в землю, как гвозди.

Кто-то из партизан смотрит на ошалевшего Кольку, присвистывает и уважительно тянет:

— Да-а-а... Министр — чего там...

А поодаль, в сторонке, стоит маленький незаметный человечек в измятой гимнастерке. Он докуривает цигарку, бросает ее под ноги,

долго вкручивает каблуком в зелень, а потом манит к себе Кольку-анархиста. Тот подходит.

— Ничего,— говорит человек.— Как говорится, лиха беда начало. Не отчаивайся, милый. Народ за собой поведешь, Коль. Реванш твой будет.

По дороге несется старенький форд министра Блюхера. Желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой тугим облаком, пронизанным тугими балками солнечных лучей.

Блюхер побелевший, осунувшийся, дышит тяжело, голова то и дело падает на грудь. Шофер поглядывает на него с опаской, жмет на педаль акселератора. Солнце выстреливает острыми синими бликами, ударяясь в ветровое стекло. Над ковыльной безбрежной степью висят жаворонки. Березовые перелески на склонах покатых сопок тоже пронизаны солнцем, и все вокруг полно спокойствия и мира.

— Стой,— шепчет Блюхер.

Шофер тормозит. Блюхер просит:

— В портфеле бинт...

И вылезает из машины, чуть не вываливается. Он стоит на дороге в пыли и раскачивается, будто пьян. Шофер расстегивает на Блюхере френч и осторожно стаскивает сначала правый рукав, после левый. Грудь Блюхера перевязана крест-накрест бинтами. Они все насквозь искровавлены: черная, запекшаяся уже кровь чередуется с яркими пятнами. Во время империалистической Блюхер был четыре раза ранен, из них два — смертельно, в морге среди мертвяков валялся, волосами ко льду прирос. С тех пор он всегда под френчем туго перебинтован, вроде как в корсете. Единственный в мире военный министр, уволенный в шестнадцатом году с Георгиями из рядов действующей армии по причине полной инвалидности.

Шофер достает из портфеля бинты и начинает перебинтовывать Василия Константиновича поверх окровавленных бинтов. Блюхер говорит:

— Туже.

Шофер стягивает его грудь что есть силы, опасливо поглядывая в серое лицо Блюхера — глаза по-прежнему закрыты, на лбу холодная испарина.

— Еще туже.

И чем туже шофер перебинтовывает Блюхера, тем тверже он стоит на ногах, постепенно выпрямляется, расправляет плечи, откидывает голову назад, выдыхает воздух и говорит:

— Теперь хорошо.

Френч он надевает сам, застегивается на все пуговицы, трет бритую голову сильными своими пальцами, садится рядом с шофером и просит:

— Теперь жмем.

Он сидит возле шофера прямо, недвижимо, словно парад принимает, только желваками играет, когда машину трясет на ухабах.

— Василий Константинович,— говорит шофер,— а вот людишки болтают, что врачи научились железные ребра вставлять...

— Это ты обо мне беспокоишься?

— Болезненно на вас смотреть, когда бинтуешь...

— А ты жмурься,— улыбается Блюхер,— и не болтай про это никому.

— Так раны-то у вас боевые, героичные раны...

— Героично — это когда силен и без ран. Все остальное — жалко.

Несется форд, желто-белая пыль клубится следом, висит над дорогой тугим облаком, насквозь пронизанным тугими балками солнечных лучей.

РАЗВЕДУПРАВЛЕНИЕ

Блюхер сидит возле шифровальщика. Тот читает ему:

— *Именно сейчас, после того, как атаман Семенов сбежал с теплохода и начал подготовку к борьбе за власть против Меркуловых, японское правительство может пойти на переговоры с ДВР, хотя бы для того, чтобы угихомирить склоку среди своих белых союзников. Пропагандистски переговоры нам выгодны. Поэтому зондаж в японских кругах я проводил именно в таком аспекте. Генерал Оой ясно дал понять, что, если ДВР проявит инициативу, японправительство отнесется к ней с полным пониманием, в то же время на словах лишний раз провозгласит свою преданность союзническому долгу и Меркуловым. 974.*

— Ясно,— говорит Блюхер,— откуда шифровка?

— Из Владивостока через Постышева и Серышева.

— Сделайте, пожалуйста, три копии: в Сиббюро ЦК, в Дальбюро и для передачи в Москву Дзержинскому.

— Хорошо, Василий Константинович.

Сегодня консул Нушима устраивает прием. Приглашены руководители ДВР, дипломатический корпус, пресса. Собрались почти все, только вот заместитель премьера Федор Николаевич Петров никак не едет. Товарищ министра иностранных дел Кожевников находит удобный момент и объясняет консулу причину задержки господина Петрова важными делами в правительстве. Не будешь же объяснять, что Федор Николаевич с трех часов в больнице, куда сегодня, с заседания Совета Министров, увезли заместителя министра почты и телеграфа. От хронического недоедания у заместителя министра открылось кровохарканье. Надо было срочно решать вопрос, куда его отправить на отдых, а главное — чтоб ему была человеческая еда три раза в день. Совет Министров выделил девяносто пять рублей на месячный курс лечения, но крестьянин в деревне Михайловке, согласившийся было взять члена правительства на поправку, когда узнал, что дают всего девяносто пять рублей, долго торговался, требуя, чтоб на заместителя министра накинули еще десятку: как-никак ответственное лицо.

Журчит речь на «файв о клоке» — английская, японская, французская, китайская. Нушима от Блюхера не отходит ни на минуту, сыплет чистейшей русской речью, улыбается так ослепительно, будто Василий Константинович красна девица, и все время ходит вокруг темы мира и дружбы.

Блюхер каменный. Только брови у него на лице подвижны: то одну поднимет, то другую — ничего в нем понять невозможно. А в его лицо так и впился глазами американский журналист Губерман. Ему, майору американской разведки, важно узнать, как реагирует красный генерал на мирные речи японцев. А то, что речи будут мирными, Губерман выяснил через свою агентуру, обслуживающую японское представительство в Хабаровске.

Нушима стоит вполоборота к залу, так, чтобы никто не мог следить за его губами: натренированный человек все поймет, даже если будет стоять на улице, недаром артикуляция рта специально изучается разведчиками.

— Наша концепция общеизвестна,— продолжает Нушима.— Это концепция разумного мира. В том случае, если ваше просвещенное правительство, измученное войной, трезво поняв всю меру усталости, которую испытывает ваш великий народ, захочет найти пути достойных переговоров с партнерами по неразрешенным спорам, я убежден, что все стронется с мертвой точки.

Василий Константинович молчит, слушает, но, когда мимо идет вице-консул Франции мосье Анатоль Рывчук, именно в тот самый миг, когда все слышно французу, вдруг отвечает Нушима:

— Ваши предложения мира свидетельствуют о доброй воле японского правительства, к трудностям и большим задачам которого мы относимся с полным пониманием.

Нушима засуетился. Он улыбается и мосье Рывчуку, и Блюхеру. Ай-яй, как нехорошо получилось! Жоффр в Токио, в Париже продолжаются секретные переговоры о методах ведения борьбы против большевизма именно на Дальнем Востоке, а тут с министром Блюхером начинается откровенный роман. Это, конечно, красный специально подпустил, когда проходил Рывчук. Он знает, что делать. Ох, как он хитро выбрал момент! Прямо в самую десятку засадил!

— Господин министр,— говорит Рывчук,— позвольте мне потревожить вас просьбой.

— Пожалуйста.

— Моя дача находится в Березовке. А там ваше ведомство месяц тому назад открыло полигон. Эта стрельба и взрывы, поверьте, большей неприятности трудно себе представить.

— Большие неприятности не бывают продолжительными,— улыбается Василий Константинович,— а малые не заслуживают того, чтобы обращать на них внимание.

Мосье Анатоль Рывчук отдает дань уважения столь блистательному ответу — он смеется уголками рта и отходит ровно через такой промежуток времени, чтобы никто не имел возможности посчитать его обиженным.

Маленькие лакеи в касторовых фраках обносят гостей вином. Нушима поднимает свой бокал:

— Господин министр, мне хочется выпить за ваш разум воина, который ценит мир.

— Прекрасный тост. Благодарю вас.

— Прекрасный тост пьют,— улыбается Нушима.

— У нас в армии запрещено употребление спиртных напитков,— отвечает Блюхер.— Я пью вместе с вами символически.

— Неужели министр так бессилен, что не может отменить приказ хотя бы на один вечер?

— Чтобы министр был воистину сильным, он не должен отменять своих приказов даже на один вечер.

Блюхер ставит нетронутую рюмку на краешек маленького столика черного дерева, откланивается и выходит. Следом за ним уходят и другие руководители правительства республики. Остаются

местные предприниматели, приглашенные артисты, младший состав дипкорпуса. Все бросаются к столам, быстро едят и помногу пьют, лакеи бегают с мертвыми улыбочками, замершими на лицах; уже кто-то затягивает песню, а два актера слезливо выясняют отношения возле стеклянной двери, ведущей в зимний сад.

Господин Нушима и мосье Рывчук гуляют по застекленному саду. Разговор дипломатов точен и скуп.

— Нет, мосье Рывчук,— говорит на великолепном французском консул Нушима,— поверьте, речь шла о понятиях абстрактных, не имеющих отношения к практике наших взаимоотношений. И потом, позвольте быть до конца искренним. Ленин не принимает вашего главного требования — оплатить долги прежнего правительства? Нет. Но переговоры вы ведете, и наше правительство понимает, отчего вы их ведете и чем они могут кончиться. Разве повторение вашего опыта — я беру самый крайний случай, об этом у нас никто не хочет и думать,— разве согласие на переговоры с красными, но при выдвижении ряда требований не идет на пользу нашему общему делу?

— Я отвечаю вам искренностью на искренность, мой дорогой Нушима. Наш опыт переговоров с красными показывает или, во всяком случае, должен показать всем, кто хочет видеть, абсолютную бесполезность каких-либо контактов с ними. Стоит ли вам убеждать себя в этом, повторяя наш горький путь?

ВЕЧЕРНЯЯ ЧИТА

Блюхер идет по пустынным переулкам. Длинно воют собаки. Ставни на всех окнах закрыты. Пробивающиеся лучики света лежат на земле причудливыми рисунками. Молодой месяц в черном небе похож на клоуна.

Возле угла Аргунской Блюхера хватает за рукав нищенка:

— Подай, Христа ради, сынок!

Блюхер выворачивает карманы и протягивает старухе все, что там было,— несколько монет.

— Спасибо тебе, господь тебя не забудет. Горе по тебе сохнет, ищет тебя, да я отмолю.

Старуха хочет поцеловать руку Блюхеру, неловко наклоняется и падает.

— Ох, господи,—стонет старуха,— ноги-то не держат, старые они.

— Ну-ка,— говорит Василий Константинович,— давай, бабуся, опирайся на руку.

Он помогает нищенке подняться, чистит на ней жакетик.

— Да не надо, сынок,— шепчет старуха,— кто ж лохмотья чистит? Они грязные должны быть. Ой,— морщится старуха,— нога у меня вспухла.

— Где живешь, старая?

— Под небом.

— Так холодное ж оно.

— Оно и холодное — все равно пылает. Пожгли страну, пожгли...

— Кто?

— Красные, белые, зеленые... Люди пожгли. Вон кошечка у меня к забору привязана, видишь?

— Нет.

— А ты приглядись, она серенькая. Слабость у нее. Лежит и мурлычет. Хлебушком ее твоим накормлю, с пятачков-то, она и порадуется. Твари нежней людей, они добро помнют.

— Сама откуда?

— С Поволжья.

— Одна осталась?

— Одна, сынок. С кошечкой.

— А зима?

— Я помру к зиме,— деловито отвечает нищенка.— Как холода подойдут, я сразу и престану, а то как вспомню, что еще зиму надо переходить, тоска у меня случается.

— Куда бы мне пристроить тебя?

— А некуда. Слабая я. Нынче сильных стреляют, а слабым и вовсе места нету. И не надо, сынок, ты не говори так, а то у меня вера шевелиться начнет, мне потом одной трудно станет, когда котеночек замяучит...

— Так здесь и спишь?

— Тут забор трухлявый, от него теплом ночью отдает. Ты иди, сынок, иди, спасибо тебе, господь тебе поможет, ты иди, а то люди проснутся, меня прогонят. Иди... Господь с тобой.

— Граждане министры,— говорит председательствующий,— я понимаю, что вопрос о переговорах с Японией серьезен, однако всем надлежит соблюдать номинальную сдержанность в дискуссии. Прошу. Кто следующий?

Сизый табачный дым висит в зале. Министры, товарищи министров, управляющие центральными ведомствами — все сейчас здесь. Заседание продолжается уже пятый час. Дважды вопрос о переговорах с Японией ставился на голосование, и дважды голоса разделялись.

— Мы предлагаем выслушать мнение нашего коллеги гражданина Блюхера,— делает заявление народный социалист Шрейбер.— По-видимому, именно его мнение должно в конце концов определить позицию колеблющихся.

— Я снова подожду,— отвечает Блюхер.— Мне сейчас важней вас послушать.

— Позвольте? — говорит товарищ министра Проскуряков. Не дожидаясь тишины, он начинает: — Я считаю, что абсолютно правы те, которые в самой категорической форме выступают против переговоров с Токио. Вести революционную пропаганду, с одной стороны, и садиться за стол переговоров с тем, против кого пропагандируешь, с другой стороны, есть не что иное, как проституирование и беспринципность. Это я беру вопрос в общем, так сказать, государственном срезе.

— В партийном,— ядовито подмечает кто-то из меньшевиков,— это окажется более точным!

— Я не собираюсь сводить счеты ни с кем в момент, который по своей сложности и позорности близок к временам Бреста. Ребенок, который видит, как его отец, только что получивший плевок в лицо, вместо пощечины оскорбителю начинает снимать пылинки с его плечиков, навсегда, отныне и присно потеряет любовь к такому отцу и веру в него.

— Даже Достоевский такую тему не решал,— замечает Блюхер.

— Политика — не арена для литературных упражнений дилетантствующих критиков! Если мы стали чиновниками, так надо прямо и сказать тем, кого мы имеем смелость вести за собой. Если нам важна идея, тогда мы можем поступиться министерскими портфелями и личными автомобилями во имя свободы на всем земном шаре.

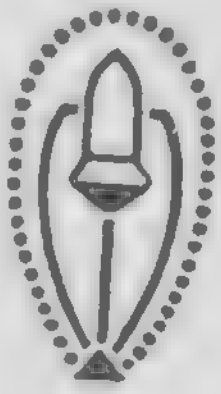
— Или вы демагог,— негромко говорит Блюхер,— или, в лучшем случае, дурак.

Председательствующий пытается навести порядок. Проскуряков раздувает ноздри и молча стучит кулаком по зеленому сукну стола, не в силах вымолвить ни слова. Чуть улыбаясь, поднимается министр Шрейбер. Он в полемике силен, не то что Проскуряков.

— Великолепнейший образчик новоявленного барства,— говорит он,— дубина, которая в равной степени оглушающе сшибает с ног и правого и неправого, а самое главное — ищущего! Ищущий, да убоись дубины гражданина Блюхера! Не смей высказать свое суждение о тех, кто надругался над твоей родиной-матерью! Не моги думать! Повторяй догмы — это прекрасное свидетельство истинного патриотизма. Свобода гласности настала, во всем прогресс, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем! Я всегда был противником Проскурякова! Сегодня, после его страстного выступления, я стал его человеческим союзником, я понял его. Повторяю: мне противна идея переговоров с желтыми сволочами, которые принесли нашей родине столько горя и слез.

Блюхер начинает демонстративно громко аплодировать.

— Браво,— говорит он.— Браво, Проскуряков! Гражданин Шрейбер понял всю трепетность твоих порывов!



ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ЧИТА-II

Лязгая стальными лепешками буферов, останавливается состав. Он нескончаемо длинный, составлен из маленьких теплушек. Вдоль всего состава стоят люди. Это рабочие и их жены. А состав пришел из голодающего Поволжья. Открываются двери теплушек. Оттуда смотрят громадные детские глаза. Серые, маленькие дети, с непомерно большими головами, без плеч, с длинными и тонкими ручонками, стоят в провалах открытых дверей и поддерживают друг друга, чтобы не упасть.

Чей-то бабий протяжный крик мгновенно, как пулеметом, прошивает тишину.

И тихо-тихо вдруг становится. Только слышно, как надрывается воронье в стеклянном рассветном небе. Молча стоят читинские ра-

бочие возле теплушек, принимают на руки детей, прижимают их к себе — длинных и легоньких, чумазых, босоногих оборвышей.

По теплушке идет жена Блюхера. Руки у нее ледяные, прижаты к груди, подбородок дрожит. Она вглядывается в пепельные лица детей. Идет она медленно, ступает осторожно, слышит голос мужа: «Ты возьми самую несчастную, немытую, больную, которую могут другие не взять. Ты ту возьми. Зоенькой назовем».

В углу, прижавшись к шершавым доскам, стоит маленькая девочка; лицо ее в струпьях, ручонки черны от грязи, ногти обкусаны. Девочка смотрит затравленно, как звереныш.

Жена Блюхера подходит к ней, берет ее на руки, гладит по лицу, прижимает к себе и что-то шепчет девочке на ухо. Сначала та отстраняется, лицо ее делается совсем крохотным, как моченое яблоко, а после она обхватывает женщину своими тоненькими ручонками и страшно, по-бабьи, кричит:

— Мама! Мамынька моя! Мамынька!

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ДВР

— По-видимому,— говорит Блюхер,— самая страшная форма демагогии — это «искренняя» демагогия.

— Не говорите терминами заклинателя змей! — кричит Шрейбер.— Извольте называть вещи своими именами!

— Именно это я собираюсь делать. По-видимому, не все из выступавших отдают себе отчет в том, что альтернатива переговорам только одна: война. Я не говорю о том, что война в нынешних условиях была бы крайне тяжелой для нас. Я приведу несколько примеров о положении в армии, чтобы здесь было чуть меньше ура-патриотического трезвона. Патриотизм всепобеждающ, лишь когда он вооружен. А у нас, во всех наших забайкальских дивизиях, имеется всего двадцать семь лошадей! Вам понятно, что это такое? Крестьянин доведен до полного нищенства, лошадей нет, орудия, таким образом, беспомощны! А саблей сейчас не много навоюешь, пушка нужна! Это раз. Восемьдесят процентов бойцов нашей армии подлежат демобилизации по возрасту! Два. Курсы комсостава не сделали в Чите ни

одного выпуска, у нас нет педагогов-командиров, вы понимаете это? Кадровых офицеров, которые преданы родине и не продадут нас интервентам, я не могу пригласить в ряды армии, потому что в Госбанке для нужд армии нет денег. Три. В кавалерии нет шашек! В пехотных ротах половина винтовок русских, тридцать процентов японских, десять процентов американских, а об остальном я уже не говорю. И вы хотите заставить меня повести армию на фронт? Это же будет продуманное, бессердечное убийство тысяч и тысяч людей, понимаете вы это или нет? До тех пор пока я не получу денег, до тех пор пока я не организую то, что мне надлежит организовать в частях, я пойду на любые, самые унизительные переговоры. Вы трещите фразами о любви к родине, а расплачиваться за эти фразы будут рабочие и мужики в шинелях. Отказываться сейчас от переговоров — это не просто безумие. Либо это преступление, либо глупость.

Блюхер говорит, а в открытые окна несется протяжный рев паровозных гудков: вокзал встречает голодных детей Поволжья.

ВЛАДИВОСТОК. ПРИМОРСКИЙ ПАРК

Исаев и Сашенька медленно идут по пустынной аллее. Где-то за буйным соцветием кустарника веселые голоса, визг, смех и плеск воды: там, внизу, пляж на берегу залива.

— Когда я слышу эту радость,— говорит Исаев,— мне сразу вспоминается петроградский приятель Генрих Ганин, эстрадный чтец. У него была новелла. Она называлась **«ЛОСЬ В ЧЕРТЕ ГОРОДА».** Предвоенный Петроград, на первых страницах газет — сообщения о стачках на заводах, решение правительства о призыве в армию, сообщения о росте цен на продукты, но люди все, как один, читают четвертую полосу — там маленькая заметка: **«ВЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ ИЗ ЛЕСКА ВЫШЕЛ ЛОСЬ. НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ЖИТЕЛЕЙ, ЛОСЬ СПОКОЙНО ПЕРЕШЕЛ ДОРОГУ И УГЛУБИЛСЯ В ЧАЩУ».** Проходит месяц, на первых полосах газет появляются сообщения — **«ТЫСЯЧИ УБИТЫХ В ПОГРАНИЧНЫХ РАЙОНАХ. НАДВИГАЕТСЯ ВСЕОБЩАЯ ВОЙНА».** Но люди все-таки читают четвертую полосу, а не первую, потому

что там заметка: **«ЛОСЬ В ЧЕРТЕ ГОРОДА. ВЧЕРА ЛОСЬ ШЕЛ ПО НЕВСКОМУ. ОН РАЗБИЛ РОГАМИ ДВЕ ВИТРИНЫ И ЛЕГ СПАТЬ НА ЛИТЕЙНОМ».** И Ганин тогда говорил мне: «Если на четвертой полосе газеты появится очередное сообщение — **«ЛОСЬ В ЧЕРТЕ ГОРОДА»**, где будет сказано о том, что десять лосей танцуют на Аничковом мосту»,— это будет означать конец мира, но люди будут читать именно эту заметку — **«ЛОСЬ В ЧЕРТЕ ГОРОДА»...**

Сашенька улыбается.

— Максим Максимыч, вы необыкновенно странный человек. Словно девица.

— Это как?

— Очень просто. У вас настроения меняются.

— Да?

— Конечно. То смеялись все утро, а теперь грустите.

— Это я грущу оттого, что вы меня обижаете.

— Я просто боялась пугать Гаврилина. Сегодня я готова идти к чумным.

— Папа уже уехал?

— Ночью.

— Почему вы зовете его по фамилии?

— А ну их всех...

— Кого именно?

— Всех. Стариков. Болтают, болтают. Скучно слушать.

— У вас родинка на щеке смешная.

— Это не родинка.

— А что?

— Бородавка.

— Вы нигилистка?

— Конечно... Пойдем к чумным?

— Не надо.

— Боитесь?

— Еще как!

— Одна пойду.

— Водку пить сможете?

— После?

— И после, но главное — перед.

— А у вас виски седые.

— Это я подкрашиваю. Чтобы казаться элегантным, как английский капитан.

— Вот и неправда. Я знаю, как подкрашиваются.

— Разве так не похоже?

Сашенька останавливается и внимательно разглядывает виски Исаева.

— Обманщик вы.

— Обманщик.

— Максим Максимыч?..

— Ау?

— Вы зачем живете в Гнилом Углу?

— Мне там нравится.

— Зачем же вы ко мне звоните, если у вас, говорят, есть японка — красивая гейша. И глаза у нее как вишни.

— Кто это говорит?

— Секрет.

— Приходите в гости, я вам ее покажу.

Сашенька вспыхивает, отворачивается в сторону.

— Показывают вещи, Максим Максимыч.

— Тоже верно. Где будем обедать?

— Я — дома.

— Вы же обещали пробыть весь день со мной.

— Вам этого очень хочется?

— Не то чтобы очень, но во всяком случае...

— Лучше вы уходите, Максим Максимыч, а то я вам тоже стану дерзости говорить, а вы старый...

— Отомстила! — улыбается Исаев и весело, с издевочкой смотрит на Сашеньку. Глаза у него все в сеточке мелких морщинок. Такие морщинки у глубоких стариков бывают, а Исаев-то молодой.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов вызвал к себе полковника Суходольского и Пимезова, походил по кабинету, потом долго стоял у окна — в задумчивости и грусти. Вздохнув, сказал своим помощникам:

— По моим приблизительным подсчетам, в городе осталось еще человек девятьсот из активного большевистского подполья. Это имен-

но та масса, которая хоть и не занимает постов в партийной олигархической системе, но тем не менее определяет успех или провал революций и баррикад. Мы не можем чувствовать себя победителями до тех пор, пока эти люди не выявлены и не ликвидированы. Для этого мы осуществим первый этап акции «Золотая рыбка». Прошу вас подготовить мне проектик скорбной заметки.

План Гиацинтова был точен. В газете должно было появиться объявление о выдаче тела большевистского лидера Васильева, скоропостижно скончавшегося в тюрьме «от сердечного приступа». Во-первых, оставшиеся на свободе подпольщики не поверят в «сердечный» приступ. Всем им известно, как допрашивают у Гиацинтова. Во-вторых, люди полковника сегодня же умело распространят версию о том, как зверски пытали Васильева, причем версия эта будет распространена через секретных сотрудников контрразведки именно в рабочих районах. А поскольку руководство, основное ядро ревкома, арестовано, среди оставшихся на свободе рядовых членов партии возобладают эмоции, а не рассудок, и они, бесспорно, организуют торжественные похороны своему товарищу. Этого и ждал Гиацинтов. Как только похоронная процессия тронется по городу к Эгершельдскому кладбищу, там, вокруг церковной ограды, уже будут стянуты войска «для обеспечения порядка». А чтобы порядок нарушить, два агента выстрелят в солдатские спины: самая обычная провокация. Солдаты ответят. Толпа — на прорыв, это уж понятное дело. Вот и начнется настоящая пальба. Человек триста положат на могилки, а остальные притихнут. Вот только тогда можно будет считать тыл хоть в какой-то степени обеспеченным на ближайшие месяцы: наступление на красных не за горами.

В редакцию ванюшинской газеты пришел маленький, пыльный, неприметный человек. Он передал в отдел объявлений **«СКОРБНЫЙ ЛИСТОК», ИЗВЕЩАЮЩИЙ ВСЕХ РОДНЫХ, БЛИЗКИХ И ДРУЗЕЙ «КОММУНИСТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА»** Васильева о его кончине, наступившей во время прогулки в здании контрразведки, на Полтавской, 3.

— Вы, пожалуйста, на первую страничку поместите,— просит человек, выдающий себя за дальнего родственника жены умершего,— чтобы все прочитали про наше горе.

Под стопку бумаги осторожно кладется пять долларов. Заведующий отделом величественным жестом прячет деньги в жилетный карманчик.

— Вы неуч в нашем деле. Если я помещу ваше объявление на первой полосе, значит, я взяточник и недобросовестный человек.

На первой полосе самый залежалый товар рекламируется, самые скучные новости подаются. А вот четвертую полоску, да еще петитом, но под заголовочком:

Не месть, а КАРА

или

ОНА ЕГО НАСТИГЛА НА ДОПРОСЕ

— прочтет весь город.

— Нет, вы про то, что он на допросе того... Вы не надо, это ни к чему...

— Так что ж вы предлагаете?!

— Что вы, что вы! Я ничего. Это вы очень заманчиво-с предложили:

Она его настигла

Только без упоминания, что, мол, на допросе.

— А вы чего боитесь? Пусть жандармы боятся, а вы родственник, вам как раз на этом поиграть. Нам — реклама, вам — соболезнование.

Человек делает быстрые глотательные движения, мучительно соображая, как ему быть.

— И потом,— продолжает заведующий,— что значит «она его настигла»? Если жена настигла мужа с любовницей, так это в наши дни

никого не поразит. А если муж настиг ее с другом, так это даже занятно: что она, стервь, врать будет. Наверняка станет убеждать, что он ее изнасиловал.

— Это точно,— вздыхает человек,— все они суки. Так, значится, какой будет заголовочек?

— Идея!

ЗАГУБИЛИ, СУКИ, ЗАГУБИЛИ!

Ей-ей, весьма интригабельно!

— А кто кого изволил загубить-с? Не получится ли петрушка с морковкой?

— Что вы такой пришибленный? Ну, а какие у вас предложения?

— Значится, так... Я бы попросил вас подождать, мы с родственниками посоветуемся.

— Тогда в завтрашний номер не пойдет.

— Нет, в завтрашний надо обязательно чтоб попало, а то уж он сколько лежит...

— Кто?

— Нет, никто, это так у меня что-то от горя отдельные слова вылетают. Давайте напишем:

ПРОЩАЙ, ДОРОГОЙ

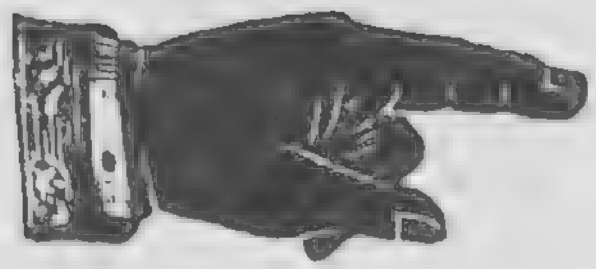
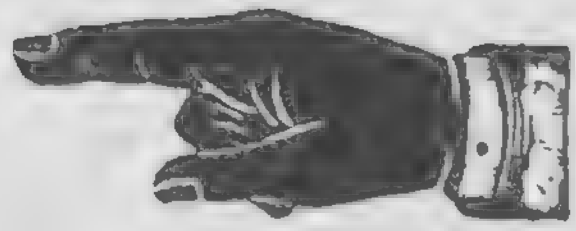
— Ладно,— соглашается заведующий.— Напишем.

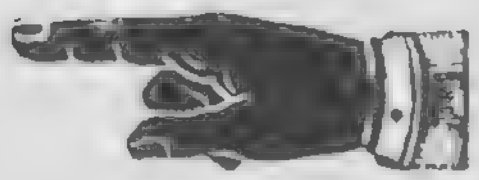
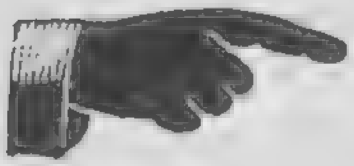
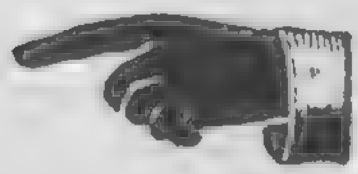
Заврекламой снимает внутренний телефон и начинает диктовать:

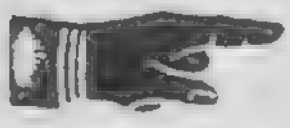
— Василь Василич, пошла шапочка:

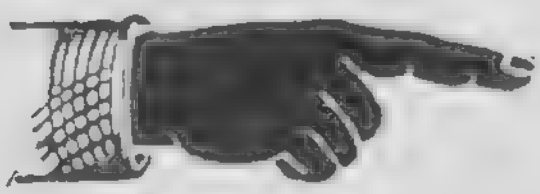
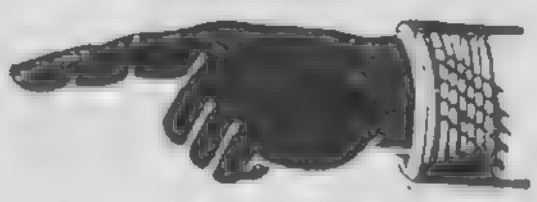
ЗАГУБИЛИ, СУКИ, ЗАГУБИЛИ!

Первая фраза крупно:



от
тюрьмы,
как и от сумы,
никуда не спрячешься,
разве что только
в новый ресторанчик
при магазине
ЮЛИЯ
БРИННЕРА

Это он просил прорекламировать, деньги уже перевел. А дальше валяй про помершего большевика. Обнимаю тебя.

ПРИМОРСКИЙ РЕСТОРАН «РЖАВЫЙ ЯКОРЬ». НОЧЬ

На веранде, уходящей прямо в залив, сидят Исаев и жокей Аполлинарий, которого все зовут Аполлинэр, а близкие друзья — Ляля. Он размазывает пьяные слезы по щекам и часто икает. Потом роняет голову на грудь — резко, как актер при выходе на поклон. Подается вперед и всхрапывает во сне.

Отодвинувшись от уснувшего Аполлинэра, Исаев откидывается на спинку стула, устало протягивает руки вдоль тела и глубоко вдыхает йодистый океанский воздух. Сейчас, в ночи, когда единственный его собеседник спит, вокруг никого нет и не надо ни с кем поддерживать праздный разговор, отчетливо видно, как Исаев устал.

Все прошедшие месяцы Исаев провел в обществе Ванюшина. Тот был в состоянии какого-то суетливого восторга, помногу пил и требовал, чтобы наравне с ним пили все окружающие. Вызывал он и Гиацинтова, и они играли в две гитары старинные романсы. Под утро, пьянея, Ванюшин начинал ругать полковника «жандармом и кровопийцей». Гиацинтов, продолжая молча играть на гитаре, понимающе смотрел на Исаева, и они улыбались друг другу.

Часто Исаев принимал на своей квартире возле Гнилого Угла японских и американских журналистов. Со многими из них он сошелся «на ты»; был вхож в японский штаб и в американскую миссию. Здесь он перепроверял ту информацию, которая поступала к нему от Ванюшина.

Но пока еще у него не было прямого хода к военному ведомству белых, к банковским операциям Меркуловых, к министерству иностранных дел — сообщения о событиях, происходивших там, поступали к нему либо от опьяневшего к утру Ванюшина, либо — как сплетни — от иностранных журналистов. Поэтому чем дальше, тем яснее становилось необходимым найти влиятельного человека в правительстве.

Исаев все это время присматривался к секретарю премьера Фри-

вейскому. В том нагромождении анекдотов, которые он прочитал о секретаре в папке, собранной Постышевым, два пункта оказались правильными: Фривейский отчаянно играл на скачках и потихоньку копил валюту. Как выяснил Исаев (через Чена, связанного с авантюристами, крутившимся вокруг биржи), секретарь Меркулова был в свое время арестован колчаковской администрацией в Верхнеудинске за крупную растрату, но спасся благодаря разгрому колчаковцев красными — и такие парадоксы бывали в ту пору. Он освободился из тюрьмы под видом «политического» и ринулся во Владивосток. Там случайно познакомился с Меркуловым, приглянулся ему, удачно выполнил несколько его поручений и стал доверенным лицом. Но Меркулов сделался премьер-министром, и нежданно-негаданно Алекс Фривейский превратился из уголовника в личного секретаря и заведующего канцелярией премьер-министра белой России.

Чтобы сойтись с Фривейским, Исаев в будний день заглянул на ипподром. Памятуя рассказ своего проводника Тимохи, он познакомился с жокеем Аполлинэром и передал ему просьбу из тайги: помочь погорельцам. К этой просьбе Аполлинэр отнесся хмуро, продолжал хмуриться и вечером первого дня, когда Исаев увез его кутить, но зато на второй день Исаев был уже своим человеком на ипподроме. Он три дня просидел на пустых трибунах, наблюдая, как работал Аполлинэр и его коллеги, прогуливая своих лошадей по зеленому полю; он наблюдал, как жокеи носились по гаревой дорожке верхом, вжимаясь в седла, сделанные на заказ в Каире. Исаев что-то записывал в книжечке, обтянутой черным дерматином, и подолгу жевал карандаш, наблюдая, как Аполлинэр ласково разговаривал со своей невзрачной любимицей Регандой-второй.

Сидит Исаев возле спящего Аполлинэра, смотрит в провальную жуть ночного залива, а на эстраде, построенной на самом берегу, поют цыгане.

Пускай погибну без возврата,
Навек друзья, навек друзья,
Но все ж покамест непрестанно
Пить буду я, пить буду я!

Я пью и с радости и скуки,
Забыв весь мир, забыв весь свет,
Твои я вижу в грезах руки,
А счастья нет, а счастья нет!

— Хочешь погадаю, соколик? — спрашивает цыганка, неслышно подошедшая к Исаеву. Она молода, в ночи видятся только ее глаза. Они черны и кажутся сейчас иссиня-голубыми — такая по зрачку идет поволока. Зубы у нее снежные. Только и видны в ночи глаза и зубы. А всего остального будто и нет.

— Ты как негритянка,— тихо говорит Исаев.— Что смеешься?

— Оттого, что красивый ты. Вон белый какой,— и цыганка проводит темной рукой по его волосам.

— Ты Маша? — спрашивает Исаев.

— Ага.

— Песни где петь выучилась?

— Когда табором идем — скучно, вот и поешь.

— Нос у тебя курносый, Маша...

— Это бабушка с русским поспала.

— Сколько лет тебе?

— Семнадцать.

— Что шепотом говоришь?

— Оттого, что ты меня не хватаешь. Чисто мне, вот и говорю шепотом, будто в любви.

— Ах ты, красивый человек,— улыбается мягко Исаев и гладит девушку по щеке.— Обижают тебя?

— Нет. А может, да. И не поймешь, если обида. Привыкла. Слушай, ты позволь мне в тебя влюбиться? Я тогда ночью плакать буду, а другим лицо стану царапать...

— Зачем тебе это?

— А то пусто. И ребеночка не велят родить, говорят, тогда петь я не смогу, табор денег не получит.

— Хочешь, я тебе погадаю? — тихо спрашивает Исаев и берет руку девушки в свои.— Вот что тебя ждет, Машенька... Ждет тебя дальняя дорога, тройка добрых коней и молодой удалец.

Аполлинэр, проснувшись, открывает глаза и слушает Исаева, не двигаясь.

— Сядете вы в коляску,— тихо, почти шепотом продолжает Исаев,— и понесетесь ото всех подальше — с бубенцами и с ветром.

— Он трефовый?

— Кто?

— Король. Который меня свистнет.

— Нет. Он червонный, красивый, в шелковой рубахе, а сам русый.

— Значит, не цыган? Тогда врешь... Меня только цыган может украсть, чтоб я ему была надолго.

— Это тоже цыган будет. Только он седой.

— Старик?

— Нет. Молодой. Он от любви поседел.

— От любви краснеют.

— Это кто как. Так вот, посадит он тебя в коляску, ноги тебе укутает мехами, гикнет — и понесут вас кони в ночь, к нему в бревенчатый дом, а окно там на зеленое море глядит, и ночи там вовсе не бывает.

— Слушай,— шепчет Маша,— тебе смерть в глаза смотрит, я знаю, я в висках дрожь чую, когда с тобой говорю. Ты берегись. Ты старика берегись усатого, он тебя погубит, мукой смертной изведет...

— Маня! — кричат с освещенной эстрады.— Манюня, и-ых, чавела! Танцуй и пой последние денечечки!

Маша уходит медленно и все на Исаева смотрит.

Скрылась Маша в темноте, а потом, как в волшебстве, появляется из ночи на свет эстрады и поет, да как поет — мороз по коже дерет и такая смертная тоска, что плачь, пей да молись, а там — пропади все пропадом.

— Максим,— трезво говорит Аполлинэр,— ты меня извини, ты как лошадь — добрый. А я сейчас сон видел, будто моя Реганда первой придет. Только глупо все это... Ну, отстроятся они... А все равно их снова пожгут. Сейчас такая жизнь, что коням и мужикам спуска ни от кого не будет...

Несутся по городу мальчишки, размахивают над головой экстренным выпуском газет и вопят во все горло: **«ЯПОНИЯ НАЧИНАЕТ ПЕРЕГОВОРЫ С КРАСНЫМИ В ДАЙРЕНЕ! МЫ ПРЕДАНЫ! ВСЕ — К ОРУЖИЮ! АМЕРИКА МОЛЧИТ!»**

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

Премьер беседует с американским дипломатом Гроверсом уже второй час. Разговор их, при всей его внешней доброжелательности, очень напряжен и ответствен. Шифровка, полученная от американского

журналиста Губермана, аккредитованного при правительстве Читы, о возможности русско-японских переговоров, совершенно недвусмысленно говорила о том, что сейчас настал именно тот момент, когда можно «разлучить» влюбленных, имея в виду Спиридона Меркулова и великого микадо. Именно сейчас представилась возможность вбить клин в японо-белодальневосточный альянс. Это возможность редкостная и очень перспективная.

Именно-то поэтому Гроверс должен убедить Меркулова в целесообразности американской ориентации.

Гроверс «брал» Меркулова логикой и сухостью, отлично зная, что японский генерал Тачибана в разговорах с премьером всегда был мягок и торжествен.

— По-видимому, господин премьер, вопрос вашего престижа на фронте борьбы с иностранной опасностью — я имею в виду конечно же красную опасность в первую голову — может решить не что иное, как уровень вооруженности ваших армий.

Спиридон Дионисьевич ведет себя по-купечески хитро, жует седой ус, повторяет свою присказку — «в этом деле надо тщательно разобраться», улыбку не опускает со рта; старая заповедь: если плохи дела — улыбайся и кажись на вершине счастья. Вот только руки его производят движений несколько больше, чем обычно, это только и выдает волнение.

— Как вам кажется, господин премьер, я прав или не совсем?

— Теоретически — да, миленький мой. Здесь вопрос практики меня смущает. Вы далеко, а кой-кто близко. И потом, если на полную честность, говорливы больно у вас политики. Маяк — он чем ценен? Он ценен тем, что постоянно в одном направлении подмигивает, а вы Колчаку мигали, мигали, а потом спать ушли. А японские союзники — те подобным образом не поступили.

— Мы в данном случае разбираем вопрос перспективы сопротивления полчищам, угрожающим вам с запада, из Хабаровска.

— Миленький, миленький мой Гроверс, молодой вы, хитрите слишком хитро. Вас больше всего сейчас волнует, как бы желтых — плечиком, плечиком да обратно на острова с Дальнего Востока! Разве не так? Оттого и проигрываем во всем, что норовите мелкие интриги решить, а крупной интрижки, московской,— ее вроде бы и нет для вас. Про вооружение наше для чего говорите? Из нелюбви к Ленину? Не только. Из нелюбви к микадо. Чтоб его позлить, а нас с ним рассорить.

Гроверс откидывается в кресле, чувствует в себе остро вспыхнувшую злобу. Молодые — честолюбивы, им кажется, что нет их хитрей

и прозорливей, старики, им кажется, медленно мыслят, а вон, пожалуйте, старик, старичок, а все понял, все на свои места расставил и смеется, усатый дьявол!

— Господин премьер, мы, в Америке, умеем ценить шутку. Вам следовало бы родиться американцем.

— Как бы мне им стать не пришлось,— ухмыляется Меркулов.— Уйду вот в отставку и к вам попрошусь. Ботинки чистить на улицах стану.— И без паузы: — Сколько оружия-то дадите?

— Три тысячи карабинов и патроны к ним,— быстро отвечает Гроверс.

— Патронов у вас тут нет...

— Уже на подходе.

— Сколько?

— На каждый карабин по сотне.

— Думаете, этого нам хватит до Москвы? — невесело вздыхает Спиридон Дионисьевич.— Что с пулеметами?

— Этот вопрос, а также проблема танков и артиллерии сейчас находится в стадии окончательного разрешения в Вашингтоне. По-видимому, решение этого вопроса находится в прямой связи с тем, какова будет ваша позиция.

— Не иначе как совместное заявление имеете в виду? Чтоб мои япошата заурчали, да? Не совсем это логично у вас выходит, вы передайте своим начальникам: как только я сделаю заявление, которое Токио сможет расценить, как смену моих симпатий, так сразу же я получу от них в пять раз больше того, что можете дать вы. У них конгресса нет, у них все тихо решается, без шума, Если их премьер скажет «надо», то и будет так незамедлительно. А вы ратификанты, вы богатые, вам и в демократию можно поиграть. Хорошо. Я обдумаю наш разговор. Заметьте, что мне надо получить двадцать танков, двадцать аэропланов, сорок орудий и не меньше пятидесяти пулеметов — как первоначальный взнос. И еще: мне нужно знать, чего хотите вы.

— Только справедливости и...

— Бросьте,— говорит Меркулов, поднимаясь.— Не надо. Это вы для дам приберегите. Если у вас нет точных директив, запросите Вашингтон. Скорее всего, вас интересует наша береговая зона в районе Камчатки и Сахалина? Словом, запросите все: что, почем, где и зачем... И пожалуйста, сделайте мне дружескую услугу, тщательно разузнайте, какая из ваших фирм, желательно с восточного побережья, захотела бы заключить со мной контракт на поставки чесучи и трепангов с крабами.

Меркулов провожает Гроверса до двери. Возвращается к столу. Улыбка сходит с его лица. Тяжело Спиридону Дионисьевичу. А что делать? Если японцы действительно начинают тур вальса с красной Читой,— надо готовиться к активному противодействию. И потом — в политике, как в торговле: если есть выбор, куда больше шансов купить хороший товар. Если выбора нет, всучат мешковину вместо полотна, и не пикнешь. Что ж, японцы своими намеками на переговоры с красными даже помогли косвенно. Поза в дипломатии и в семейной жизни — основа основ. Кто первый какую позу занял, тот так и будет до конца хозяином. Умение обидеться — наука, а умение прощать — целая отрасль наук. Здесь нельзя ошибиться и продешевить ни на йоту ни в чем: ни во взгляде, ни в жесте, ни в слове и — спаси бог — в преждевременной улыбке. Уголки губ книзу, желваки в стороны, брови нахмурить. Вот так.

— Господин премьер,— мягко говорит Фривейский,— к вам генерал Тачибана.

— Передайте господину генералу, миленький, что я занемог сердечным биеньем и прошу его свой визит перенести, предварительно согласовав его с министром иностранных дел.

Фривейский изучающе смотрит на Спиридона Дионисьевича, потом, чуть улыбнувшись, осторожно склоняет голову.

— Господин премьер, я немедленно вызываю вашего домашнего врача и уже потом отвечаю генералу Тачибане.

— Это жалким будет,— говорит Меркулов.— Будто мы вызюзюкиваем оттого, что их боимся. А мы не боимся. Молоденькая вдовушка кавалеров себе выбирает, потому что не девица она и в любви уже преуспела. Откажите просто — в глаза.

Тачибана уходит из приемной задом, все время кланяясь, а в глазах у него жалость к столь внезапной перемене в самочувствии великого человека.

На пороге генерал останавливается и еще раз повторяет:

— Я прошу вас передать, Фривейски-сан, господину премьер-министру временного приамурского правительства мои выражения самой глубокой скорби и высокого уважения.

Фривейский отмечает для себя, что эпитет «временное» по отношению к правительству Меркулова господин Тачибана применил впервые, столкнувшись носом к носу с Гроверсом, вышедшим от премьера, и получив отказ в аудиенции с вызывающей, отнюдь не протокольной наглостью.

Другой-то, помоложе, ринулся бы к себе в резиденцию — готовить ответный контрудар сокрушающей силы, а Тачибана — он в летах, он со Спиридоном Дионисьевичем почти одногодок. Он понимает, что удар — дело последнее. Уколол «временным» — и достаточно пока, на день им суеты хватит. Тут в другом весь корень: надо срочно запросить Токио и местную агентуру, не обидел ли кто из японских предпринимателей Спиридона Дионисьевича, Николая Дионисьевича или его сына — мальчик тоже подторговывает, хотя ему еще только семнадцать. Если кто братьев обидел — все немедленно возместим из секретных фондов и парочку таких контрактов подсунем, что только звон желтый в ушах зазвучит.

Генерал Тачибана умел даже и думать по-русски. Поэтому особенно волноваться он не стал и поехал на партию бриджа к французскому консулу. Туда же был приглашен генерал Молчанов, главком белой армии. С ним есть о чем поговорить — умница человек. И тонок, очень тонок.

По дороге к консулу генерал Тачибана успел заехать к министру иностранных дел господину Николаю Меркулову. Братья еще не успели перезвониться, как и предполагал генерал, и поэтому он был уверен в аудиенции. Их разговор был кратким. Тачибана несколько усталым голосом — таким голосом обычно говорят с ревнивыми женами, которые не понимают степени занятости мужа,— объяснил:

— Нельзя смотреть и видеть только то, что перед глазами. Это привилегия детей, но дети не являются партнерами в решении вопросов международной значимости. Дайренские переговоры нужны не нам. Они прежде всего нужны вам. Почему? Извольте: во-первых, они будут продолжаться по крайней мере два-три месяца, то есть именно то время, которое и требуется вашему генштабу для окончания работ с планом победоносного наступления на ваших противников. Во-вторых, если красные согласятся с нашими требованиями, то вас это устроит не меньше нас. Если они откажутся от наших требований, тогда вы уже будете готовы к выполнению того плана, который сейчас находится в стадии разработки в вашем генштабе. Это вы брату передайте, а то он не принял меня, сказавшись больным, и американцем меня пугал. Николай Дионисьевич, не надо так с нами, не надо... Мы обижаемся так же, как и вы. Только мы улыбаемся, если обижены, а вы плачете. Вот и вся разница.

А пока Тачибана едет во французский особняк, французский консул говорит с Гиацинтовым, интересуясь дальнейшей участью большевиков, арестованных в связи с подпольной газетой. Он говорит о необходимости всегда находить третье решение судьбы политического

противника. Ни в коем случае — террор, это плохо принимает мировое общественное мнение. Но недопустим и пустой либерализм — в России **либерализм обязательно кончается кровью.**

— Любой поступок разрешен,— улыбается консул,— только всегда необходимо иметь про запас того, кто потом станет козлом отпущения. Хотя, простите,— прерывает себя консул,— еще могут подумать, что **я вмешиваюсь в ваши внутренние дела.**

Гиацинтов быстро глядит в мягко улыбающиеся консуловы глаза.

— Гродеково, центр семеновской группировки,— заканчивает разговор консул, направляясь встречать Тачибану,— кажется, последний железнодорожный пункт, а там начинается заграница. То есть возможна высылка большевиков, а не казнь. Забытое благородство по отношению к оппозиции. Это понравится миру. А если Семенов в Гродекове красных обидит, это уже не ваша забота, а ваша печаль. Да, мы заболтались, прошу вас в тот зал, Кирилл Николаевич, бридж обещает быть интересным, хотя несколько вялым. Где же господин Ванюшин?

— По-моему, он в библиотеке,— говорит Гиацинтов.

— Нет,— глухо отвечает Ванюшин из-за камина,— он не в библиотеке, он — здесь.

К Фривейскому заходит Исаев и говорит:

— О, великий и всесильный!

— Говорите еще,— шутливо просит Фривейский и закрывает глаза, показывая, как ему это приятно.

Смеется Максим Максимович, спрашивает:

— Итак, завтра в три?

— Да. Я заеду за вами в «Версаль», Максим Максимыч. Только смотрите: проиграем мы с вами все на свете.

— Это даже занятно,— отвечает Исаев и откланивается,— иногда проигрыш полезней выигрыша.

— В каком смысле?

— В том смысле, что все переоцениваешь. Заново и трезво.

Секретарша вносит последние газеты. Исаев и Фривейский профессионально быстро проглядывают полосы. Фривейский усмехается, потом глухо смеется, потом, по нарастанию, грохочет сипловатым, низким смехом.

— Послушайте,— говорит он,— какую заметку тиснул ваш орган: **«ЗАГУБИЛИ, СУКИ, ЗАГУБИЛИ! ОТ ТЮРЬМЫ, КАК И ОТ СУМЫ...»**

Исаев и сам видит заметку, сообщающую о похоронах Василь-

ева — красного лидера. Он тоже смеется, вровень с Фривейским, смешок, смех, хохот. Прячет газету в карман и историливо уходит, раскланиваясь на лестнице со знакомыми.

РЕДАКЦИЯ

Заврекламой визгливо кричит, оправдываясь:

— А откуда я знал, что контрразведка рассердится?! Мне важно, чтобы не рассердились подписчики! Тоже мне, понимаешь, Наты Пинкертоны!

Заместитель редактора, распекающий рекламу, басит:

— Не визжи! Отвечать приходится мне — по телефону. А вот в девять часов завтра ты будешь им отвечать не по телефону, а в комнате номер семь, на Полтавской, три.

— Что за вопли? — спрашивает вошедший Исаев.— Как я понял, случилось нечто непоправимое.

— Откуда я знал, что тот тип филер?! — кричит заврекламой.

— Вы поменьше об этом распространяйтесь,— советует замредактора,— а то вам наверняка шею свернут.

ЗАГУБИЛИ, СУКИ, ЗАГУБИЛИ!

— Гиацинтов обижен, что их контру назвали сучьей? — интересуется Исаев.

— Да нет! — вопит заврекламой.— Совсем наоборот! Их возмутила фривольность тона о погибшем Васильеве, изволите ли видеть!

Усмехаясь, Исаев выходит из кабинета. Уезжает домой. По пути заглядывает в кафе «Банзай». Там садится в уголке и ждет Чена. Тот вскоре приходит. Они молча переглядываются. Исаев раскуривает сигарету и шепчет, пока лицо его скрыто в пахучем голубом дыму.

— Предупредите подполье, что похороны Васильева — провокация. Никто не должен идти за ним на кладбище...

ХАРБИНСКИЙ ВОКЗАЛ

К перрону подходит состав, прибывший из Читы. В салон-вагоне — правительственная делегация ДВР во главе с Федором Николаевичем Петровым, направляющаяся на переговоры с японцами в Дайрен.

Звенят разбитые стекла вагонов. Улюлюкают на ночном перроне белогвардейцы.

Орут:

— Вон отсюда, палачи!

— Убирайтесь, комиссары!

— Всех вздернем, красная сволочь!

Японская полиция стоит чуть в сторонке, в белых перчатках и ослепительных гетрах. Лица улыбчивы и доброжелательны. Руки сложены на животиках: ни дать ни взять — игрушечные полицейские. Делать им сейчас ничего нельзя: демократия прежде всего. Кричать можно что угодно и кому угодно. Нельзя разрешать действовать физически. Это нехорошо. Это даже некрасиво. Этого полиция постарается не допустить.

Выходят наши товарищи на привокзальную площадь, а там кричат еще пьяней и похабней, просто извозчичьим матом орут.

Делегация садится в две машины и уезжает в здание представительства ДВР, которое охраняет японская жандармерия.

На следующий день, после протеста, заявленного делегацией, японские власти подгоняют к зданию представительства ДВР три броневика и роту солдат.

Очередной изящный укол: делегация идет к вагонам, чтобы следовать в Дайрен — к месту переговоров, а вокруг марширует рота солдат. И не понять, то ли арестованных увозят, то ли почет оказывают.

Повар, нанятый в Харбине делегацией, полунемец, полутатарин, проживший на Востоке всю жизнь, шепотом объяснял проводникам салон-вагона:

— Азиаты не лыком шиты. Они не только цветом кожи разнятся, у них и мозг другой, и видят они не так, как европейцы. Поди догадайся, как они все вокруг себя видят! Глаза у них с прищуром, необыкновенно хитрющие глаза. Но и хитрость у них особая, на нашу не похожа. Мы в обход хитрим, с дальним прицелом и с логикой в замысле, а дальневосточный азиат в лицо тебе врет и улыбается — это и есть, по-ихнему, хитрость. Думаешь про него: вот чудак, мне ж твоя хитрость сразу видна. Ан нет! Ему только этого

и надо. Это он там поначалу хитрил. На самом-то деле он подальше нашего брата задумал, и убить для него — это помочь человеку переместить душу из бренности в божественность — всего-навсего.

ДАЙРЕН. «ЯМАТО-ОТЕЛЬ»

Это самый фешенебельный отель Дайрена. Кругом красное дерево, все старомодно и учтиво. Делегацию встречает секретарь МИДа господин Шимада. Он провожает членов делегации на отведенный им второй этаж и договаривается с секретарем русской делегации, что переговоры будут вестись здесь же, в сером зале, без прессы, форма — белые костюмы из-за влажной жары, черные галстуки и штиблеты черного цвета.

— Дьяволы,— ругается Блюхер, только что прибывший в Дайрен по вызову Петрова,— не иначе как от своих агентов получили сведения, что у нас нет белых костюмов. Вот ведь черт возьми, а?! Может, мы и в этих седлах пройдем? Чем наши плохи, серенькие?

— Не годится,— говорит Федор Николаевич Петров.— Придется срочно раскошелиться, сейчас все поедем к портным.

Японцы — народ вежливый и предупредительный, одним нашим не дают побыть ни минутки. Только наши решат отдохнуть с дороги, как в номер к каждому стук в дверь: на пороге стоит сахарный от нежных улыбок дипломат и просит пожаловать господ делегатов вниз, в ресторан, на торжественный обед.

Стол накрыт: икра, омары, трепанги, крабы, сыры, вина, ветчина. Не бывает такого стола в жизни. Наши дипломаты — все из рабочих, только переводчик бывший студент да Федор Николаевич Петров прошел курс наук в тюремном замке Шлиссельбурга.

Японские дипломаты лихо орудуют пятью вилочками, десятью ножичками, на руки свои не смотрят, жуют быстро, отрезают малюсенькие кусочки, и все будто само у них режется. А у наших — кроме Петрова, который так же легок и изящен,— ножи тупые, с вилок все падает, секретарь вывалил кусок курицы на брюки своему японско-

му соседу (японец даже не шевельнул бровью — вроде это и ноги не его), экономический советник опрокинул на себя один из пяти фужеров, поставленных перед ним официантом, другой советник с такой силой нажал вилкой на елозившую по тарелке диковинную закусь, что тарелка — тюк! — и пополам! Василий Константинович до вилки с ножом не дотрагивается вовсе. Только корочку маслом помазал и жует себе, на хозяев стола посматривает и все запоминает: кто, как и что ест.

— Господа! — возглашает руководитель японской делегации Мацушима.— Я думаю, что переговоры явят собой образец искренности и взаимного доброжелательства. Я пью за успех, господа!

Шумит тяжелый океан, он с ревом разбивается о высокие каменные глыбы, замирает в воздухе снежными, устремленными ввысь валами, а потом с шелестом обрушивается вниз — в самое себя.

Блюхер без ежедневной двухчасовой прогулки не человек. Как бы ни работал, пусть двадцать часов, все равно обязательно пешочком, размеренным шагом десять километров отшагай, хоть помри.

— Мой двоюродный дядька,— объяснял Василий Константинович Петрову,— до восьмидесяти пяти лет жил, а в восемьдесят еще женихался с молодухами. А все почему? Он по вечерам письмоноше помогал — в соседние деревни письма разносил. Пятнадцать километров отмахает, а потом сидит у печи, ноги вытянет и от счастья плачет. Честное слово! Молится и плачет радостно так, по-детски...

Блюхер кладет пистолет в задний карман брюк, надвигает котелок, смотрит на себя в зеркало и отправляется к океану — тут, в Дайрене, до него рукой подать. Он перепрыгивает с валуна на валун, уходя все дальше и дальше — вдоль по пустынному берегу. А за ним — неотрывной тенью два японца в штатском, шпики. Идут, совсем не скрываясь, даже изредка переговариваются друг с другом. Им тяжело идти за Василием Константиновичем, потому что тот в ходьбе быстр. Шпики почти бегут за ним, тяжело дышат, потные. А Брюхер идет и посмеивается. Думает: «Это вам, сукины дети, за обед в ресторане! Вы лихо жуете, мы — ходим. А ну — кто кого?!» И Василий Константинович наддает скорости. Один из шпиков, тот, что поменьше ростом, заглядевшись в спину военного министра, спотыкается, падает и расшибает себе лоб. По щеке течет кровь. Второй шпик на ходу вытирает кровь своему спутнику, но понимает, что дело плохо. Либо надо останавливаться, чтобы по-настоящему помочь товарищу, либо одному бежать следом за русским министром.

— Эй, господина! — кричит он, задыхаясь.— Подожди!

Блюхер идет, будто этот крик к нему не относится. Вокруг валуны, низкие, словно расчесанные огромным гребнем корейские сосны и больше ничего. Только океан глухо стонет и грохочет.

— Э, хорошая господина! — снова в отчаянье кричат в спину Василию Константиновичу.

Блюхер останавливается. Смотрит на своих сопровождающих. Они бредут к нему — жалкие, перемазанные кровью, взмокшие.

— Вы кто? — спрашивает Блюхер.

— Васа охрана.

— Шпионы, что ль?

— Спионы, спионы,— радостно соглашается тот, что разбил себе лоб.— Немнозко спиона, немнозко охрана. Твоя ходи, моя топ-топ, за тобой ходи, но твоя быстро ходи, как зивотное.

— Сейчас пойдем дальсе,— говорит второй шпик,— только остановим кровь.

— До кости разбил? — спрашивает Блюхер.

— Немнозко до кости.

— Иди сюда.

Шпик подходит к Блюхеру, и Василий Константинович начинает осматривать рану.

— Ну-ка,— говорит он второму,— вот мой платок, сбегайте и намочите его водой.

Шпик убегает вниз, к океану.

— Садись,— говорит Блюхер.

— В васем присутствии нельзя.

— Пиджачок сними — мокрый.

Шпик снимает пиджак, под мышками у него — на кожаных ремешках — два кольта.

— Хорошие кольты,— говорит Василий Константинович.

— Немнозечко тязеловаты.

— Покажите-ка...

— А вы меня не застрелите?

— У меня свой есть, чтоб застрелить.

— У вас маленький браунинг, им не застрелись.

— А вы откуда знаете, что у меня браунинг?

— Так мы зе спионы. Когда из отеля вы выходили, я к вам призался рукой, около портье, помните?

— Нет.

— Вот и хоросо. А я на осцупь все пистолеты знаю. У вас браунинг, бельгийской фирмы.

— Молодец! — искренне восхищается Блюхер.

Польщенный шпик достает из-под мышки кольт и протягивает Василию Константиновичу.

— Вот,— говорит он.— Мозно посмотреть.

Блюхер навскидку целится из пистолета. Высоко над ним, распластав крылья, летит ястреб. Блюхер берет его на мушку. Гремит выстрел. Ястреб, сломав крылья, стремительно падает на камни.

— Господина, вы великий стрелок,— говорит шпик,— только где я теперь достану денег, чтобы купить патрон?

— Сколько он стоит?

— Недорого, но все-таки. Мы, спионы, бедные люди.

Блюхер достает десятидолларовую бумажку и протягивает ее шпику.

— Господин такой седрый, мы не будем вам месать и станем говорить, что вы осень-осень хоросий министр.

Второй шпик приносит своему товарищу намоченный платок, Блюхер промывает ранку и предлагает:

— Ну что, обратно пойдем?

— А вам хочется еще походить по берегу океана?

— Хочется.

— Если бы вы позволили нам идти босиком,— просит шпик,— то мы бы не мешали вам звуком своих шагов сзади и вам бы казалось, что нас нет.

— Если не оглядываться?

— Мозно и оглядываться. Мы будем ложиться, когда вы оглянетесь.

— Разувайтесь,— соглашается Блюхер,— я тоже босиком пойду.

Идет министр босиком, подвернув брюки, песню поет, руками в такт размахивает, а ветер с океана свистит — свежий, великолепный ветер, навстречу ему идти всей грудью — нет больше радости.

ЗАЛ «ЯМАТО-ОТЕЛЯ». УТРО

— Следовательно,— заканчивает Петров,— мы вновь выдвигаем только одно требование: незамедлительная эвакуация японских оккупационных войск из Приморья. Это справедливое требование, и мы уверены в том, что оно будет удовлетворено.

Глава японской делегации, обворожительно улыбаясь, говорит:

— Перед тем, как мы выдвинем наши окончательные требования, нам бы хотелось урегулировать вопрос о японских солдатах, жертвах последних лет, похороненных на территории Дальнего Востока. Нам кажется, что следовало бы найти удобную для вас форму не только решить вопрос о материальных компенсациях, но и о моральных. В данном случае мы имеем в виду официальное соболезнование — словом, частности мы готовы обсудить вместе с вами, если вы согласитесь, а вы не можете не согласиться с нашим изначальным предложением, потому что оно законно и отвечает всем нормам человеческой морали.

Блюхер сжимает кулаки и начинает бычить голову — первый признак гнева.

— На войне как на войне,— говорит он.— Не мы пришли на вашу территорию, а вы явились на нашу. Вас никто сюда не звал. Следовательно, ни о какой компенсации, ни материальной, ни тем более моральной, не может быть и речи. Мы приехали к вам, движимые лишь одним желанием: вести переговоры. Мы отвергаем диктат как метод.

Блюхер садится на свое место, по-прежнему покашливая от волнения. Молодые секретари японской делегации склоняются над головами советников, сидящих за стульями главы делегации и его заместителей. Глава делегации — генерал Мацушима — обменивается тихими, улыбчивыми фразами с заместителем. Советники шепчут свои мнения заместителям, те пишут иероглифы синей тушью и передают листочки генералу. Он просматривает их и поднимается.

— Прежде чем мы возьмем перерыв для информации высокого императорского правительства о позиции, занятой вашей делегацией, нам бы хотелось познакомить руководителя нашей военной делегации генерала Танака с господином военным советником Блюхером и выделить военные переговоры в особую сферу работы нашей конференции.

Генерал Танака кланяется Блюхеру. Блюхер кланяется генералу. Какое-то время они рассматривают друг друга, а за ними в это время пристально наблюдают и японцы и наши.

— Высокая дайренская конференция объявляет перерыв на три недели! — возглашает секретарь японской делегации.

Петров спрашивает:

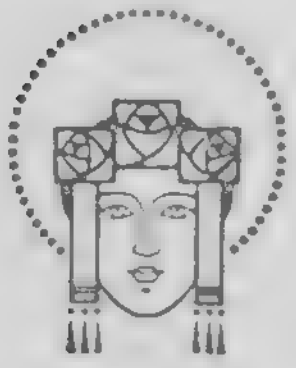
— Разве нельзя провести консультацию с правительством в более короткий срок, господин председатель?

— Сейчас неспокоен океан,— отвечает Мацушима,— поэтому мы берем некоторое упреждение.

— Дипломат употребляет военный термин,— громко шепчет Петрову Василий Константинович,— упреждение дают, когда готовят сильный залп.

Японец режет Блюхера взглядом и говорит:

— Уступая просьбе уважаемой русской делегации, переговоры прерываются на две недели и пять дней.



ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР. НОМЕР БЛЮХЕРА

Мархлевский, наблюдатель из РСФСР, сидит за круглым столом. Перед ним роскошный стол, сервированный, с огромным вкусом. Хрусталь, фарфор, огромное количество вилок, вилочек, ножей, ножищ и ножичков, всяких диковинных пилок и прочих инструментов, которые Василию Константиновичу кажутся хирургическими.

— Смотрите,— учит Мархлевский,— вилку надо брать легко, кистью. Это искусство — красиво держаться за столом. Ну-ка, повторите.

Блюхер повторяет те хитрые жесты, которые так лихо выполняет Мархлевский.

— Вы прекрасный ученик. Не жмите на вилку, не жмите. Тарелка — не враг, она ваш союзник. А если вы будете налегать на нее всем вашим весом, она расколется. Вот так, уже лучше. И будьте непосредственны. Держите себя проще.

Блюхер работает ножом и вилкой легко, изящно, Мархлевский ходит вокруг него и восторженно потирает руки.

— Ну, а как вы очистите яблоко?

Блюхер достает с блюда яблоко, берет фруктовый ножик, чистит яблоко между делом, не глядя на руки, а рассматривая картину на стене.

— Прекрасно! Теперь налейте вина даме слева. Нет, нет, обязательно правой рукой. Согните ее в локте. Молодчина. Теперь все сначала. Итак, прошу!

Блюхер повторяет следом за Мархлевским.

— Хорошо. Молодец. А теперь давайте продумаем план ваших

переговоров с Танака. Вы, наверное, знаете, что он такой же дипломат, как я танцор. Этот человек говорит по-русски чище меня. Он один из ведущих разведчиков, специалист по России...

НОЧЬ. НОМЕР БЛЮХЕРА

Дверь, выкрашенная слонового цвета краской, открывается бесшумно. В номер Василия Константиновича входят три человека. Двое замирают у дверей, а третий по-кошачьи тихо проходит к широченной кровати, на которой разметался во сне Блюхер, садится на краешек и осторожно включает ночник. Блюхер от света вздрагивает. Открывает глаза, видит трех в комнате, лезет под подушку — к пистолету. Там уже пусто, потому что человек за мгновение перед этим пистолет Василия Константиновича сунул себе в карман.

— Здравствуйте, Блюхер,— говорит человек очень усталым голосом.— Ваше разведуправление не показывало мою фотокарточку перед тем, как вы сюда отправились? Нет? Понятно. Они не предполагали, что я сам буду заниматься вами. Я — Ицувамо, начальник разведслужбы империи. Очень приятно с вами познакомиться.

— По какому праву вы влезли в мой номер?

— Зачем вы кричите, Василий Константинович? Я не собираюсь вас убивать или обворовывать. Я пришел засвидетельствовать свое почтение и — тут же откланяюсь, если вы, конечно, не попросите меня остаться.

Блюхер садится в постели, подоткнув под себя подушку.

— Сколько? — спрашивает он.

— Что, что?

— Сколько, спрашиваю, будете предлагать?

— Я не в лавке, и вы не мелкий торговец. Я не буду вам предлагать ни иен, ни долларов. Не считайте людей вокруг себя глупее вас. Это совет человека, который относится к вам доброжелательно. Я обращусь к вам с просьбой, предложив вам взамен нашу незримую помощь. Вы даже ничего о ней и знать не будете. Не отказывайтесь от нашей помощи, не советую.

— Не вертите, не вертите, давайте скорее кончать все это. Какая просьба?

— Мне не нужны данные о численности ваших дивизий, полков и рот, я знаю это лучше, чем вы. Мне не нужно знать ваш план Забайкальского укрепрайона. Я знаю все, что происходит у вас в штабе, Василий Константинович. Так вот: когда вас, военного советника, спросит руководство, которое получит наш меморандум с требованиями, пока вам неизвестными, вы должны будете сказать всю правду вашему уважаемому руководству.

— О чем?

— О том, что воевать вам примерно еще года два будет не под силу. Это же, кстати, именно та точка зрения, которую вы недавно высказывали на заседании Совета Министров в Чите. Грубо говоря: посоветуйте своему правительству принять наш меморандум.

— А меморандум ваш будет каков?

— Хочется узнать?

— Очень.

— Закурите?

— Здоровье берегу.

— Разумно.

— Так требования-то каковы? Что вы от нашей делегации потребуете?

— Услуга за услугу, Василий Константинович.

— Э, нет, господин хороший. Я в невыгодном положении. Вы всегда скажете в случае чего, что я достал текст японских требований неофициальным путем, и все это ложь, а русские ведут себя провокационно, чтобы сорвать переговоры. Разве нет? Именно так и поступите.

— Зачем вы плохо обо мне думаете, Василий Константинович? Разведчики — обязательные люди.

— Шрамик у вас на роже не от битья?

— Ага... Били...— быстро кивает головой начальник имперской разведки Ицувамо.— По роже. Любит русский народ изящными намеками изъясняться, мочи нет.

— Смешно подметили. А за что лупили?

— За что? — переспрашивает Ицувамо.— За то, что желтый. Я, изволите ли видеть, в течение десяти лет был няней в доме у одного просвещенного российского интеллигента, который сейчас очень знаменит во Владивостоке и поддерживается нами. Так вот от него. За плохую стирку носовых платков для дочки.

Блюхер и начальник имперской разведки молча смотрят друг на друга.

— Крепко нас не любите? — спрашивает Блюхер.

— Вы имеете в виду красных или вообще нацию?

— Так ведь теперь вся нация красная, куда ни крути.

— Оттенки пока сохраняются.

— Скоро сойдут.

— Постараемся задержать процесс. Так как же — дружба?

— Не выйдет, няня,— улыбается Блюхер.— Хорошо, что про шрамик свой вовремя рассказал, а то я тебя хотел звездануть промеж глаз. У меня кулак-то, видишь? Потрогай, потрогай, не бойся, чудак.

— Да я вижу. Кулачок весьма тяжел. Всего хорошего, Василий Константинович.

— Пока,— отвечает Блюхер и снова ложится, укрывшись с подбородком.— Спокойной ночи, нянечка. Пистолетик только мой верни, а то воровство это, не солидно.

Ицувамо достает из кармана пистолет, протягивает его Блюхеру.

— Положи на столик,— говорит Василий Константинович и сонно зевает.

Японец кланяется Блюхеру и идет к двери.

— Мне жаль вас,— говорит он, задержавшись.— Вы уже погибли, потому что говорили со мной. А это вам всегда могут поставить в вину. И я эту нашу беседу подтвержу. В том случае, конечно, если вы вдруг не захотите вновь встретиться со мной. Вы приятны мне, Блюхер. Вы — поверьте, людям моей профессии нельзя ошибаться в диагнозах — станете великим человеком. Но чем больше величие, тем страшнее падение. До свидания. Примите мои извинения.

Трое исчезают, словно и не было их. Свет за собой выключили и дверь замкнули.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ИППОДРОМ

Прекрасны дни приморской осени. Солнце не палит, воздух пронзительный, светлый, пляжи усыпаны телами купающихся, порыжелая тайга по склонам сопок высветлена и кажется звонкой и гулкой.

Особенно хорошо в эти дни на ипподроме. Трибуны забиты до отказа.

— Вы чувствуете сейчас вокруг нечто толстовское? — спрашивает Фривейский Исаева.— Бега, Каренина, детские проблемы челове-

ческой верности и родительских привязанностей. Как все это давно было, господи...

Они сидят в ложе, возле правительственной трибуны. Спиридон Дионисьевич, как доверительно объяснил Фривейский, сейчас за городом, подписывает контракт с фирмой «Унси» по вывозу древесины из бухты Ольги для спичечных фабрик Японии. Николай Дионисьевич с Ванюшиным приглашены купцом первой гильдии Бринером на яхту «Светлана». Бринер сегодня празднует день рождения своего младшего сына Юлия. Сероглазый, крутолобый красавец мальчик — любимец самого богатого человека Приморья. Там же, у Бринеров, американский консул, от которого ни на шаг не отходит французский атташе. По-видимому, генерал Тачибана поручил ему наблюдать за американцем — не договорился бы о чем с Меркуловым-младшим.

Фривейского многие узнают. Военные козыряют ему, штатские, еще издали содрав котелок, почтительно торопятся пожать руку личного секретаря премьера.

— Объявляю второй заезд,— кричит через громадный мегафон ведущий.— Вместо Смарагда, объявленного в программе, пойдет Изидра под управлением жокея Рооша.

— Изидра ничего,— прилаживая бинокль, говорит Фривейский,— пожалуй, что я буду ставить на нее.

— Не советую.

— Отчего?

— Она сбоит в первой четверти.

— Откуда такие сведения?

— Слишком резва. Молодость я ценю в женщинах, в лошадях мне ближе опытность.

— Ах вы, повеса,— улыбается Фривейский, не отрываясь от бинокля.— Но какие стати, послушайте! Нет, нет, я играю Изидру.

— Пари?

— Зря вы...

— Может быть. И тем не менее. Я сегодня буду три раза играть на пари и четыре раза на тотализаторе.

— Отчего такая странная цифра?

— В сумме получается семь, а семерка похожа на лебедя.

— Исаев, вы пишете стихи?

— Не вгоняйте меня в краску.

— Сколько ставите против меня?

— Десять долларов.

— Не сходите с ума. Пять — от силы. Мне жаль вас. На кого вы?

— Я сыграю на Савредону.

— Господа,— оборачивается Фривейский к двум генералам из генштаба, сидящим рядом,— я прошу вас быть свидетелями того, как я отговаривал Исаева от пари.

Фривейский отходит к окошкам тотализатора и ставит деньги на свою лошадь. Исаев видит, как крепко зажаты билеты в маленькой и потной руке секретаря правительства. Не жарко, а испаринка на висках проступила. Это значит — волнуется Фривейский. А как же ему не волноваться? Он не купец, у него доходы только от кабинетной работы.

Звучит колокол. Кони принимают старт. Ипподром, сначала исподволь, сдержанно, а потом все ровней и ровней, начинает шуметь — поддерживают фаворитов: каждый своего. Лица некоторых зрителей каменны, другие враз употели до серебряной испарины на лбу, третьи орут что есть мочи. Исаев аж на стул вскакивает, кричит, вопит, руками над головой машет, Фривейский, наоборот, вдавливается в свое кресло и сжимается комочком.

Кажется, что лошади еле-еле бегут — так обманчиво видится с трибуны все происходящее на гаревой дорожке. И то, что жокеи стегают по крупам взмокших лошадей, и то, что коляски их раскачивает из стороны в сторону, словно челноки на волне — так стремительна скорость, набранная за три первые четверти круга, и то, что они гортанно кричат на лошадей злыми голосами,— все это кажется декоративным, как и средневековые наряды наездников.

Первой приходит Изидра. Фривейский вытирает лицо тугим платком голландского полотна.

— Ну-с,— говорит он ликующим голосом,— денежки просим на ладошку.

— Алчны вы.

— Ух, алчен! — похохатывает Фривейский.— Господа, извольте засвидетельствовать от сплетен — я предупреждал Исаева и отговаривал от пари.

Генералы завистливо смотрят на Фривейского, который всеми силами старается скрыть радость. Но она прет из него: деньги, выигранные на бегах,— особые деньги, они будто шампанское — легки, игристы, хмельны.

— Послушайте, Макс,— впервые за все время знакомства называет его Фривейский по имени,— а вы, оказывается, игрок?!

— Вы близки к истине, Алекс,— усмешливо отвечает Исаев.

— Ну, продолжим наши игры? — спрашивает Фривейский.

— Я ставлю на Реганду-вторую,— говорит Исаев.

— Это кляча. Снова проиграете.

— Пари! — предлагает Исаев.

В это время к Фривейскому подбегает толстенький мальчик в гольфах — потные пальцы с обгрызенными розовыми ногтями в дешевых перстнях. Мальчик шьется возле конюшен, продает фаворита. Аполлинэр говорил, что мальчик порой уносит по тысяче и больше. Наклонившись к Фривейскому, мальчик что-то быстро шепчет тому на ухо.

— Да? — спрашивает Фривейский.— Точно?

Мальчик шепчет что-то еще жарче и убегает к кассам тотализатора. Фривейский бледнеет, достает из кармана толстую пачку ассигнаций и торопится следом.

— Фаворита получил,— слышит Исаев завистливый шепот генералов у себя за спиной.

Фривейский возвращается и садится на краешек стула.

— Так как же быть с пари? — спрашивает Исаев.— Или боитесь?

— Мне неловко обыгрывать вас,— отвечает Фривейский.— Но вообще стоит проучить за дерзость: в другой раз не будете своевольничать; на ипподроме меня следует слушаться. Тысячу долларов в пари берете? И ни центом меньше.

Генералы смеются. Исаев молчит. Фривейский хмыкает:

— То-то... Испугались, Макс?

— Отчего. Нет. Пари принято.

Исаев поднимается и, чувствуя спиной, как трое смотрят на него, идет к тотализатору и ставит на Реганду.

— Она ж ни разу не приходила,— говорит тихонько кассирша,— да и жокей был в запое. Смотрите, молодой человек, может, не стоит...

Она два раза видела, эта кассирша, как мальчики, проиграв деньги, занятые у маньчжурских гангстеров, дававших в рост, стрелялись здесь, прямо на трибунах. Люди играли лошадей, они даже не заметили самоубийц... А те, у кого уже было все решено, лежали в пыли и оловянно смотрели на подметки тех, кто вытягивался и дрожал на мысочках, замерев в последнее мгновение перед финишем.

На первой четверти, всего через восемь секунд после старта, Реганда, выступавшая под управлением жокея Аполлинэра, сбоила. Лошадь повело в сторону, она стала на дыбы, и жокей с трудом удержался в коляске.

«Ничего,— думает Исаев.— Ничего. Проиграв тысячу, я приобрету Фривейского. Где только тысячу достать? У меня-то двести... Мальчик, который шепнул Фривейскому имя фаворита, конечно, ни-

чего про сон Аполлинэра не знает, да и я сам не до конца понял: был ли это действительно сон или жокей давал мне понять, на кого ставить. Ничего, проиграть Фривейскому сейчас — это значит выиграть его чуть позже. Он труслив, потому что за ним не чисто и он все время в страхе. Выиграв у меня такие большие деньги, он будет чувствовать себя обязанным мне, он станет побаиваться меня, он поймет, что я озлобился, он станет умасливать меня. Люди с проколом в биографии стараются всех своих врагов сделать друзьями. Поэтому-то они и погибают в конце концов... Что и говорить, выигрыш Аполлинэра мне был бы сейчас более кстати, тогда я бы очень быстро все решил с Фривейским... Что ж... Терпение... Посмотрим, как будет дальше... Во всяком случае, я играю беспроигрышную партию: придет ли первым фаворит или моя Реганда — он уже в контакте со мной, он уже мой «приятель». В крайнем случае с проигрышем выручит Чен...

— Ну же! — кричит Аполлинэр и хлещет лошадь по крупу.— Ну! Ну!

Остальные лошади ушли вперед, раскачиваются перед глазами спокойно, медленно. И в этом размеренном раскачивании — обреченность, которая обычно сопутствует поражению в засзде. Надо это спокойствие и размеренность поломать. Он знает, надо дать волю инстинктам, сейчас надо смотреть на мир, и на гаревую дорожку, и на круп лошади, и на тех, кто впереди, красными глазами. И дышать надо с хрипом и присвистом — как зверь на бегу.

И вот, метр за метром, секунда за секундой, начинает свершаться невозможное: Аполлинэр нагоняет остальных лошадей, которые пока идут кучей без фаворита. Аполлинэр обходит всех по крайней дорожке и приближается к финишу первым.

Рев на ипподроме сменяется тишиной. Только слышно об землю копыта: цок-цак, цок-цак...

Дзеньк! — колокол бьет у финиша.

Рев на ипподроме возникает сразу, словно все раньше замолкли на одно мгновенье, задержав в себе крик по сигналу невидимой дирижерской палочки.

— У-а-а! А-а-ау! — ревет ипподром, и у всех на лицах изумление и даже какая-то радость. Люди были свидетелями чуда. Такого не бывало ни разу, чтобы сбоившая лошадь, никогда не считавшаяся фаворитом, могла обойти всех по самому краю и снять громадный выигрыш. Слава богу, что никто не ставил на нее, а то сразу миллионером стал бы такой человек. Это разве и успокаивает людей:

проиграл — зато и все остальные тоже проиграли. Нет более ненавидимого человека на ипподроме, как счастливчик, снявший крупный куш. Даже подлипалы, которые моментально окружат его, даже они, угодливо глядя ему в лицо, ожидая кутежа, будут ненавидеть его, не говоря уже о тех, кто горд и горе привык ни с кем не делить.

Исаев трет переносье большим пальцем левой руки. Осторожно поворачивает голову и смотрит на Фривейского. Тот сейчас желт, как высушенный лимон. Что может сделать мгновение с человеком?! Под глазами у него залегли кругляши черного цвета. Глаза запали, а руки, лежащие на коленях без сил, кажутся ссохшимися, старческими.

Генералы переглядываются, затаив радость: крупный проигрыш соседа здесь, на бегах, так же приятен, как ненавистен его выигрыш.

Фривейский берет котелок и говорит глухим голосом:

— Честь имею, господин Исаев. У меня заболела голова, пойду отлеживаться.

Фривейский поднимается, чтобы уйти, и сталкивается лицом к лицу с генералами. А они ясно чего ждут. Это разве не понятно, чего они ждут? Они его унижения ждут, вот чего они больше всего хотят видеть. Это ж зрелище — в перерыве между бегами.

— В данный момент я стеснен в средствах и просил бы вас отсрочить платеж моего долга...

Исаев упирается в него стальными своими глазами и вместо того, чтобы, как ожидал Фривейский, ответить «что вы, что вы», спрашивает:

— Сколько вам нужно?

Боже ты мой, какая гнуснейшая история! Завтра же разойдется слушок по армии, эти вороны непременно разнесут!

— Я просил бы вас перенести это на завтра.

— Ну и прекрасно, Алекс,— говорит Исаев.— А то оставайтесь, может, еще какие веселые истории случатся?

— Голова,— отвечает Фривейский,— у меня случаются страшные мигрени. Благодарю вас, всего хорошего, господа.

Подождав, пока Фривейский скроется с глаз, один из генералов говорит, качая головой:

— Пошел стреляться.

После следующего заезда Исаев, получив громадный выигрыш, укатил с генералами на автомобиле в «Версаль» и задал там ужин, о котором наутро заговорили в городе.

КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО

Фривейский сидит за круглым столом в маленькой гостиной и тупо смотрит в одну точку перед собой. Жидкие волосы прилипли к мокрому лбу, а голова у него все время делает чуть заметные движения из стороны в сторону, словно детская игрушка с пружинкой вместо шеи.

В передней звонит тоненький электрический звонок.

Фривейский поднимается из-за стола, причесывает волосы, нетвердым шагом идет к двери и спрашивает:

— Кто?

— Я,— отвечает Исаев.

Фривейский несколько мгновений медлит, а потом открывает дверь и замирает на пороге. Исаев видит, что секретарь правительства пьян, он отодвигает его плечом, закрывает за собой дверь и проходит в комнаты — без приглашения.

— Алекс,— начинает сыпать Исаев пьяной скороговоркой,— зря вы на меня сердитесь. А то обижусь. И стану болтуном и сплетником, начну трепать про то, что секретарь правительства — уголовный преступник и растратчик, из-под суда удрал...

— Макс!

— Что?

— Макс...

— Э, ерунда, вы реагируете на сплетни, будто я говорю правду. У вас нет соды? Мучает изжога, сил нет. Почему вы не подходили к телефону? Мы прекрасно проводим время. Вчера в «Цыпочке» давали потроха под белым вином, господи, какая прелесть! Я к вам на минуту, Алекс, я вам подвез денег — вернете их мне на людях, сейчас поедем к цыганам. Машенька-волшебница поет — холодом морозит, глаза-жуки, чудо-девка... Как раз тысячу долларов я привез, чтоб слухи не ползли.

Максим Максимович достает из заднего кармана брюк пачку зеленьких бумажек — завитой Вашингтон смотрит сухо и непреклонно, на губах презрительная усмешка.

— Ах, доллары, доллары, хорошая валюта, где угодно ходит, не то что наша российская дребедень. Вот, пожалуйста, здесь тысяча, а могу одолжить столько же, я в выигрыше. Одна просьба,— быстро болтает Исаев, подталкивая деньги растерянному Фривейскому,— я тут слыхал, что доблестные жандармы собираются выпустить целехонькими с нашей земли тех подпольщиков-большевиков, которые попали нам в руки после блистательной операции Гиацинтова, когда

он взял Васильева и многих других. Так вот, я достаточно воевал с красными, и, если мою кровь решат разменивать на либеральные жесты, я стану принимать свои меры. Мне, как патриоту и газетчику, необходим открытый, беспощадный суд над арестованными большевиками. Пусть они предстанут перед судом, пусть будет процесс. Если этого не произойдет, если ваш шеф решит играть в либерального дедушку, я буду жаловаться в Берлин, моим друзьям из Высшего Монархического Совета.

— Чего вы, собственно, хотите? — тихо спрашивает Фривейский.— Я как-то понять ничего не могу.

— Хитрите, Алекс, хитрите.

— Давайте отнесем этот разговор на завтра.

— Нет, зачем же? Мы сегодня должны все обрешить, Алекс. Я не шантажист какой, у меня душа нараспашку, вы меня знаете. Будь я продажным гадом, стал бы вас прижимать: мол, устрой мне хороший заказ, не то затребую из Верхнеудинска твое дело...

— Перестаньте! — говорит Фривейский.— Мне гадостно слушать эти сплетни, распускаемые негодяями...

— А мне как противно их слышать? Но ведь то, что противно нам с вами,— интересно быдлу. Особенно если документы подложить. Да что это я, собственно, несу ахинею, пьян, пьян, стыд.

— Никак не пойму, чего вам от меня надо, Макс?

— А ничего. Дружбы. Только лишь.

— Вы дьявол.

— Если бы... А в Монархическом Совете о вас очень хорошего мнения, и мне позволено вам об этом сказать. Ну, поехали, Алекс, поехали.

УЛИЦЫ ВЛАДИВОСТОКА

Сегодня, в день престольного праздника, валит разодетый веселый люд по Светланке — вниз, из церкви. Лица у людей чистые, умиротворенные. И такое спокойствие во всем и благостность, и так чист осенний воздух, что все горести и печали кажутся нереальными сейчас, в этот солнечный, прекрасный час.

И вдруг откуда-то издалека поначалу обрывочно и миражно, но с каждой минутой все явственнее начинает звучать величавая похоронная музыка. Люди прислушиваются, но порой с океана налетает ветер, и тогда музыки не слышно и кажется, что ее вовсе не было, а просто послышалось, как воспоминание о пережитом, об отступлении, о разгромах и разлуках.

Но нет: вот она снова — торжественная и грозная музыка похоронного марша. Где-то рядом теперь гремит. И такая в ней мощь, что будто самые большие оркестры города соединились разом. Кого же хоронят? По музыке — не иначе как генерала, но в газетах ничего не было, вроде бы все начальство живо и здорово, а чумных — тех жгут, а не хоронят.

Гиацинтов снимает трубку телефона и просит:

— Автомобиль к подъезду.

Сейчас он поедет на Этершельдское кладбище. Там, замерев в каре, ощитинившиеся штыками, стоят солдаты, которые должны расстрелять тех, кто придет хоронить Васильева. Первая часть операции «Золотая рыбка» должна закончиться в шесть часов. А это, по теперешней ситуации, великая победа. Тыл станет чист и крепок. Остальных, которые в тюрьме, «выдворить» через Гродеково в Китай — либеральный жест, освобождение политических противников. А в Гродекове «возмущенный казачий народ» расправится, несмотря «на сопротивление властей», с руководителями подполья. Но это уже не вина Меркуловых или Гиацинтова, это «святая воля народа», который ничего не прощает.

Катафалк, запряженный шестеркой лошадей, медленно плывет по улицам. Оркестр идет по мостовой следом за катафалком. И никого — следом за оркестром. Ни единого человека.

А Васильев лежит в гробу, вся голова в цветах, лицо измученное, а все равно улыбка на нем.

Гремит похоронный марш.

Что ж, товарищ Васильев, прости тех, кто не пришел. Не могут они прийти. Но кто же те люди на тротуарах — в кургузых одежонках, что, просачиваясь — ручейками — сквозь разодетую толпу, спешат по улицам следом за гробом? Это ж твои братья по классу, товарищ Васильев, идут за тобой следом, скрываясь в праздничной престольной сутолоке. Те, кто из церкви, улыбчивы, нарядны, веселы, а кто на-

встречу им, следом за катафалком, скорбны, и лица их в машинной копоти, и в глазах слезы.

Они рядом с тобой, они провожают тебя в последний путь, они вокруг, и много их, не зря Гиацинтов их боится, он умный, он понимает, кого следует ему бояться. А за оркестром — никого, пустая мостовая...

В кладбищенские ворота, под дула ружей и под грохот оркестра, к черной провальной яме могилы, которая кажется маленькой и жалкой и похожа на ранку в большом и добром теле земли, подъезжает один катафалк, запряженный шестеркой великолепных лошадей. А людей нет, никого нет...

Гиацинтов в бешенстве ломает стек, замерев у ворот. Воронье кричит, кружась над верхушками деревьев. И листья медленно опадают.

ДАЙРЕН

— Итак,— говорит глава японской делегации, открывая заседание конференции после перерыва,— императорское правительство Японии, несмотря на отказ представителей Дальневосточной республики найти способ загладить свою моральную вину перед жертвами красного террора, тем не менее сочло возможным продолжать переговоры, поскольку для нас нет выше интересов, чем интересы всеобщего мира. Я начну с оглашения наших условий.

Он достает лист желтой бумаги, сделанной под старину, с разводами, и торжественно разворачивает его. Отставив бумагу на вытянутые руки, он начинает зачитывать:

— «ДВР обязана уничтожить весь военный флот и никогда его впредь не заводить на Тихом океане. Необходимо срыть все укрепления и впредь их не строить. Необходимо разрешить японским судам плавание по рекам ДВР под японским флагом. Следует позволить японским гражданам передвигаться по территории ДВР, не испрашивая на то разрешения МИДа ДВР. Следует разрешить японским гражданам покупать землю ДВР, а также следует властям ДВР особо благоприятствовать японским гражданам в промышленности, горном деле, торговле. Владивосток должен быть объявлен вольным го-

родом с международными гарантиями. На территории ДВР никогда не должен быть введен коммунистический режим. Таковы, в общих чертах, наши предложения. Если они будут приняты, тогда японское правительство торжественно обещает вывести свои оккупационные войска в тот день и час, когда это будет целесообразно и логично».

— Больше это похоже на условия безоговорочной капитуляции,— говорит Петров негромко.

— Каково мнение наших друзей военных? — любезно улыбаясь, спрашивает японец, надев очки, и смотрит в упор на Блюхера.

— Такие вопросы, мне кажется, могут быть решены только разговором орудий.

— Мнение господина Блюхера выражает официальную точку зрения?

— Личную.

— Господин председатель русской делегации, нам бы хотелось выслушать официальную точку зрения.

— По-видимому,— говорит Петров,— нам будет необходим перерыв.

— На месяц,— подсказывает Мархлевский.

— Так долго? — удивляется японский дипломат.

— Трудности дороги, бандиты и хунхузы,— отвечает Петров зло.— Если вам мешает бушующее море, то нам — бушующая суша.

— Мы не можем ждать месяц вашего ответа.

— Мы ведь могли ждать три недели вашего ответа.

— Не три недели, а две недели и пять дней.

— Вот и вы подождите две недели и пять дней,— предлагает Василий Константинович,— надо ж уступать друг другу, не так ли?

— Ну что ж,— говорит японец,— мы подождем три недели. Это крайний срок. Если вы откажетесь тогда принять наши предложения, мы будем вынуждены решать это с другим русским правительством, которое существует на территории ДВР.

— На территории ДВР существует одно правительство,— говорит Петров.

— Слепота — досадная болезнь,— улыбается японец,— в том случае, если у человека действительно нет глаз. Но если у него есть глаза, обладающие даром видеть, а он не хочет видеть или, еще хуже, боится видеть, тогда это уже не болезнь, а крах. Объявляется перерыв в работе высокой конференции.

НЕЙТРАЛЬНАЯ ЗОНА МЕЖДУ ДВР И ЯПОНСКИМИ ВОЙСКАМИ

Она была установлена, эта тридцатикилометровая нейтральная зона по реке Бикину, как некая прокладка между красными войсками и оккупационной армией Японии вкупе с белыми корпусами меркулова-семеновцев. Здесь, в нейтральной зоне, было пусто и тихо, хотя земля была вспахана и коровы мычали на выгонах. Но тихо было потому, что люди жили в неведении о завтрашнем дне. «Нейтральная зона» — слова-то иностранные, мужику их не понять, а не может в наши дни так быть, чтоб долго мир был и кровь не лилась. Вот и затаились тут люди — все ждали: когда же? И дождались.

Через день после объявления перерыва в работе дайренской конференции японские пограничники были убраны со своих постов, проволочные заграждения местами сняты, а ночью через нейтральную зону пошла белая армия — бесчисленными колоннами пехоты, конницей, батареями, бронепоездами.

Дороги, схваченные первым осенним ледком, гулки, луна светит — окаянная, зыбкая, близкая к земле. Холодно. Пар над колоннами курится белыми облачками. А крестьяне стоят, замерев, возле своих домов. Торопится белая армия, с марша на бег переходит. Надо за ночь пройти нейтральную зону, а под утро ударить по красным так, чтобы покатились без остановки — к Москве.

И едва лишь засветлело на востоке, едва лишь алая полоска рассвета зажгла синим отсветом кроны деревьев, как меркуловская кавалерия с лихим улюлюканьем ринулась на красные позиции.

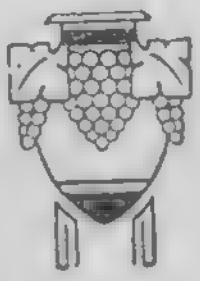
Никто в Чите и Хабаровске не ожидал такой откровенной провокации. Был договор, по которому Япония торжественно гарантировала безопасность границы по нейтральной зоне.

Никто пока еще не знал здесь, что сразу же после объявления перерыва на конференции в Дайрене японские дипломаты, связавшись по прямому проводу с Токио, потребовали немедленного проведения в жизнь той акции, которая была заранее, еще прошлой весной, запланирована в генштабе. Генерал Тачибана, получив той же ночью директивы из Токио, посетил премьер-министра Меркулова, вручил ему памятную записку японского правительства, договор о займе в два миллиона иен на расширение торговли и в мягкой, но весьма определенной форме дал понять, что выступление белых войск должно произойти в течение ближайших суток. Меркулов, которого сдерживали от выступления сами же японцы, рассчитывая «уломать» ДВР мирным путем в Дайрене, был рад этому ночному разговору, памятной записке, составленной в весьма уважительных тонах, и

договору о займе. Меркулов сам позвонил к генералу Молчанову, главнокомандующему белой армией, разбудил его, извинился за то, что пришлось поднять с постели, и попросил незамедлительно приехать в резиденцию правительства. Молчанов спросонья никак не мог найти левый сапог, долго лазал по полу и глядел под кроватью, пока наконец не обнаружил сапог в прихожей, под зеркалом. Он ходил по квартире, зевал, тянулся и в темноте искал свои вещи: раздеваясь, генерал обычно расхаживал по квартире и потом никогда не помнил, где и что оставил с вечера. Одевшись, Молчанов подставил голову под холодную воду, только тогда наконец очухался и, присев на краешек ванны, понял: неспроста этот ночной звонок. По-видимому, началось. Да, вероятно, это долгожданное начало.

И, вооруженные японцами, белые войска, объявив себя «белоповстанческими соединениями»,— а Япония за «повстанцев» никакой ответственности не несет, с нее в этом случае взятки гладки — на рассвете ринулись на красных. И невдомек было русским мужикам и дворянам, шедшим на смерть во имя «освобождения» Кремля от большевиков, что истинная цель их выступления была куда как проще: оказать вооруженное давление на ДВР и, таким образом, гарантировать японским гражданам наибольшее благоприятствование в промышленности и торговле, позволить продажу русской земли и плавание японцам по русским рекам, то есть политические и экономические требования подтверждались военной акцией. Ибо верно считается: война — это есть продолжение политики иными средствами.

Неожиданность — первая гарантия успеха. Войска ДВР, застигнутые врасплох белыми, дрогнули и покатились назад. Началась паника. Белые наступали стремительно и жестоко. В Токио праздновали победы. Во Владивостоке начались балы и маскарады. В Чите и Хабаровске было введено осадное положение.



ХАБАРОВСК. УТРО

Слышен тяжелый грохот артиллерийской канонады. Мелко дрожат стекла в окнах постышевской квартиры. По дороге бесконечной лентой бредут на запад беженцы.

Павел Петрович, осунувшийся, обросший рыжей щетиной, стоит у окна и молча курит. Жена его собирает нехитрый комиссарский скарб: узелок и чемоданишко с обитыми углами и без замка. В коляске спит младший сын Постышева. Тот, что постарше, тихонько сидит в углу, возле брата, играя в войну. Он собирает из деревянных палочек огромную пушку. А собрав, целится в спящего братишку, рычит: «Б-ба-бах», потом падает навзничь, изображая раненого, морщась от боли, шепчет тоненьким мальчишеским голоском: «Вперед, вперед! Красные орлы!» — и закрывает глаза — вроде бы «убит». А после начинает цокать — это кавалерия несется, вот все ближе и все ближе она, вот уже не убитый командир, а лихой конник, вот он вскакивает с пола и кричит: «Даешь!»

— Я тебе сейчас шлепка дам,— тихо говорит мать,— разбудишь брата. Дай поспать напоследок.

В дверь легонько стучатся.

— Войдите.

— Доброе утро,— говорит шофер Ухалов.— Я прибыл.

— Мы на машине?! — счастливо вопит сын комиссара, и глазенки у него загораются.

— Успокойся,— просит мать,— дай поспать маленькому.

— Садитесь,— говорит Постышев Ухалову,— сейчас попьем чайку на дорогу.

— Благодарствуйте, Павел Петрович, я уже отпил дома.

— Чай — не водка, можно и повторить.

— Так ведь водку — ее тоже не грех повторить.

— Резонно. Садитесь, садитесь.

Ухалов опускается на краешек стула и начинает сворачивать цигарку. Жена Павла Петровича разливает чай из самовара в большие пиалы. Возле каждой пиалы — кусочек сахара и ломоть хлеба. Пьют молча. Только самовар свистит по-домашнему, уютно и спокойно. А вдали — канонада. И на дороге за окнами — людской плач и конское ржанье.

— Ну, я пойду к машине, прогрею,— говорит Ухалов,— спасибо за угощенье.

— На здоровье.

Он уходит. Сынишка забирается под кровать, и оттуда слышны его команды, грохот «выстрелов» и цокот далеких эскадронов, несущихся на врагов. За столом остаются комиссар и его жена. Они долго смотрят друг на друга, молчат, только иногда Постышев осторожно трогает руку жены.

— Дико,— говорит Постышев,— сейчас по всем людским законам мы должны говорить с тобой...

— А нам не надо, потому что все понятно.

— Да.

— Ты сейчас вспоминаешь восемнадцатый год, когда мы шли через сопки от Калмыкова.

— Я не все вспоминаю. Я вспоминаю малинник, где мы спали, и еще как деревья над нами шумели. Вроде бы море рядом слышалось.

— Ты тогда читал Гейне.

— Я помню. «Через лес широкий, зеленью одетый, всадник быстрый скачет, бешено несется...»

— А помнишь, как орал малыш, когда мы проходили пикеты белых!

— Да. У него тогда был сиплый басина.

Сын прерывает возню под кроватью и оттуда кричит:

— Какой же я сиплый?!

— Чудак,— улыбается грустно мать,— это же лучший комплимент для настоящего мужчины.

— А комплимент — это что такое?

— Вроде подарка.

— Как рыба?

— Какая?

— Которую едят.

— В общем, верно,— говорит отец,— очень точная расшифровка слову комплимент.

— Помнишь, когда мы заблудились в тайге, ты говорил, что нам надо быть всегда вместе, потому что в старости будет мучительно жаль каждую минуту, проведенную врозь.

— Да.

— Ты не думай, я говорю это без умысла.

— Я знаю.

— Я бы мечтала остаться рядом с тобой до конца.

— Знаю.

— У тебя на висках морщинки, как у старухи, комиссар.

— Спасибо.

— Обиделся?

— А ты как думаешь?..

Стекла начинают дрожать еще сильней и мельче. Жена комиссара поднимает из кроватки маленького, одевает его, укутывает шалью и протягивает отцу. Постышев целует сына в лоб, в щеки, потом берет

на руки старшего, целует его и медленно играет с ним в «носы», закрыв глаза и сморщив лицо.

Ребенку что эвакуация, что победа — все едино, если предстоит поездка на машине. Сын прощается с отцом, играет с ним в «носики», а сам поглядывает в окно на Ухалова, который возится возле автомобиля.

— Пап,— не выдерживает мальчик,— мы далеко поедем на машине?

— Ты пойдешь пешком.

— Почему? Машина ведь наша.

— Это тебе кто сказал?

— Я так думаю.

— Это машина не наша, сын, и, если ты станешь считать ее нашей, тогда, собственно, зря мы всю эту кашу заваривали.

— Какую кашу?

Постышев гладит сына по лицу и отвечает:

— Манную.

— А это какая такая манная?

— Белая она.

— Вкусная?

— Очень,— твердо отвечает Постышев.— Очень.

— Вкуснее хлеба?

— Вкуснее.

— В восемь раз?

— Да уж не меньше.

Смотрит Постышев на жену, а в глазах у нее слезы и подбородок дрожит.

Постышев вывел своих на улицу: крики, конское ржанье, детский плач. Бегут люди от белых армий на запад, прижимают матери к груди детей, волокут за собой узлы по стылой дороге. В повозках везут раненых, те стонут тихо, а лица у них серые от боли и страха.

Попрощался Павел Петрович со своими сурово, сдержанно, по-мужичьи. Но долго стоял на обочине дороги и глядел, как жена с детьми, подталкиваемая со всех сторон беженцами, шла все дальше и дальше — не оборачиваясь, чтобы не мучать его, комиссарово, сердце. А сын оборачивался и ручонкой махал и варежку каждый раз снимал — боялся, не увидит отец, не поймет, что это он так прощается.

Скрылись из глаз. Нет их. Все.

Постышев садится в машину.

— На фронт,— говорит он,— и поднажмите.

Навстречу беженцам, которых все меньше и меньше на дороге, несется громадный «линкольн» комиссара фронта. Вот уж и совсем опустела дорога. Ухалов жмет на акселератор, мотор натружение ревет, дорога кружит, взбираясь на сопку. На самой вершине автомобиль зачихал, зафыркал, из выхлопной трубы чуфыркнуло синим дымом, сухо выстрелило, словно из пушки холостым зарядом, и мотор захлебнулся. Ухалов рванул на себя тормоз, задние колеса повело по льду, машину стало заносить к обрыву. Нет, вывернул все-таки Ухалов руль, поставил машину поперек дороги, а сам от баранки не может оторваться, будто приклеился к ней.

— Струхнул? — спрашивает Постышев.

— По́том аж обдало.

— Ничего.

— Я тоже полагаю: ничего. Только одно плохо, без охраны ездим.

— Воевать надо охране, а не баклуши на заднем сиденье бить. Захотят угрохать, так в окно стрельнут — и со святыми упокой. Одна теория в охране-то, Ухалов...

— Тоже резон, однако нервам с третьим человеком спокойнее.

Постышев открывает дверцу, вылезает на дорогу. Достает из-под шинели бинокль, смотрит на восток. И видит он бегущую армию — без винтовок, расхлыстанную, мужицкую армию. Сколько видно вперед — бегут по дороге люди, лавиной катят, поди их останови.

Постышев напрямки, через мелкий кустарник, особенно колючий зимой, через ельник, который хлещет его по лицу, несется вниз, срезая извивы дороги. Он бежит навстречу отступающей армии.

— Стой, Пал Петрович! — кричит Ухалов.— Погоди, Пал Петрович!

Постышев не отвечает ему. Он, видимо, и не слышит сейчас ухаловского голоса. Он сейчас ничего вообще не слышит. У него перед глазами перекошенные страхом солдатские лица.

Постышев спускается вниз, на равнину, и двигается навстречу несущейся на него человеческой лавине.

Постышев врезается в бегущую массу голодных, потных и насмерть перепуганных людей. Он кричит, но голос его не слышен, потому что его заглушает хриплое дыхание, шарканье лаптей и сапог по мерзлой дороге — то однообразное и монотонное молчание, которое иной раз пострашней ора и визга. Постышев на мгновение останавливается, лавина сминает его, подхватывает, разворачивает лицом на запад и несет с собой вместе. Это — как волна в шторм.

Ты ощущаешь и силу свою, и ловкость, и умение плыть, а ничего не можешь поделать, чувствуешь, как тебя сминает, переворачивает и швыряет, словно щепку.

Постышева несет людской поток, несет на запад — безжалостно и мощно. С огромным трудом, продолжая что-то кричать, он вырывается на обочину. Он стоит и смотрит на эту молчаливую людскую массу. Лицо его все прыгает от гнева. А гнев — от яростной жалости к этим людям, от злобы на себя, от ненависти к тем, кто так гонит бойцов.

Постышев медленно достает маузер, стреляет три раза подряд в воздух, а потом поворачивает дуло на бегущих. От выстрелов ближайшие к комиссару дрогнули, в лицах их появляется что-то живое, человеческое.

— Кто сделает шаг, пристрелю! — тонким голосом, враз сорвавшимся и осевшим, длинно кричит комиссар.— Считаю до трех. Раз! Два!

А сзади напирают. Но Постышев выходит на дорогу, останавливается перед замеревшими на мгновение первыми рядами, стоит, широко расставив ноги.

— Три! — еще страшней и жалобнее досчитывает он.

— Там конница белых,— кричат ему,— все рубает.

— Ты ее видел?!

— Я слыхал, как они орали.

— Ты ее видел?!

— Слышал.

— Иди сюда.

— Застрелишь?

— Иди сюда!

К Постышеву выходит молоденький паренек.

— На,— говорит Постышев и протягивает ему свой маузер,— если через пять минут здесь появится конница белых — стреляй мне в лоб.

Постышев достает часы, протягивает их другому бойцу, что стоит поближе, и просит:

— Засеки время.

Парень поднимает маузер и целит Постышеву в лоб.

— Ты кто? — спрашивает он.

— Большевик я. Большевик,— отвечает Павел Петрович.— А ты с курком не балуй, ахнешь — вздернут тебя на суку за комиссара фронта.

— Постышев, Постышев,— пошел шепоток по рядам.— Постышева кончают. Постышев...

Тихо делается кругом и пусто. Только каждый в себе слышит, как часы тикают. Это перед смертью каждый слышит, даже если часов сроду не имел.

— Трусы, жалкие трусы,— гневно и очень тихо говорит Постышев, глядя в черное рыло маузера, нацеленное ему в лоб.— Испугались врага, которого даже не видели в глаза. Трусы...

— Так их вона сколь прет, гражданин комиссар. Ужасть как пушками лупцуют.

— Ты живой, ты молчи,— говорит Постышев.— Мертвые, которых ты, сбежав, предал, сейчас могут говорить. А ты стой и жди, когда пройдут пять минут, и смотри, как твоему комиссару целят в лоб. И молчи.

— На,— говорит парень, которому Постышев передал маузер,— на,— говорит он соседу,— не могу я.

— Бежать мог?! — орет Постышев.— Так вот ты смоги и целить мне в лоб. Смоги! Трус!

— Пять минут прошло,— говорит боец.— Слышь, ребят, цокает. Не иначе как копыта... Конница это, гражданин комиссар, их конница.

— Меня вздернут на первом суку, а я стою и не боюсь, а ты бросил винтовку, дрожишь и лицом мелеешь? Эх, вы, смотреть на вас гадостно...

ДАЙРЕН

Поздний вечер. Вокзал, оцепленный полицией. На перроне состав, уходящий на Харбин. Последний вагон, классный, прицеплен специально для военмина и предвоенсовета Блюхера, который срочно уезжает в Читу. Положение катастрофическое, и Совмин отозвал Василия Константиновича в армию. Провожать его пришли Петров и генерал Танака — дипломатический церемониал прежде всего. Да и как не покуражиться над контрагентом в переговорах: армия его разгромлена, отступает, а правительство, надо думать, в ближайшее время удовлетворит все требования Японии. Нет ничего приятнее для военачальника, как вид агонизирующего противника. Танака по-

этому необыкновенно вежлив с Блюхером. Он держит его под руку, приветливо улыбается и на прощание говорит:

— Мой дорогой министр! Я желаю вам от всего сердца счастливо добраться до Читы, но боюсь — вы опоздаете...

— Ничего,— усмехается Блюхер,— до Читы я успею, а переговоры мне с вами придется, видно, заканчивать во Владивостоке.

Ответ быстро переводят Танака. Тот сосредоточенно слушает, мило улыбается. Просит:

— Что еще веселого скажет господин русский министр?

Ревет паровозный гудок, и только это спасает переводчика от мучений при дословном переводе того, что выпалил Блюхер. Петров отворачивается, чтобы не было видно его усмешки. Обнимает и целует Блюхера. Василий Константинович вскакивает на подножку, и поезд начинает набирать скорость.

По перрону, пропущенный полицией, бежит человек с чемоданчиком. Он вскакивает в предпоследний вагон и чьи-то заботливые руки поддерживают его на площадке. Фонарь высвечивает лицо. И видно, что это князь Юрий Мордвинов, специальный агент Гиацинтова.

ВЛАДИВОСТОК. РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

Всю ночь Ванюшин с Исаевым просидели у телеграфной ленты. Они пили крепкий, заваренный Ванюшиным кофе и молча читали восторженные отклики со всех концов земли на **«БЕСПОДОБНУЮ ПО МУЖЕСТВУ ОПЕРАЦИЮ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ».** Вечерние парижские газеты дали под огромными шапками свои комментарии к событиям в России: **«ВЕЛИЧИЕ ПОБЕДЫ — В СТРЕМИТЕЛЬНОСТИ НАСТУПЛЕНИЯ!», «СМЕРТЬ ИЛИ КРЕМЛЬ!» — ЛОЗУНГ ГЕРОЕВ БЕЛОЙ ГВАРДИИ», «РЕАЛЬНЫЕ ШАНСЫ НА КРЕМЛЬ».** Лондонские газеты, более трезвые в оценках, также очень пространно комментировали события в России, но перспектив пока не намечали. Молчали только газеты двух великих держав: Японии и США. Япония делала вид, что все происходящее за Владивостоком не представляет никакого интереса для Токио и является сугубо внутренним делом русских. Вашингтон

получил шифровку из «Владиво-ньюс», от майора Кларка, руководителя разведцентра, с просьбой дать сдержанный комментарий только в утренние газеты, ибо ситуация пока еще не совсем ясна, хотя успех Меркуловых очевиден. Майор Кларк справедливо полагал, что вся эта операция бело-японцев является не столько общесоюзническим делом по освобождению России из-под большевистского ига, сколько средством Токио оказать нажим на Читу и Москву, имея в виду Дайренские переговоры. Хотя переговоры велись при закрытых дверях, Кларку удалось узнать о некоторых пунктах японских требований, которые, будь они приняты Москвой и Читой, противоречили бы американским интересам на Дальнем Востоке и утвердили бы здесь гегемоном Японию. Причем это было бы санкционировано как большевиками, прими они дайренские условия, так и демократическим меркуловским правительством, которое в конечном счете к идее вольного города Владивостока относилось как к единственно возможному шансу остаться у власти, признанной миром. Расчет японцев, таким образом, был весьма перспективен. Они учитывали возможность российских парадоксов. То, что невозможно нигде в мире, возможно в России: опыт последних пяти лет доказывал это со всей очевидностью.

Молчание Вашингтона было огорчительным для Меркуловых. Поэтому Ванюшин и просидел всю ночь в редакции, ожидая возможных новостей из-за океана. Но Америка молчала, если не считать сухих заметок, набранных петитом в разделе хроники.

— Максим,— сказал Ванюшин, растирая своей большой, доброй пятерней мясистое лицо, отекшее за ночь от курева и кофе,— вы никогда не думали о гиацинтовском хамском утверждении, что, мол, в России истинную свободу возможно сохранить только с помощью нагайки и штыка? Иначе разворуют ее, пропьют и продадут кому угодно.

Исаев закурил, вытянулся в кресле, хмыкнул.

— Что вы? — удивился Ванюшин.

— Ничего. Вспомнил одного приятеля. Он как-то здорово сказал: «Я плохой друг, но зато я великолепный враг».

— Почем продаете афоризм?

— Хотите — подарю.

— К чему только вы это?

— Бог его знает. Память не подвластна разуму. Во всяком случае, мы еще не смогли найти тех центров, которые ее контролируют.

— Порой вы производите на меня странное впечатление.

— Именно?

— Мне кажется, что вы утомлены какой-то затаенной болезнью. Иногда в вас проглядывает жестокость.

— Вероятно.

— Отчего так?

— Думаю, Николай Иванович. Просто оттого, что думаю. Знаете, почему злюсь? Потому что я пришел к выводу, что нигде так не хорошо ошибающимся, как у нас. У нас заботятся об ошибающихся, им помогают, о них пекутся. И порой мне становится завидно. Вот вам разве не хочется поошибаться? Ну хоть самую малость...

— Еще как...

— Так что же?

— Всем можно ошибаться, только вот прессе в наши дни ошибаться нельзя. Курс должен быть точным. Либо — либо. Тут надо трезво рассуждать, без ошибок. Мне неприятен большевизм с его утилитарностью и тупой верой в свою истинность и непогрешимость. Я понял, как можно с ним бороться, потому что к любому явлению я отношусь непредвзято и с интересом. Я изучил их, я их понял.

— Как же надо с ними драться?

— Очень просто. Чтобы помешать хорошему делу, которое они затевают, надо начать это их новое дело хвалить. Они все время жонглируют словами Бебеля: «Почему тебя хвалят враги, старый Бебель, подумай, какую глупость ты совершил». Они ведь наивные враги христианства. На самом-то деле они большие христиане, чем папа римский, потому что у них все зиждется на вере, привнесенной вождями, их пророками. Вот вы заметили, как я восторгаюсь в редакционных статьях введением нэпа? Уверяю вас, кое-кто у них завопит: «Если злейший враг Советов Ванюшин хвалит нэп, надо разобраться, в чем тут дело!» Поверьте мне — не сейчас, так через год, два, но они все равно схватятся за голову. А глупости, которые они весьма часто у себя говорят, я браню. И они думают: «Если бешеный пес международного капитала Ванюшин ругает нас, значит, мы на правильном пути!»

— Занятно...

— Это истинно, Максим, это безошибочно...

— Пошли побродим, Николай Иванович?

— Может быть, что-нибудь все же придет из Америки. Идите, дружище, спасибо вам за ночь.

— А, ерунда. Мне очень интересно с вами, хотя я ваш противник...

— В чем?

— В системе мышления.

— Все это суета сует и зряшняя суета — иногда думается мне.

И так мне становится скучно, Максим, что страшно смотреть вокруг себя.

Исаев засмеялся, пристально и тяжело глядя на Ванюшина.

— Что вы?

— А так... Просто мне иногда кажется, что вы в конце концов пошлете все к черту и уедете в Москву.

— Куда?!

— В Москву. К вашим красным приятелям.

— Идите-ка лучше прогуляйтесь, Максим.

— Всего хорошего, шеф.

— До свидания, милый. Спасибо.

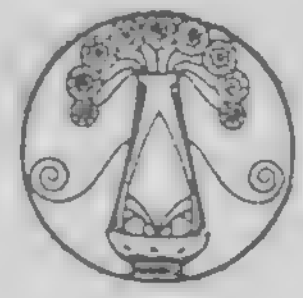
Когда Исаев вернулся домой, там сидел Чен.

— Максим,— шепотом сказал он,— я не мог ждать дня нашей встречи в баре, потому что в порт пришли три японских парохода со снарядами и патронами. Там же танки и тридцать новеньких орудий. Завтра это все должно уйти на фронт. Если они получат танки и пустят их против наших, будет совсем скверно. Поэтому прости, но я не мог не прийти к тебе с этим...

— Когда начинается разгрузка?

— Сегодня днем. С палубы — прямо в вагоны.

— Хорошо. Встретимся у порта в двенадцать. Повяжи самый модный галстук, я буду с дамой.



КВЖД. ПОЕЗД ДАЙРЕН — ЧИТА

Раскачиваясь на ходу, несется состав по желтой ночной равнине. Голая, как блюдце, земля лежит вокруг. Только иногда серую жижу ночи прорежет черная тень дерева — с расплющенной кроной, изогнутая, сучкастая, словно злая колдунья в детских рисунках.

Блюхер стоял у окна и смотрел на проносящуюся мимо однообразную и унылую землю, мурлыкал тихую песню и внимательно слушал, что выбивало на стыках. Это у него было с детства: он всегда напря-

женно прислушивался к бормотанью колес на стыках. Вдруг услыхал глухой взрыв. Потянуло паленым.

Блюхер, не оборачиваясь, спросил:

— Что там такое?

— Непонятно, товарищ министр.

— Останавливаемся,— сказал Блюхер.— Посмотрите по расписанию, какая станция, да, пожалуй, поужинаем — и спать.

— Товарищ министр,— ответили ему из темноты купе,— тут никакой станции по расписанию не предусмотрено.

Блюхер рванул на себя стекло. Заскрипев, оно подалось, опустилось вниз — будто ухнуло в прорубь. Главком высунулся по пояс и увидел далеко впереди два красных глаза: это уходил поезд к Чите. А их классный вагон, повизгивая колесами по белым, заиндевелым рельсам, медленно катился под гору. Потом остановился. Стало тихо-тихо — и в вагоне и вокруг него. Только иногда ветер налетал порывами — свистнет, покружит и ляжет на землю, будто котенок, который играет сам с собой.

— Сколько у нас патронов? — спросил Блюхер.

— К пулемету три ленты.

— Все?

— И еще по барабану к револьверам.

— Не густо.

— Так ведь охранная грамота от японцев...

Блюхер оглянулся. Всего с ним ехало пять человек: проводники, порученец и два охранника, присланные из Читы с вагоном.

— Дрянь дело,— сказал Василий Константинович.— Лампы потушите.

Лампы, захлопав синими язычками, потухли. Стало непроглядно темно.

— Хорошо, луны нет,— сказал Блюхер,— а то мы просто как мишень.

Он набросил пальто и, открыв дверь вагона, спрыгнул на промерзшую землю. Низкие облака неслись над землей — клочковато и зримо. Далеко на юге, там, где поднялась луна, тускло белело, словно за облаками был спрятан фонарь с плохим фитилем.

Блюхер обошел вагон. Вторая колея уходила вдаль двумя белыми паутинками.

— Ну-ка, расписание поглядите,— попросил Блюхер,— когда встречный поезд должен идти?

— Через полтора часа.

— Полтора, говорите? Тогда еще, может, выцарапаемся. Давайте

с пулеметами вниз, займем круговую оборону. Папки с документами положите рядом с керосином: если белых будет много и долго не удержимся — жгите. Лом у нас есть?

— Есть.

— Один?

— Два,— ответили проводники,— один большой, другой поменьше.

— Это хорошо. Волоките сюда.

Блюхер подошел к рельсу, подцепил его ломом и, напрягшись так, что задрожала шея, стал выламывать, отдирать его от шпалы.

— А ну помогай! — попросил он.— Подхватывай вторым! Мы им тут всю музыку разворотим, собакам. Встречный поезд остановим, пусть при свидетелях убивают.

Несутся по темной степи всадники, получившие световой морзянкой из состава сигнал от Мордвинова. Несутся во весь опор, только вот беда — луны нет, ни зги вокруг не видно. Хотя чего торопиться — отсюда никуда Блюхеру не уйти.

И невдомек Василию Константиновичу, что именно в эти минуты телеграф передает во Владивосток, Гиацинтову, шифровку от Мордвинова, который извещает, что с Блюхером покончено.

ПОЛТАВСКАЯ, 3

Гиацинтов потер руки, улыбнулся. Снял трубку телефона и назвал номер Ванюшина. Никто не ответил. Он перезвонил в типографию, и ему сказали, что Николай Иванович только-только ушел.

— А с кем бы мне побеседовать об одной очень любопытной новости? — спросил Гиацинтов.— Вы — вечерняя газета, вам интересно быть первыми, вставить фитиль остальным.

— А это кто говорит?

— Из английского консульства,— ответил Гиацинтов.

Голос на другом конце провода подобрел. «Проклятая холопья привычка — перед иностранцем, самым паршивым, шапку драть,—

подумал полковник.— Умница Щедрин, эк ведь писал: *«иностранцу — хорошо, он и дома у себя — иностранец»*.

— Если вы из консульства, то свяжитесь с господином Исаевым, это наш ведущий репортер, вот его нумер...

Гиацинтов весело сказал Исаеву:

— Закажите ужин за ту новость, которую я даю вам первому, Максим Максимыч.

— Это кто?

— Гиацинтов.

— Кирилл Николаевич! Здравствуйте, полковник. Считайте ужин заказанным. Что за новость?

— Можете давать в номер: сегодня ночью разгневанным народом убит военный министр ДВР Блюхер.

— Где?

— На пути из Дайрена в Читу.

— Означает ли это разрыв русско-японских переговоров в Дайрене?

— Бесспорно. Время разговоров кончилось, пора действовать. Красные потребуют санкции от японцев. Японцы откажут. И все. Таким образом, наш успех на фронте подстрахован, теперь красные даже пардону не смогут запросить. Когда угощаете, Исаев?

— В десять, в «Версале».

— До свиданья.

— До свиданья, полковник.

Исаев закурил, подошел к окну, распахнул створки. Пахнуло океаном. Было слышно, как зло кричали чайки над заливом. Исаев неторопливо расхаживал по комнате, как-то удивленно поглядывая на вещи, заботливо расставленные вокруг. Остановившись возле громадной хрустальной вазы — работа тончайшая, поднесешь к свету — перелив огней в гранях и красно-синее, холодное разноцветье бликов,— взял эту вазу с полки, поднес к глазам, а потом с силой ахнул об пол. Высверкнуло синим под ногами. Исаев замычал что-то, по-детски беспомощно ударил себя кулаками по темени и сел на корточки. Он так сидел долго. Поднявшись, потер лицо ладонями — докрасна, что есть силы, снял трубку и назвал номер:

— Редакция? Да, я, ставьте в полосу: как нам сообщили из официальных источников, сегодня ночью, на пути следования из Дайрена в Читу, бандитами убит военачальник красных войск легендарный Блюхер. И дайте шапку:

ДАЙРЕН-КОНЧАЙЛО!

Что? Вам не понятно? «Кончайло» — это значит кончается. В переводе с хорошего русского на плохой японский. Рассердятся? Значит, они идиоты, если могут сердиться на смешное. Все. До свиданья, лапочка, я поближе к вечеру загляну.

РЕЗИДЕНЦИЯ МЕРКУЛОВА

— Ходят слухи о готовящемся убийстве арестованных большевиков на нашей границе,— сказал Фривейский Спиридону Дионисьевичу, забирая со стола папки со статистическими отчетами по торговле с Японией лесом.— Я не думаю, чтобы сейчас это было кстати. В дни побед следует стать великодушным.

— В этом деле надо тщательно разобраться,— ответил Меркулов своей обычной хитрованской оттоворочкой и прищурился на секретаря.— С чего это вы, миленький? Откуда эдакие веяния?

— Ваше превосходительство, позвольте считать наш разговор несостоявшимся.

— Э, перестаньте, умница моя. Не хитрите, давайте доводы, а то я, старик, несмышлен в высоких сферах. В них вы разбираетесь, молодые, а мы только присматриваем, чтоб общее все верным было, общее...

Фривейский улыбнулся.

— Логика упрямая вещь, Спиридон Дионисьевич. Она как цепь: ухватив одно кольцо, обязательно потащишь второе. Давайте откровенно: кому выгодно угрохать красных? Нам? Отнюдь. Нам выгодно вывести их на открытый судебный процесс, с адвокатами, экспертами и прессой. Народ не любит шпионов, хотя обожает разведчиков. Одно занятие, но разные определения — и пожалуйста: либо любовь народа, либо его ненависть. Так вот, на процессе мы сможем показать органическую связанность красного подполья с Читой. Умный судья

и злой прокурор докажут, что это есть чистой воды шпионаж. Налицо компрометация большевизма у нас здесь — хотя бы года на два. Это уже срок. А если же мы отправляем их без суда и на границе, на нашей границе, их рубят лихие молодцы Семенова — не знаю, не знаю... Думаю, общественность отнесется к этому, как к дурно пахнущему экстремистскому жесту. Нам придется тогда молчать, а те станут вопить. Да и союзнички наверняка будут нос воротить — они весьма щепетильны, деликатно относятся к вопросу, каким образом лишить жизни политического противника.

— Это все?

— В общих чертах.

— Если бы я не знал вас, миленький, как верного сотрудника, я бы решил, что вы просто поете с чужого голоса,— уставясь в стол, скрипуче и монотонно заговорил Меркулов.— Но я знаю вас. Следовательно, я отношу всю эту наивную тираду за счет вашей молодости. Запомните раз и навсегда и, если вам суждена карьера политика, никогда не изменяйте правилу, которое я вам открою: политический противник перестает быть реальной, ежесекундной вам угрозой лишь с того момента, как он становится трупом. Запомните: ничто так легко не оправдывается в политике и ничто так быстро не забывается толпой, как политическое убийство. Наоборот, оно, пусть даже самое разнузданное, с помощью прессы, прокуратуры и исторической науки может стать вашим триумфом. Вы заработаете на нем политический и моральный капитал, ибо вы сможете приписать молчащему противнику все! Все, за что в ином случае вам пришлось бы отвечать самому. Что за грязные слухи? Кто вам сказал, что семеновцы должны замучить красных комиссаров на границе? Откуда эти сведения?

Фривейский сидел опустив голову и хрустел потными пальцами.

— Это носится в воздухе,— ответил он,— я слышал от нескольких человек.

— Хорошо, я перепроверю у Гиацинтова, откуда и через кого могли просочиться столь отвратительные клеветнические слухи.

— Не надо перепроверять,— так же тихо ответил Фривейский.

Он поразился сейчас, как точно Исаев предвидел все течение разговора. Исаев говорил точно так, как будто он сам уже обсуждал с премьером этот вопрос и выслушал все, что сейчас Спиридон Дионисьевич повторяет скрипучим голосом.

— Почему? — удивился премьер.

— Не надо,— повторил Фривейский,— я просто не хотел вас огорчать: по городу ходит листовочка, напечатанная в подполье про этот план с высылкой через семеновское Гродеково.

Фривейский положил на стол листовку и подтолкнул ее премьеру мизинцем. Спиридон Дионисьевич взял листовку, посмотрел ее со всех сторон, покачал головой.

— Скажите на милость,— сказал он,— глицерину в аптеках на детские компрессы не сыщешь, а тут, изволите ли видеть, для их печатных мерзостей где-то сыскивается и глицерин.

Меркулов прочитал листовку, сложил ее пополам и в задумчивости вернул Фривейскому. Приложил указательный палец к губам и, запрокинув голову, уставился в потолок. Так продолжалось не меньше минуты. Это означало, что премьер думает, советуясь с богом. К киоту в такие минуты он не ходил, чтобы не перебивать течение мысли.

— Вы умница,— сказал он после долгого молчания.— Миленький мой, вы умница. Спасибо вам, господь вам поможет во всем. Нуте-ка, соедините меня с Кириллом Николаевичем.

Когда Фривейский вызвал номер контрразведки, премьер снял трубку и сказал:

— Полковник, значит, где Блюхер-то сбрыкнулся? Не на нашей, а на китайской территории? Господи, господи, где ж на земле спокойные есть веси? Кирилл Николаевич, вы, когда станете очищать атмосферу в нашем государстве и ежели решите красных выдворить с нашей территории, вы их до границы пустите с конвоем, чтобы на границе их, спаси бог, семеновские головорезы не порубали со свойственной им экспансивностью. Пусть красные с богом едут к себе в Читу, пусть! Мы никого в подвалах не расстреливаем, подобно большевикам. Пускай они себе спокойно через Китай едут в ДВР. И поскорее их отправляйте, поскорее,— настойчиво повторил Спиридон Дионисьевич, и, судя по тому как он сдержанно улыбнулся, Фривейский догадался, что Гиацинтов понял замысел старика куда как точно: казнь красных подпольщиков надо организовать на чужой территории, благо в Харбине белой эмиграции хоть пруд пруди. За небольшую плату — безработица там — они кого угодно кончат. Так что с Меркулова взятки гладки: он демократ, он не уничтожает своих политических противников. Он высылает их, он их не боится, пусть себе живут. А если их постреляли за границей — что ж, «спаси господи их души, тут нашего злого умысла нет, мы в дела иностранных государств не вмешиваемся».

Фривейский поджал губы: старик нашел выход, о котором Исаев ему ничего не говорил. Видимо, он тоже не предполагал, что такой выход возможен.

И стало до того тоскливо секретарю правительства, особенно когда

он вспомнил про назначенную на сегодня встречу с Исаевым, что даже чуть слезы не навернулись.

«Коготок увяз — всей птичке пропасть»,— слышалась ему дурацкая и безысходная поговорка. Она приснилась ему через несколько дней после первого разговора с Исаевым. И еще ему приснился священник, который шел по горной дороге в китайском халате, а крест нес, как цирковой жонглер, на голове.

«Глупость какая,— продолжал думать Фривейский, вернувшись в свой кабинет, отделанный мореным дубом,— и что меня дернуло пойти с этим типом на бега? Какого черта я пошел с ним на бега? — неотвязно думал он.— И вообще, почему я должен выполнять его просьбы? В конце концов, мне вера, а он писака и бумагомаратель. Завтра же я пойду к Гиацинтову и обо всем с ним поговорю. Завтра же,— вдруг отчетливо и ясно понял он.— Все гениальное — просто! Почему я не сделал этого вчера или позавчера? А если вскоре из Европы прибудут врангелевцы? Там есть его люди из Монархического Совета — это уж наверняка. Неизвестно, кто кого одолеет, Меркулов — Врангеля или наоборот...»

Фривейский открыл нижнюю тумбу письменного стола, достал флягу со спиртом и несколько раз жадно глотнул невесомой влаги. Обожгло, резануло, высветлило.

«А, черт с ним в конце концов,— подумал он.— Надо только убедить себя, что я делаю это во имя великих идеалов монархизма. В конце концов Врангель и Монархический Совет — такие же патриоты, как и Меркулов. И потом — подлость можно оправдать верой. Надо заставить себя поверить — и все».

Фривейский глотнул еще, помазал враз обсохшие губы вазелином и вызвал редакционный номер Исаева.

— Когда он появится,— сказал секретарь правительства,— пусть позвонит... Он знает, куда... Передайте, приятель звонил.

«Да,— твердо решил Фривейский.— Лучше врать, веруя, чем терпеть молча. Так и будет. Смена ориентации — назовем для себя все происшедшее. Это для себя благородно звучит, в это веруешь. Так? Так. Все».

После часа работы, когда взмокли спины у всех шестерых, рельсы на участке в три метра были разворочены.

— Давай сюда матрацы из салона и бидоны с керосином,— сказал Блюхер.

— Сейчас зажжем?

— Это кто предлагает?

— Я.

— Проводник?

— Охранник, Василий Константинович.

— Тебе воздух охранять, Петя.

— Я Поликарп, товарищ министр.

Блюхер хмыкнул и проворчал:

— Тем хуже для тебя, Поликарп. Они ж сейчас только и ждут, чтоб мы засветились.

— Кто?

— Белые,— ответил Поликарпу шепотом из темноты второй охранник, залегший за пулеметом.— Ни зги не видать, вот они нас и шуруют — не понял, что ль?

Люди залезли под вагон, замерли. Ветер скулил жалобно, бил студенистыми песчинками в лица. Тучи опустились еще ниже к земле, и тусклый сероватый овал в том месте, где была луна, сейчас вовсе исчез.

Внезапно ветер стих. Блюхер прислушался: далеко-далеко на востоке по гулкой земле цокали копыта многих коней. Поликарп быстро защелкал затвором. Блюхер нашел его руку, сжал у запястья: мол, тихо! — и так держал несколько мгновений. Цоканье копыт все ближе, коней много, только голосов не слыхать. Земля чуть не дрожит, кони идут прямо на вагон, а Блюхер шипит:

— Не стрелять!

И руку не отпускает у охранника Поликарпа: горяч, дуралей, сразу палить начнет.

А кони-то рядом, дыхание их слышно. Вот-вот вырастут из ночи. И вдруг заливистое ржанье резануло ночь, выросли кони из ночи, совсем рядом с вагоном выросли их морды, согретые белым, игольчатым паром; антрацитово, с загадочной синевой, высветились громадные глаза. Табун стал. Кони появились, словно в сказке, чтобы так же внезапно исчезнуть, когда Поликарп ломким, испуганно-обиженным голосом выкрикнул:

— Эвона, паровоз искрит!

Кони — по-видимому, это были жеребцы, отбившиеся от большого табуна,— ринувшись в сторону, заглушили все звуки окрест, но, чем дальше в ночь уносился табун, тем явственнее доносилось отфыркиванье паровоза, поднимавшегося по пологому подъему в гору.

— Зажигай матрацы! — крикнул Блюхер.— Сейчас мы им, сукиным сынам, устроим сцену ревности!

Сотня семеновских казаков несется по промерзлой степи. Сотник повел своих людей дальней, более верной дорогой — в обход по степи, которая сейчас, во время морозов, стала как поле ипподрома. Но низкие тучи легли на землю, звезды затянуло поначалу серой, а потом непроглядно-черной мглой, и поэтому сотня проблуждала по ночной степи лишний час. Всадники рассчитывали увидеть хоть махонький огонек в вагоне Блюхера, но вокруг не видно ни зги.

— Вроде бы здесь сворачивать,— сказал сотник и махнул нагайкой на восток.— По этому распадку мы выйдем на них, если князь не спутал.

И он дал шенкеля своему коню. Тот захрипел, приподнялся в свечу и, захватив огромный кусок ночи передними ногами, маханул вперед — к востоку.

Когда столб пламени выстрелил в небо, машинист сразу врубил тормоз. Высунувшись в смотровое окошко, он увидел развороченное железнодорожное полотно. Два японских солдата, посаженные к машинисту для охраны от хунхузов, щелкнули затворами.

Как только состав остановился, из второго вагона выскочила группа японских военных с черными траурными повязками на рукавах и несколько человек с фотоаппаратами. Они стали щелкать магнием в ночи, снимая одинокий классный вагон красного командира.

— А где же тела?— спросили японцы русского переводчика.— Где тело доблестного русского военачальника, жестоко погубленного хунхузами?

— Здесь тело,— ответил Блюхер из-под вагона.

Они вылезли из-под вагона, не выпуская оружия из рук, и стали против изумленных и растерянных японцев — плечо в плечо, тесно, «морской стенкой».

— Рано похоронили,— продолжал Василий Константинович,— живучие мы.

— Господин министр,— забормотал японский офицер, медленно шагая навстречу Блюхеру с вытянутой — лодочкой — рукой,— мы

счастливы вашему радостному избавлению. Виновники подобного коварства будут непременно разысканы нами и сурово наказаны.

Из вагонов выскакивали пассажиры: японцы, русские дипломаты, американцы, члены английской миссии из Читы, три корреспондента Ассошиэйтед Пресс, возвращавшиеся из Москвы в Штаты. Сорвалась у Мордвинова операция! Ничего теперь не выйдет.

— Назад, мать твою за ногу и об угол,— сказал сотник, разглядывая в бинокль все происходившее у полотна.— У-у-у-у, собаки, выскочили. Назад! — повторил он и стеганул коня по плоскому крупу.

ФРОНТ ПОД ХАБАРОВСКОМ

Залегли красные цепи. Постышев, спрятавшись за бугорком, лежит вместе с молодым парнем, который только что целил ему в лоб из маузера.

Слышно, как где-то далеко, за сопками, не видный еще никому, посапывает паровоз.

— Бронепоезд это у них,— поясняет парень,— шарахают такими дурами, что ямина остается боле могилы.

— Ничего, наш «Жорес» вступит, он им даст.

— А где он? Хрен его сыщешь. Там моряки, они в тылу сидят и водку жрут с бабами.

— Это ты с чего взял?

— Люди говорят...

Из-за поворота выполз бронепоезд белых. Никого не опасаясь, остановился и, развернув короткие стволы орудий, рявкнул сразу со всех платформ.

Рвануло сплошной линией, рядом закричал раненый, люди еще глубже вжались в землю. Бронепоезд рявкнул второй раз.

— Вот, сволочи,— сказал Павел Петрович,— снарядов никак не жалеют.

Из вагонов стали выскакивать белые. Развернувшись длинной цепью, матерясь и крича что-то, они ринулись на красных. Постышев понял, что сейчас, если не поднять своих, если не встряхнуть людей слепой яростью рукопашного боя, сомнут белые, перебьют и разгонят бойцов, с таким трудом собранных.

Постышев поднялся, достал из-за пазухи свой маузер и тонко крикнул:

— Вперед, товарищи, за власть труда!

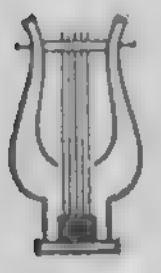
Не оглядываясь, побежал навстречу белым. Он бежал и был сейчас еще более нескладен. Длинные его ноги подвертывались, попадая в ямки и незаметные сейчас глазу трещины в мерзлой земле. Дыхание было сбивчивым и лицо побелело. Он бежал молча, судорожно сцепив зубы. Он не оглядывался назад, он смотрел только вперед, на стремительно приближавшуюся к нему белую цепь.

Когда он почувствовал, как кто-то толкнул его в спину, когда он ощутил молчание бегущих следом — только тогда он заорал что-то страшное и злое и, опустив маузер на уровень глаз, начал палить по бегущим и стрелявшим цепям белых.

Как только после короткого рукопашного боя белые, повернув, кинулись к бронепоезду, Постышев остановился, вытер ладонью пот, высморкался и крикнул:

— А теперь в лес! Отходи! В лес, там он нас не достанет!

Он бежал к ближайшему леску и, смеясь, кричал что-то, и все бойцы тоже бежали, орали, размахивали руками, потому что они сейчас смогли победить, они сейчас сломали в себе самое унизительное, что есть в человеке,— страх.



ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов ходит по кабинету, как по камере: три шага вперед, три шага назад, руки за спиной, голова опущена на грудь, глаза закрыты. Пимезов не решается заглядывать к полковнику: тот в гневе — с утра пришла шифровка о провале операции с Блюхером.

После пяти часов непрерывного метания по кабинету Гиацинтов уезжает в штаб японских оккупационных войск. Генерал Тачибана принимает его незамедлительно. На лице генерала нет обычной улыбки, а это бывает крайне редко.

— Я скорблю,— говорит он Гиацинтову, идущему от двери к сто-

лу,— что ваши люди столь бездарны. В разговорах они у вас прозорливцы и мудрецы, а как до дела, так здесь начинаются «временные неувязки». Обычная русская манера, сколько вас ни учи...

— Генерал, я пришел к вам не выслушивать нотации, но получить разрешение на действие.

— Вам столько раз давались разрешения на действия, что вы уже сейчас должны были бы сидеть хозяином на Лубянке, а не в Полтавском переулке!

— И тем не менее я прошу вас меня выслушать.

— Э! — машет генерал желтой сухой рукой.— Надоело, надоело, полковник.

— И тем не менее,— настойчиво повторяет Гиацинтов,— я прошу меня выслушать, потому что ни с кем из наших я говорить об этом не стану.

— Ну, давайте же, наконец...

Генерал опустился в кресло, Гиацинтову сесть не предложил и стал задумчиво смотреть в широкое итальянское окно на город, разбросавшийся по сопкам.

— Ваши официальные представители должны сказать госполитохрановским чекистам, чтобы они в Чите завтра утром сняли с дайренского поезда, из второго вагона, место номер двадцать четыре, уфимского мещанина Поназырина. В воротничке его френча должны быть зашиты письма к генералу Гржимальскому и удостоверение личности этого мещанина, выданное мною здесь на имя князя Мордвинова.

Лицо генерала дрогнуло. Он медленно повернул голову к Гиацинтову, почесал мизинцем левый глаз и спросил:

— Это он должен был провести операцию с Блюхером.

— Именно.

— Вы хотите рассчитаться с неудачливым агентом?

— Отнюдь. Просто я хочу подтолкнуть время. Вы же помните, генерал, какие показания должен дать Мордвинов в случае провала.

— Помню. Он должен скомпрометировать кадровых военных, к которым сейчас Блюхер станет обращаться особенно настойчиво. Что ж, любопытно. Озлобленный агент — не нужный агент. Ладно, мы продумаем все это. Поставьте в известность премьера! Это в какой-то мере утихомирит его гнев, когда он узнает о провале с Блюхером.

— Видите ли, генерал, князь Мордвинов находится в родстве с женой Николая Дионисьевича Меркулова, так что здесь — только мы

с вами партнеры, потому как и операцию вместе задумали и кандидата вместе утверждали.

Генерал осторожно, с улыбкой глянул на Гиацинтова.

«Мальчик мне угрожает,— подумал он,— бедный мальчик. Он думает испугать Меркуловыми. Ай-яй-яй! Чувств у них много, а вот с разумом и анализом дело обстоит значительно хуже. Тем не менее самое разумное сейчас — это испугаться. Этот испуг на будущее пригодится, мои преемники им воспользуются, когда будут работать с Гиацинтовым. Они ему напомнят, как он меня пугал и кем он меня пугал. Он будет думать, что победил, а они его потом носом в грязь».

— Да... Тогда, конечно, дело меняется, мой милый Гиацинтов. Как говорится, мы с вами одной веревочкой повиты. Бедный русский князь Мордвинов. Мне жаль его. Говорят, он одаренный музыкант. Тем лучше, значит, он экспансивен, а ЧК ценит экспансивные показания...

— Про музыканта от кого информацию получили, ваше превосходительство? Он ведь эту свою страсть скрывал, я лишь раз по дружбе был им допущен на музыкальный вечер: он играл на своих виолончелях. Больше он никого не звал, и я это в его карточку не вносил. Откуда ж вы осведомлены?

— Первая задача разведчика: знать тайные страсти окружающих,— улыбнулся Тачибана.— Да, кстати, мои контрразведчики сочли возможным подсказать вам имя одного молодого спекулянта с биржи. Его зовут Чен. Он весьма занятен и очень не прост, как кажется с первого взгляда. Только прошу вас — не спугните его, этого вам моя контрразведка не простит.

КВАРТИРА ФРИВЕЙСКОГО

— Послушайте, Алекс,— сказал Исаев устало,— мы с вами уже битый час толчем воду в ступе. Не хотите иметь со мной больше дел — не надо, господи боже ты мой! Вы достаточно уже сделали, как истинный патриот России и белого движения. То, что вы мне передали сейчас, поверьте, Высший Монархический Совет благодарно запомнит, и запомнит надолго. Вы оказали нам громадную услугу, а теперь начинаете разыгрывать истерику.

— Это не истерика! Я не могу спать! Я всего боюсь! Мне кажется,

что за мной смотрят! — жарко зашептал Фривейский.— Мне кажется, что паркет колышется, понимаете вы?! Я борюсь с желанием пойти к Гиацинтову и упасть перед ним на колени!

— Если вы думаете, что это вам поможет, идите и падайте. Ниц ли, на колени — один хрен. Только вы сразу же тогда станете государственным преступником...

— И вы тоже! — приблизившись еще больше к Исаеву, чуть не пропел Фривейский.— Вы тоже, стальной мужчина!

— Я — нет. Почему я? Отнюдь. Можно подумать, что я уговаривал премьер-министра не увозить красных! Можно подумать, что это я забирал к себе домой для «работы» планы японских поставок для белой армии! Можно подумать, что я передал для сведения журналисту совершенно секретный план зимнего наступления! Идите и падайте на колени, Алекс, но меня в ваши дела не путайте. И если вы на грани помешательства — вызовите доктора.

— Как? — медленно отодвигаясь от Исаева, спросил Фривейский.— Вы сказали — умственное расстройство? А что? Это выход, между прочим. Почему вы молчите?!

— Потому что вы болтаете ерунду, мой друг. Подумайте, в какое вы меня ставите положение? Как мне докладывать Берлину? Что мне докладывать Берлину?

— Макс,— снова перейдя на шепот, сказал Фривейский,— но мне особенно страшно, потому что я подумал: а ведь вы не из Берлина!

— А откуда же?

— Зачем Берлину план зимней кампании? Кто этот план туда доставит? Что он им даст? Почему их люди не приедут сюда открыто? Кому этот план более важен? Берлину или Москве, а?

— Пожалуй, Москве,— ответил Исаев рассеянно,— то есть даже наверняка Москве. А к чему вы это? Уж не считаете ли вы меня агентом ЧК?

— Вот именно,— обрадовался Фривейский,— иногда мне кажется, что вы особенно интересуетесь тем, что важнее всего Москве.

— А как же иначе? Меня это интересует больше всего. Потому что движение наше направляется из Берлина прежде всего против Москвы, разве это не очевидно? Нам необходима широкая картина, Алекс, а то, что делаете вы,— это одна из сторон панно. Не переоценивайте себя, не пугайте себя, не надо. Кстати, не поговорить ли мне с Гиацинтовым...

— О чем?

— Ну, скажем, о его сотрудничестве с нами.

— Это с кем же?

— С вами и со мной.

— Вы с ума сошли. Этот зверь нас немедленно уничтожит.

— Да?

— Конечно! Вы его не знаете, я зато его очень хорошо знаю!

— Горяч?

— Только на охоте. В жизни хитер, как дьявол.

— Алекс, молю, не отказывайтесь — я принес вам немного денег; это фунты, они тоже хорошо ходят, повеселитесь или переведите на ваш счет и не записывайте в реестр долгов.

— Если бы вы жили все время рядом со мной, я бы так не волновался. Когда вы подле — я спокоен.

— Может статься, я к вам перееду. А что? У нас будет прелестный дом. Заведем девочек из Южной Америки, они все танцовщицы и душки. А?

— Перестаньте, право.

— Ну, до свиданья, Алекс, я буду послезавтра, мне хочется увезти вас куда-нибудь и развеселить.

ВЛАДИВОСТОК

Исаев спускался по Алеутской к вокзалу. На заборах наклеен приказ главнокомандующего Молчанова:

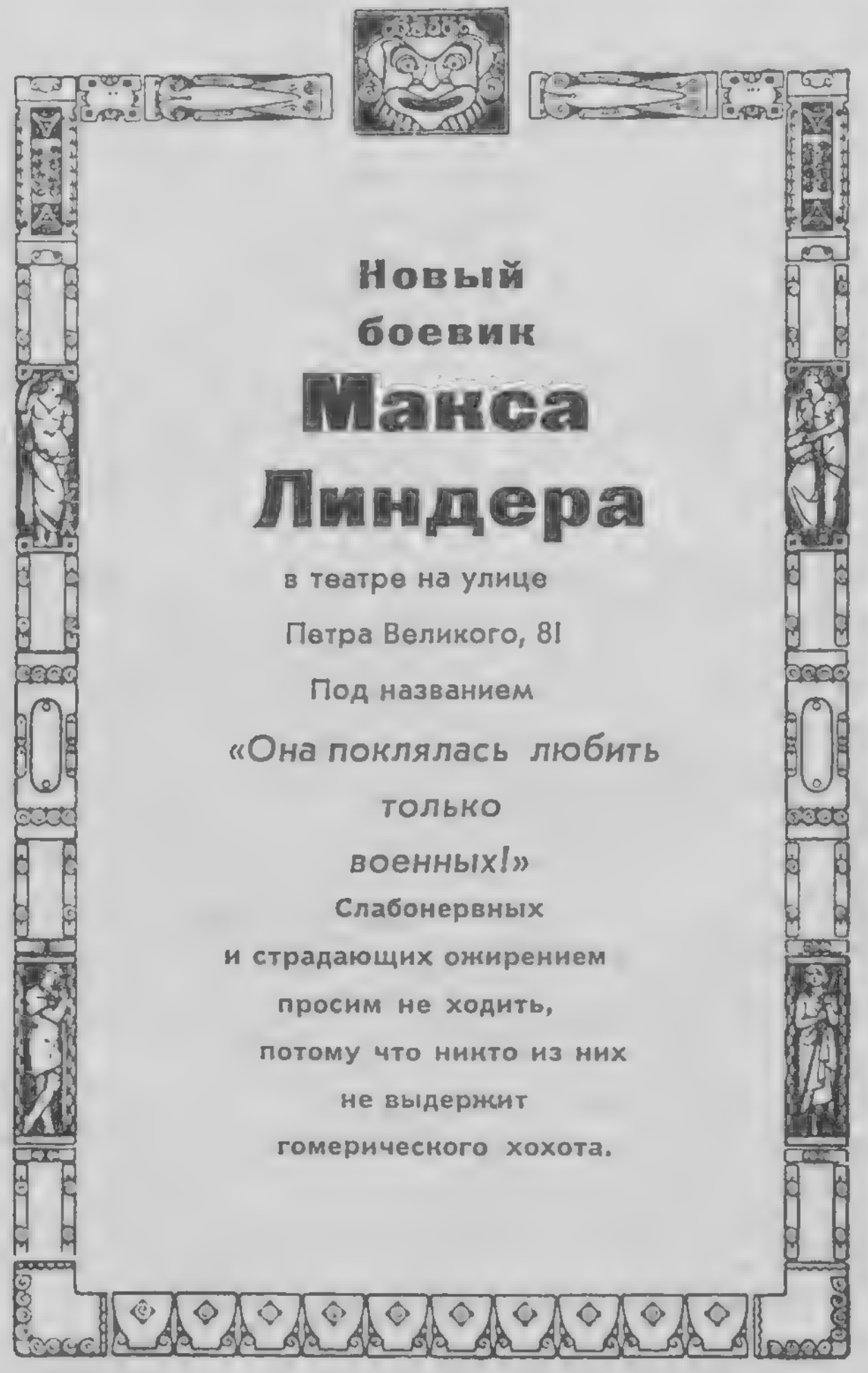
«БРАТЬЯ! — напечатано сверху большими буквами, с церковнославянскими завитушками, синей краской, дальше текст набран черным.— ТОТ, В КОМ ГОРИТ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ПРИДЕТ В НАШИ РЯДЫ. НАША НАГРАДА — ДЕРЕВЯННЫЙ КРЕСТ, МЫ — СМЕРТНИКИ. МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ БЕЗ РОССИИ, УМИРАЕМ ЗА НЕЕ И БУДЕМ УМИРАТЬ, ПОКА ОНА НЕ ВОСКРЕСНЕТ...»

Исаев поднял воротник пальто и пошел дальше. Он шел и думал: «Наша награда — деревянный крест, мы — смертники. С такими лозунгами надо призывать тараканов жрать — все разбегутся. А почему такая глупость? Потому что писал и умильно плакал, любуясь собой и своим мужеством. В бронепоезде с теплым сортиром быть мужественным легко. В окопах на сорокаградусном морозе — трудней».

Сашенька обещала прийти к трем часам. Смешной человечек. Исаев вспомнил, как однажды он сказал Дзержинскому: «Не могу

влюбиться, Феликс Эдмундович, потому что моей профессии противна любовь к женщине. Она расслабляет. Для меня любовь — не спорт, который помогает набирать силы, для меня это нечто громадное, силы отбирающее».

Возле вокзала все тумбы были заклеены огромными объявлениями.



Для всех народов
все дороги ведут в

РИМ

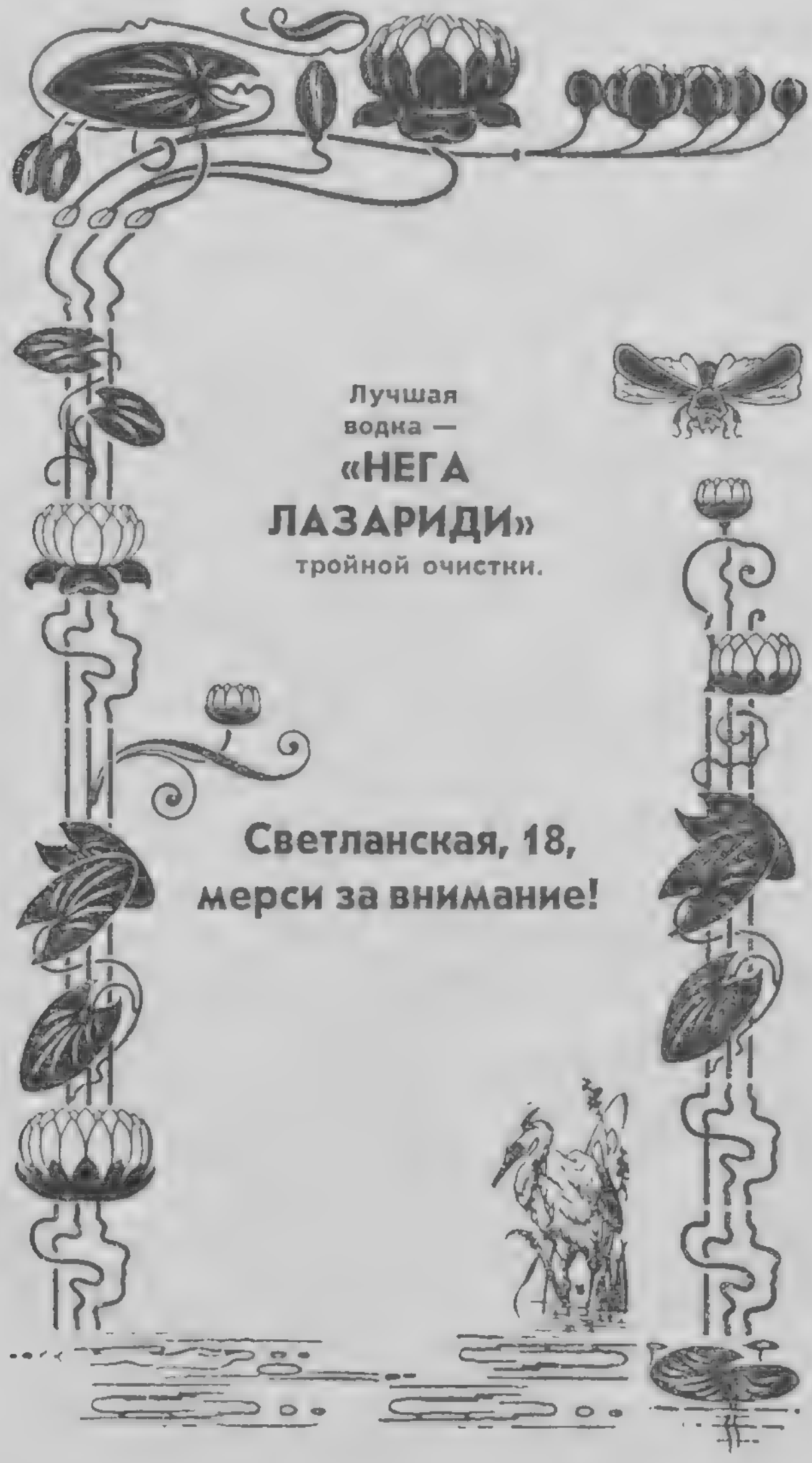
а для охотников-промысловиков
во ВЛАДИВОСТОКЕ
только одна — к

ВАСИЛИЮ ПЕТРОВУ

на СЕМЕНОВСКИЙ БАЗАР,

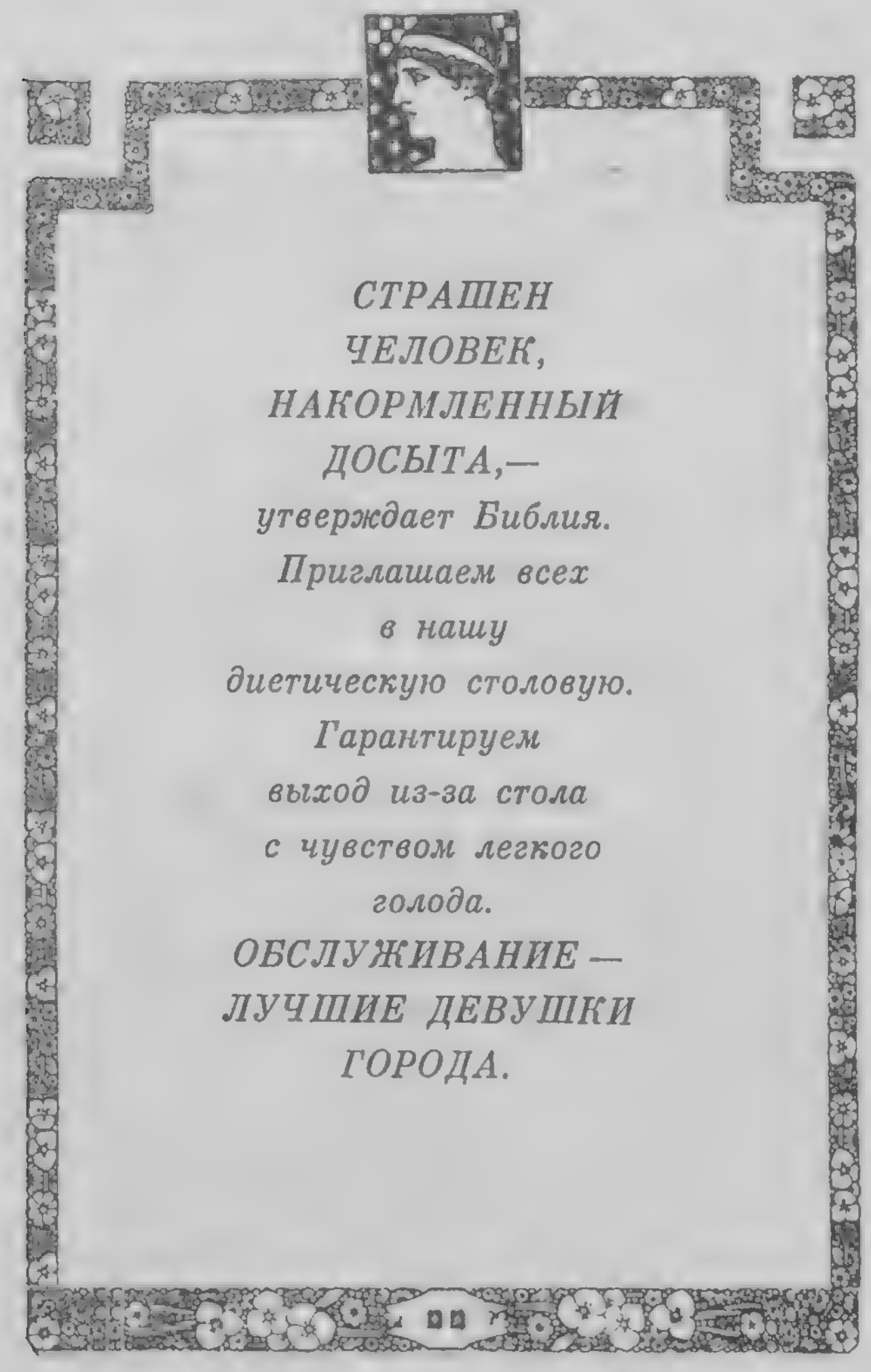
нумер
сорок
первый

Больше всех бросалось в глаза объявленiе:



Исаев вспомнил: Унгерн перед тем, как повести свои войска на красную Сибирь и ДВР, дал интервью представителям американской и эмигрантской русской прессы. Он сказал: *«Чтобы русские смогли побороть свою психически врожденную неполноценность, я ввел в моих войсках безграничное пользование водкой, опием и гашишем».*

Другое объявление гласило:



СТРАШЕН
ЧЕЛОВЕК,
НАКОРМЛЕННЫЙ
ДОСЫТА,—
утверждает Библия.
Приглашаем всех
в нашу
диетическую столовую.
Гарантируем
выход из-за стола
с чувством легкого
голода.
ОБСЛУЖИВАНИЕ —
ЛУЧШИЕ ДЕВУШКИ
ГОРОДА.

«Понятно,— подумал Исаев.— Над Библией глумятся, заманивают в бордель, сволочи. Пузатым старичкам только про диетическую столовую с девочками свистни, они все сразу поймут, сукины дети».

Сашенька шла к Исаеву, чуть не бежала. С мороза румяная, чуть-чуть раскосоглазая, словно японочка, улыбчивая; лицо доброе, есть такие женские лица: только глянь — и сразу делается радостно, даже если только что тоска была...

— Вы замерзли, бедненький Максим Максимович?

— Самую малость.

— Зачем же вы на ветру стояли? Это неразумно.

— Разум — это дикий зверь, его место под лавкой.

— Что станем делать? — улыбнулась Сашенька.

— Вы просили показать вам город с черного хода? Вот я и стану вам его показывать. Я сегодня целый день свободен, в вашем распоряжении.

— Прекрасно. Откуда начнем?

— С пакгаузов. Посмотрим, что привезли пароходы, видите, сколько их у причалов? Помните, в «Онегине»:

Глядишь и площадь запестрела,
Все оживилось, здесь и там
Бегут за делом и без дела,
Однако больше по делам.
Дитя расчета и отваги,
Идет купец взглянуть на флаги,
Проведать, шлют ли небеса
Ему знакомы паруса.
Какие новые товары
Вступили нынче в карантин,
И что чума, и где пожары?
И нет ли голода, войны
Или подобной новизны?

— Как страшно, Максим Максимыч.

— Отчего?

— Будто он про наше сегодня писал.

— Ничего страшного. Просто он гений. А дальше помните?

Но мы, ребята без печали,
Среди заботливых купцов,
Мы только устриц ожидали
От цареградских берегов.
Что устрицы? Пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,

Слегка обрызганных лимоном.
Шум, споры, легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Оттоном,
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.

— Но ведь это же про нас! «Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет». Мы пьем, смеемся, а мужики вилы натачивают. Вон наша горничная на меня волком смотрит. Действительно, только в России могли так легко и бездумно отдать большевикам в октябре свободу, завоеванную в феврале.

— Отдали такую же свободу, как у нас? Здесь?

— Конечно.

— Вы считаете, что наша здешняя ситуация может считаться эталоном свободы?

— В некотором роде.

— Да?

— Да! Да! Да!

— Только, пожалуйста, не начинайте еще интеллигенцию нашу бранить, обидно за интеллигенцию, когда ее топчут. Как с кем надо счеты свести или повод для ужина — так айда бранить интеллигентов.

Они прошли контрольный пункт. По журналистскому удостоверению охрана пропустила Исаева, подобострастно козырнув ему,— провинция испытывает благостный страх перед прессой. Вдали, за третьим пакгаузом, построенным совсем недавно из американского ребристого металла, стояла цепь японских солдат с винтовками наперевес. Было слышно, как на причале протяжно скрежетал плохо смазанный кран. Разгрузку вели русские — это было ясно, потому что старший кричал басисто:

— Майнай легко, то ж тебе на баба с цицками, а кабриолет с пушкой!

Начальник последнего караула, маленький японский унтер-офицер в очках, быстро посмотрев удостоверение Исаева, улыбчиво ответил:

— Нельзя идти.

— Почему?

— Нельзя идти,— повторил он, еще более обворожительно улыбаясь.— Там русские люди ругаются бранными словами, которые недопустимо слушать такой очаровательной барышне.

Из-за пакгауза выскочил Чен, как обычно франтоват, в руке тросточка с золотым набалдашником, пальто — короткое, как сейчас во-

шло в моду в Америке, островерхая японская шапка оторочена блестящим мехом нерпы, лицо лоснится: видно, с утра получил в парикмахерской массаж с кремом-вытяжкой из железы кабарги — кожа делается пахучей, эластичной, и морщины исчезают. А откуда у Чена морщинам взяться, когда ему двадцать четыре года. Хотя морщинки у него под глазами есть: как-никак четыре года он работает в белом тылу, когда ночью каждый шорох кажется грохотом, а днем в любом, идущем сзади, видишь филера.

Чен подскочил к унтер-офицеру, что-то сказал ему по-японски, быстрым жестом сунул в руку зелененький банкнот, унтер отвернулся, и Чен провел Исаева с Сашенькой сквозь строй японских солдат. Те смотрели мимо и вроде бы не видели трех людей, которые прошли, касаясь их плечами.

— Что вы ему сказали? — спросила Сашенька.

— О, я прочел ему строки из Бо Цзю-и,— ответил Чен.

— У нас сегодня день начался с поэзии,— улыбнулся Исаев.

— А что это за стихи?

— Это не стихи. Скорее, это труд по практической математике старого китайского мудреца — так совершенны рифмы.

Они вышли на причал. Громадный кран, размахивая стальной шеей, поворачивался, спуская вниз, на бронированную платформу, огромный зеленый танк. Три танка уже были сгружены, и возле них возились японские техники, объясняя русским офицерам, как заводится мотор. Сейчас, когда машины ревели, пуская из выхлопных труб клубы черно-синего дыма, казалось, что стреляют из пулеметов.

— Какие страшилища,— сказала Сашенька,— словно животные из каменных веков.

— Каменный век был один,— улыбнулся Исаев,— эпохи в нем — разные.

— Еще семь штук осталось,— заметил Чен.— Правда, что-то стряслось с краном, боюсь испортится.

— А отчего разгружают каппелевские солдаты?

— Видимо, не надеются на грузчиков.

— Понятно,— задумчиво сказал Исаев, провожая взглядом раскачивающийся в воздухе танк.

Вдруг в кране что-то хрустнуло, застонало, потом тонко завизжало, и танк, нелепо перекувырнувшись в воздухе, грохнулся на камни. Раздался звон, будто разбили громадную музыкальную шкатулку.

— Стойте здесь,— попросил Исаев девушку, а сам с Ченом побежал к разбитой машине. Танк лежал на боку. Дула крупнокалиберных пулеметов были погнуты, потому что удар пришелся как раз на них.

Чен и Максим Максимыч походили вокруг машины, сокрушенно покачали головами и двинулись обратно, к Сашеньке. Исаев полуобнял Чена и незаметно сунул ему в карман пальто маленькую записочку-шелковку.

— Немедленно в центр,— сказал он.— А теперь по поводу танков. Поломка крана здесь не поможет, они его быстро починят. Надо что-нибудь придумать с бензином. Добавлять в бензин воды с соляной кислотой — вся подача полетит к чертовой матери. Дикость, конечно, но это единственный способ задержать танки здесь. Если они сейчас уйдут на фронт — это будет страшным ударом для нас. А шифровку немедленно для Блюхера. Немедленно, это только что из сейфа премьера.

— Хорошо, я сделаю это сейчас же.

Исаев пожал Чену руку и — чтобы слыхала Сашенька — громко сказал:

— Пожалуйста, выпишите мне мотоциклет непременно красного цвета, я люблю экстравагантность.

Чен приподнял свою нерповую шапку, осклабился и простоял так, пока Исаев и Сашенька не миновали цепь японских жандармов. Чен хотел было двинуться следом за ними, но заметил возле унтер-офицера подозрительного типа в синем пальто. Тип в синем о чем-то просил японского жандарма, но тот отрицательно качал головой,— видно, не хотел пускать.

«Где-то я этого человека видел,— нахмурившись, подумал Чен,— надо только вспомнить, где именно».

И — от греха — он свернул за пакгауз, а здесь одному ему известными путями вышел из порта прямо к стоянкам китайских лодок, отсюда добрался до вокзала и успел передать проводнику поезда Владивосток — Харбин Грише Кикнадзе, связному красных, работавшему под видом контрабандиста наркотиками, ту самую шелковку с зашифрованным текстом, которую ему только что вручил Исаев. Дорого бы дал Гиацинтов за эту шелковку, потому что на ней — сведения о всех войсках, которые будут брошены на штурм Благовещенска, Читы и Иркутска. Сведения эти были известны трем людям: Меркулову, Молчанову и Фривейскому. Теперь их знали еще два человека: Исаев и Блюхер.

Чен дождался, пока поезд ушел, и двинулся к себе домой. Возле своего дома он, по профессиональной привычке, оглянулся: к нему пристраивались два филера, один из них — тот, что потерял его в порту. Чен не мог, конечно, знать, что сейчас его фотографии, размноженные в десятках экземпляров, Гиацинтов показывает своим

агентам и осведомителям, чтобы постараться хотя бы таким образом выйти на прошлое Чена: вдруг кто-нибудь его опознает?

«Он у нас под колпаком,— сказал Гиацинтов своим сотрудникам.— Теперь все решит время: он выведет нас на сообщников, только надо смотреть и ждать, а время — за нас».

Чен до утра мотался по городу, стараясь вновь оторваться от филеров, чтобы предупредить Исаева. Но оторваться ему так и не удалось: шпики, что называется, висели у него «на хвосте», и даже когда он подходил к телефонному аппарату, они тоже становились рядом, копируя прием японской контрразведки, которая первой ввела «открытый шпионаж» — вплоть до совместного посещения уборной. Чен понял, что звонить Исаеву тоже ни в коем случае нельзя. Тогда он, купив соляной кислоты, ринулся в порт, прошел, как и утром, цепь японских жандармов и убедился, что план его был верным: шпики остались за кордоном, потому что они не могли предъявить японскому унтеру своих документов. Чен улыбнулся своим преследователям и бросился к пристани китайских джонок. Считал, что теперь в безопасности; предупредит Исаева и сразу же уйдет в сопки. Но, выйдя к пристани, увидел еще двух филеров и понял, что заперт со всех сторон. Тогда он вернулся назад, развел соляную кислоту в ведерке грязной воды и, пользуясь тем, что танки стояли за пакгаузами, в темном месте, стал доливать в бензиновые баки грязную воду, смешанную с кислотой.

Миновав пересечение шумных и нарядных Алеутской и Светланки, поднявшись вверх по Китайской, мимо редакции ванюшинской газеты, мимо охраняемого солдатами штаба японской миссии, мимо здания американской миссии, окруженного тонкими рядами колючей проволоки, с пулеметчиками в воротах, Сашенька и Исаев теперь шли по узенькой улочке — смотреть город с «черного хода». В окнах сидели ярко намазанные женщины.

— Что это они сидят, как на выданье? — спросила Сашенька.

— Они не на выданье. Они работают. Их стоимость от пятидесяти копеек до полутора рублей. Это знаменитый Косой тупик.

Следующий домик был веселый, с геранями на окнах и с беленькими накрахмаленными занавесками. Во дворе слышались звонкие детские голоса.

Исаев подошел к калитке и заглянул в щелку: во дворе бегали друг за другом, играя в лапту, девочки лет семи. На кресле, возле террасы, сидела пожилая женщина с рукодельем. Она вышивала на

белом полотенце котика с мышкой. Котик был атласно-синий, а мышка красненькая, с белыми глазами.

— Это дети тех женщин? — спросила Сашенька шепотом.

— Нет. Эти девочки тоже продаются, только за них берут по двадцати рублей за сеанс,— ответил Исаев.

После он привел Сашеньку на Миллионную. Огромный дом возвышался среди хибарок серым надгробием.

— Это опиекурильни,— сказал Исаев.

Они поднялись на второй этаж, открыли скрипучую дверь и оказались в огромной полутемной зале. Пахло мочой и густым, невыветренным табачным дымом. Курильщики опия лежали вповалку, человек пятьдесят, не меньше. Кое-кто курил, но этих было меньше. Остальные стонали, что-то выкрикивали, размахивали желтыми руками, иссушенными и страшными, выли, тихо плакали и лаяли на разные голоса.

Сашенька схватила руку Исаева ледяными пальцами и прижалась к нему. Они шли среди лежавших, кричавших и плакавших к маленькой клеенчатой двери. Исаев распахнул ее, и они оказались в пустом коридоре. Здесь, если свернуть направо, начинались отдельные кабинеты для богатых курильщиков. Миновав этот коридор, Сашенька и Исаев попали в полуподвал: здесь был зал только для китайцев. Этот зал был еще больше того, первого, где лежали русские. Окон здесь не было вовсе. Только под потолком гноилась желтым светом оплывшая свеча. Здесь было тихо, никто не кричал, как наверху, в зале для русских. Здесь тихонько стонали, потому что смотритель бил крикунов и вышвыривал их голыми на мороз. К тому же люди были до того истощены голодом, что у них просто-напросто не было сил кричать.

Когда Исаев попал сюда в первый раз, смотритель, отставной жандарм, напудренный, как женщина, видимо гомосексуалист, похохатывая, объяснил: «Русский — он и голодный орет, и в опийном бреду, потому что в нем дух молодой. А у китайца за спиной четыре тысячи лет истории, оттого он и молчалив: ори не ори — все одно крышка. Он это понятие точно усвоил, с молоком матери».

Так и лежат опиекурильщики в тишине, зловонии и мраке. Глядишь, за день человека три и отдадут богу душу в шальных, красочных сновидениях — и не заметят даже, когда настанет конец. Таких здесь зовут счастливчиками.

Исаев ведет Сашеньку по рабочим кварталам, он ведет ее по страшным подвалам, населенным рахитичными детьми и женщина-

ми с громадными от голода глазами. Он ведет ее по ночлежным домам и сараям, где ютятся семьи, он подводит ее к ограде чумного лазарета и показывает штабеля коричневых мертвецов, припорошенных желтым снегом, он ведет ее через жизнь, которой она не видела никогда.

— Я отношусь к вам добро,— говорит Исаев Сашеньке. Глаза его сейчас по-совиному круглы, лицо белое, даже с синевой.— Поэтому, Сашенька, не смейте никогда больше так легко рассуждать о свободе и о русском народе.

Они едут на извозчике по светлым вечерним улицам, ревет музыка в ресторанах; разномастная толпа спешит по тротуарам, а Сашенька не слышит ничего этого, только сухой голос Исаева:

— Эту свободу надобно ограждать штыком и японским танком? Никогда не повторяйте тех красивых благоглупостей, которые вы слышите вокруг себя. Это либо подлость, либо глупость. Вы же не глупы и не подлы. Я отношу это за счет вашего незнания.

А Сашенька ничего не может ответить, потому что плачет она, а из-за слез улица с ее фонарями, иллюминацией, рекламой кажется особенно нарядной, беззаботной и радостной.

А навстречу извозчику, на котором ехали Исаев и Сашенька, несутся мальчишки — продавцы газет. Они орут визгливыми голосами:

— Последние новости! Последние новости! Красные палачи откатываются по всему фронту! Наступление доблестных белых войск продолжается. Дни Хабаровска сочтены! Жидовский генерал Блюхер, к сожалению, не окочурился! Последние новости! Последние новости! Последние новости!

— Придержи! — крикнул Исаев извозчику, легко спрыгнул с сиденья, купил газету, развернул ее, лихорадочно отыскивая что-то глазами, увидел сообщение о возвращении Блюхера в ДВР, вздохнул прерывисто, возвратился назад и сказал: — Сашенька, верно говорят — большие горести не бывают продолжительными, а маленькие не стоят того, чтобы обращать на них внимание.

— Вы считаете то — маленьким горем?

— Нет. Я считаю то горе громадным и убежден, что оно скоро кончится, иначе смысла нет ходить по земле и дышать небом.

Вечером Гиацинтов был вызван на прием к Спиридону Дионисьевичу. Три часа начальник контрразведки просидел в приемной и односложно отвечал на вопросы секретаря правительства. Гиацинтов

догадывался, зачем его вызвал премьер. Провал операции с Блюхером. Но, как всякий человек, он цеплялся за малейшую соломинку и мечтал о том, чтобы Меркулов еще ничего не знал о провале с Блюхером, а вызвал его для того, чтобы отправить в Вашингтон — помочь торговой миссии профессора Гаврилина. Это была затаенная мечта полковника. Гиацинтов смертельно устал. Он даже себе боялся признаваться в этом и последнее время особенно бодрился на людях. Для контрразведчика усталость подобна смерти. Иногда, вернувшись домой после страшных ночных допросов, он лежал на кровати до утра и сентиментально, несколько даже истерично мечтал о солнечном дне на берегу моря с какой-нибудь юной девушкой. Только не возле этого моря, а около другого, там, где никто не понимает по-русски, где можно кричать во все горло на пустом, бесконечном пляже, и никто даже не услышит твоего голоса, и тебя самого никто не узнает и никогда не сможет узнать. А у девушки с длинными голубыми глазами в белом спортивном платье из тяжелой чесучи с красным кушаком должны быть обязательно тонкие руки, и ходить она должна чуть откинувшись назад, а грудь у нее обязательно чтобы большая и с острыми сосками. Он бы с ней жил на берегу, в доме с плоской крышей, а балки из темного дерева, окружающие террасу, будут увиты толстым плющом, через который пробивалось бы солнце. Они бы сидели по вечерам у лампы и читали бы друг другу Гомера и Овидия...

Дальше Гиацинтов никогда не мечтал, потому что никак не мог придумать себе занятия. Иногда он хотел стать рыбаком и завести яхту, наподобие той, которую купил в Америке Бриннер, но рыбалка ему быстро надоедала — и в мечтах и наяву. Иногда он видел себя наездником в широкополой шляпе среди пустой красной равнины. Но никогда, ни разу — с тех пор, как он сменил мундир штабс-капитана артиллерии на френч полковника контрразведки, ни разу в мечтах он не видел себя среди людей. Он всегда видел себя одного, а девушку чаще всего со спины или только ее глаза, да и то ночью.

— Кирилл Николаевич,— вкрадчиво окликнул его Фривейский,— господин премьер-министр просит вас.

Услыхав скрипучий голос секретаря, Гиацинтов вернулся на землю, в этот деревянный кабинет, где пахло духами, как у женщины, и еще чем-то горьковатым: по-видимому, хинином. Возвращение это было резким, как толчок. И полковник понял, что, конечно, в Вашингтон Меркулов его не пошлет, потому что в дипломаты лезет каждый, а в ассенизаторы, вроде него, жандарма, пойди замани кого-нибудь из этой интеллигентской сволочи. Полковник понял, что речь

конечно же пойдет о провале операции с Блюхером и разговор будет не из приятных.

— Послушайте, полковник,— сказал Меркулов, не поздоровавшись и не глядя на Гиацинтова,— я, конечно, имею забот несколько более, чем вы. Я должен читать сообщения консулов из-за границы, у меня в государстве керосина нет, маяки на побережье гаснут, я денег учительству три месяца не платил, у меня идет победоносное наступление на красных, которое не удавалось никому после Деникина, и, естественно, я не могу, я практически не имею времени разбираться с вашими вонючими агентами и доносчиками! Понятно вам?! — Меркулов задышал носом, что выражало у него высшую степень обиды.— Что я вам, пугало огородное? Ну не вышло у вас — так и бог с ним! Но поначалу-то хоть проверьте, прежде чем своему премьеру сообщать о том, как возмущенный народ уничтожил красного министра Блюхера.

— Я хотел порадовать вас, Спиридон Дионисьевич...

— Я вам ваше превосходительство, а не Спиридон Дионисьевич! Одного конфуза с меня хватит, двух не хочу! Отправили арестованных красных в Китай или еще не успели?

— Сейчас началась погрузка.

— Отменить. Всех их оставите здесь. Чем бездельничать и искать себе легких путей, извольте-ка подготовить процесс, который покажет миру, как Москва гадит всюду, где только начинает ослабляться бдительность! Мы должны показать органическую связь красного подполья с Читой. Надо скомпрометировать большевизм, понятно это вам?! Все. Сроку даю полтора месяца. Идите, полковник, вы мне сегодня отвратительны!

— Ваше превосходительство, позвольте подать рапорт об отставке.

— Что?!

— В отставку хочу. Лучше вагоны разгружать.

Меркулов вышел из-за стола, приблизился вплотную к полковнику, стал перед ним на мысочки: Гиацинтов был выше премьера на три головы. Поднял руки, взял полковника за уши, притянул его голову вниз — к своей.

— Глупышка,— тихо заговорил он,— ведь отец же я вам, нешто можно на меня, на старого человека, обижаться? Сердце у меня болит, под грудью щемит, ночью бог ко мне приходит — оттого нервен я, пойми. Всяко могу сказануть, а думаю об вас всех с лаской. Ноша на мне, пойми. Хочешь — попробуй, как тяжела. Горб сразу сломит, хоть ты и крепок. Мне сейчас от вас всех нужна полная самоотдача. Тогда только приведу вас к победе, к престолу и к паперти москов-

ской.— Меркулов говорил жарким шепотом, и глаза его, суженные по-татарски, светились, замерев острыми точками.— Я верю, понимаешь, верю в то, что грядет. Но ты помоги мне. В репрессиях против политических врагов дозировка не потребна. Время и точно понятые кандидатуры — вот главное, что обращает кровушку на пользу делу. Ты это запомни, это я тебе главное сейчас сказал. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту,— тогда пущай ее хоть реки льются — это как избавление от болезни, это вроде как высокое давление спустить, страсть утихомирить, понял меня? Понял? Ну, иди, не сердись на старика, иди, красавец мой...

Первый рапорт, который прочитал Гиацинтов, вернувшись к себе, был именно тем, которого так ждал начальник контрразведки: филеры из третьего отдела доносили, что после встречи в порту с «некиим Исаевым» Чен испортил танки, подлив воду с соляной кислотой в бензин.

ГРАНИЦА МАНЬЧЖУРИИ И ДВР

Когда поезд пересек границу и состав остановился у платформы для того, чтобы по купе смогли пройти таможенники, Блюхер приказал отцепить свой классный вагон и отогнать его на запасные пути.

— Но, гражданин министр,— сказал ему начальник пограничного поста,— было уже восемь телефонограмм от правительства. Вас ждут на заседании Совета Министров.

— Я понимаю,— ответил Блюхер, спрыгнув с подножки на землю, чуть припорошенную снегом.— Тут у вас где ближайшие войсковые соединения?

— В тридцати семи километрах, возле Чукри-Табы. Только они, вероятно, оттуда уже снялись.

— Это почему?

— Поступил приказ — снять регулярные войска с этой границы и перебросить их на фронт под Хабаровск.

— От кого приказ?

— Не знаю.
— Когда поступил?
— Третьего дня.
— Извольте отвечать по уставу, гражданин командир.
— Семнадцатого, в девять по нулям Читы.
— Благодарю вас. Проводите меня к прямому проводу.
— Есть, гражданин министр.

В маленькой вокзальной комнатушке сыро, холодно и грязно. Телеграфист, укутанный в бабий салоп, сидит возле окна и читает книгу. Руки у него в перчатках. Указательные пальцы на перчатках отрезаны, чтобы удобнее переворачивать страницы. Читает он, шевеля губами, и Блюхеру видно, как медленно перескакивают его зрачки с буквы на букву.

— Что читаем? — спросил Василий Константинович.

— «Граф Монте-Кристо»,— ответил парень, не отрывая глаз от книги.

— Понятно, понятно,— сказал Блюхер и тронул парня за плечо.— Давай, чтец-декламатор, к прямому проводу.

Начав диктовать зашифрованный текст приказа, отменявшего распоряжение о переброске войск с границы на фронт, Блюхер то и дело хмурился, потому что в соседнем зале кто-то беспрерывно кричал сорванным истеричным голосом. Блюхер, досадливо морщась, продолжал:

— Мы не можем оголять границу, потому что маньчжурская территория наводнена как белобандитскими шайками, так и японо-чжанцзо-линовскими соединениями. В любой момент здесь, через маньчжурскую территорию, могут быть пропущены регулярные части каппелевско-молчановской армии. Тогда они войдут в наши тылы, как нож в масло, тем более что сейчас здесь и так крайне мало войск. Посему приказываю: всем регулярным войскам, сосредоточенным в погранзоне, оставаться на своих местах в со́стоянии полной боевой готовности.

Крик за стеной стал протяжным и длинным — словно вопль роженицы. Блюхер вскочил со своего места, бросился к двери, распахнул ее, чтобы навести тишину, и замер на пороге.

Весь зал был заполнен инвалидами войны: безрукими стариками, молоденькими солдатиками без обеих ног на тележках, слепцами

с черными повязками на глазах, паралитиками, которые лежали на голом полу, завернутые в драные шинельки.

Блюхер пробился к окошку кассира, вокруг которого бесновались инвалиды, и спросил:

— В чем дело?

Кассир вздохнул и молча развел руками.

— Не отправляют пятый день! — закричали инвалиды.

— Жрать нечего!

— На полу спим, мерзнем!

— Заперли, боятся, что заграница нас увидит!

— Как последние отбросы гнием! Завезли с фронта в тупик, вывалили на станцию и бросили!

— К стенке бы этих комиссаров!

— Братцы, да он сам комиссар!

Блюхер поднял руки над головой и крикнул:

— Товарищи! Дайте слово сказать!

— Чего ты скажешь?!

— Слыхали мы говорунов!

— Тихо! Только тихо! Сейчас вы все уедете по домам!

Все смолкли. Враз, будто поперхнулись криком.

— Начальника станции сюда! — грохотом среди наступившей тишины раздался голос Василия Константиновича.

— Он сейчас не может,— сказал кассир.— Он сейчас международный состав отправляет.

— Вот так всегда! — сразу закричали инвалиды.

— Международный!

— А мы дохни!

— Тихо! — снова крикнул Блюхер.— Командир погранпункта!

Из комнатки телеграфиста вышел командир пограничников.

— Задержите отправление поезда до моего особого распоряжения. Высадите всех без разбора, наши ли, иностранцы ли, подсоедините мой вагон и посадите всех инвалидов, чтобы здесь ни одного не осталось. И обеспечьте людей пайком на дорогу. Выполняйте немедленно!

— Есть, гражданин Блюхер,— ответил командир и вышел медленным, строевым шагом.

— Братцы! — заорал кто-то высоким голосом.— Это же герой Перекопа и наш родной военный командир Блюхер!

— Ура главкому!

— Да здравствует Блюхер!

ФРОНТ

Полки Восточного фронта отступали под натиском белых. Бойцов валил тиф; они обовшивели, деревень на пути отступления не было, а если вдруг и встречались, то комфронта Серышев не разрешал останавливаться на отдых, стараясь как можно дальше оторваться от противника, чтобы успеть занять оборону под Хабаровском и там, став под защиту бронепоездов, постараться отбить белых.

Снег засыпал армию, по таежным тропкам к Амуру пробирались смертельно уставшие, обмороженные люди, многих несли на самодельных носилках — сыпняк свирепствовал вовсю; тащили на себе пушки, потому что лошади пали от бескормицы.

Постышев осунулся, щеки запали, в усах стала пробиваться седина, и шея из гимнастерки торчала по-цыплячьи жалобно.

Огромной, редкой и рваной цепочкой растянулась армия по тайге, отступая к Хабаровску.

ПЛАЦ ЧИТИНСКОЙ ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ

Ранним утром, когда еще не рассвело, Блюхер проводит с войсками секретные учения: учатся люди брать укрепрайоны, рвать проволоку, биться в траншеях. А после — занятия на плацу.

Гремит духовой оркестр. Медь труб аж синяя от мороза. Замер на кауром жеребце Василий Константинович. Мимо него, печатая шаг, идут бойцы Читинской отдельной бригады, одетые в добротные полушубки и «богатырки» — высокие шапки, точь-в-точь буденовки. Бойцы так сильно вколачивают шаги в землю, что даже лица их трясутся и штыки при каждом новом шаге чертят воздух — вниз-вверх, вниз-вверх!

— Отставить! — протяжно командует Блюхер.— Вторая шеренга, плохо мысок тянем. Не годится. И равнение не так держите — плечами, как волнами, ходите, граждане бойцы. Не годится. А ну еще раз! Шагом а-арш!

И снова гремит оркестр, и снова бойцы идут церемониальным маршем мимо главкома, который сидит в седле, как гранитный, и честь отдает рукой без перчатки, а мороз — тридцать три ниже нуля.

— Отставить! — снова приказывает Блюхер.— Последняя шеренга: не яйца несете, а винтовки! Потуже их к боку прижимайте, не побьются. Шагом а-арш!

Грохочет оркестр, трубачи посинели с натуги, губы примерзают к трубам, идет бригада церемониальным маршем мимо Блюхера, а он слышит, как за его спиной командиры глухо ропщут:

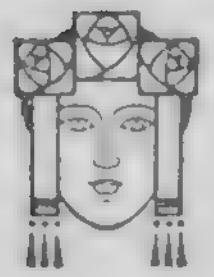
— Там наших под Хабаровском бьют, а этот гусиный шаг учит.

— Балуется в войну.

— Проиграем то, что завоевали старики партизаны в двадцатом году!

А Блюхер, не поворачивая головы, командует:

— Отставить! Граждане бойцы второго батальона, не бойтесь ногу повыше поднимать, от этого, кроме пользы, ничего не будет! Ну-ка, ша-агом арш!



РАЗВЕДУПР ВОЕННОГО МИНИСТЕРСТВА

Блюхеру сообщили, что пришла шифровка из Владивостока чрезвычайной важности. Василий Константинович прервал совещание по снабжению армии продовольствием — оно шло уже пятый час кряду, сразу же пошел к шифровальщикам. Обхватив свою громадную, бритую голову сильными пальцами, он начал читать сообщение Владимирова о готовящейся зимней кампании, он читал сообщение о количестве бронепоездов, орудий и солдат, которые подтягиваются к фронту, он читал о том, что составляло важнейшую государственную тайну белого движения.

Он читал это сообщение и видел за колонкой цифр и строчками текста лицо того разведчика, с которым Дзержинский познакомил его перед отъездом из Москвы. Тогда лицо Владимирова показалось ему чересчур мягким, слишком улыбчивым и холеным. И вот сейчас, читая его донесение, которое поможет ему, Блюхеру, построить свою оборону так, чтобы она оказалась роковой для белых, он видел совсем иное лицо Владимирова, он только сейчас угадывал в нем и понимал те черты, которые тогда, в Москве, казались ему неинтересными и ни-

чего не значащими. И чем дальше читал Блюхер, тем острее в нем рождалось чувство мужской, доброй любви к тому человеку, который сейчас там, за кордоном, один, совсем один.

— Пожалуйста,— сказал Блюхер одному из своих помощников,— заготовьте приказ о награждении орденом Красного Знамени и золотым оружием.

— Кого?

— Товарища номер девятьсот семьдесят четыре,— ответил Василий Константинович.

— А фамилия?

— Это и есть сейчас его фамилия,— ответил Блюхер.— Прекрасная фамилия —

товарищ **974**

ПРИЕМНАЯ БЛЮХЕРА

Василий Константинович вызвал к себе двух бывших генералов царской армии и одного полковника генштаба. Адъютант извиняется за опоздание военного министра — еще не кончилось заседание Совета Министров.

— Я попрошу вас подождать гражданина Блюхера.

— По какому поводу я вызван сюда? — спрашивает генерал, одетый в штатский костюм.

— По-видимому, речь пойдет о нашем возможном участии в работе штабов? — помогает ему полковник генштаба.

— Да, по-видимому,— отвечает адъютант.

— Если я сейчас уйду, это не повлечет за собой физическое уничтожение моей семьи?

— Нет, не повлечет, генерал.

— В таком случае всего хорошего.

И генерал в штатском выходит из кабинета.

Двое оставшихся, стараясь не глядеть друг на друга, садятся в кресла. Глухо бьют часы — высокие, из черного резного дуба. На столе адъютанта то и дело звонят телефоны, в приемную заходят секретари, работники отделов, курьеры с фронта. Они переговариваются с адъютантом Блюхера тихими, смертельно усталыми голосами — когда армия отступает, в штабах страдают бессонницей.

Блюхер появляется стремительно, ни на кого не глядя, проходит в свой кабинет. Он только что вернулся с заседания Дальбюро ЦК. Гулко хлопает дверь. Полковник и генерал переглядываются. На столе у адъютанта верещит звонок.

— Кто этот молодой человек? — спрашивает генерал, кивая головой на дверь, только что закрывшуюся за Блюхером.

— Военный министр.

Адъютант скрывается за дверью. Через мгновение от выходит и говорит:

— Министр приглашает вас.

— Присаживайтесь, граждане.

— Благодарю,— сухо отвечает полковник.

— Спасибо, гражданин министр,— чуть улыбается генерал.

— Вам известно об аресте группы бывших военных во главе с Гржимальским?

— Что?!

— То! — свирепеет Блюхер.

— Генерал Гржимальский честный человек...

— Я воевал с ним в Галиции...

— Ладно. Я пригласил вас не за этим. Просто мне полчаса назад об этом сообщили из госполитохраны — они сейчас заканчивают аресты белых заговорщиков, а я давеча генерала Гржимальского внес первым в список — побеседовать и постараться найти платформу для совместной работы.

— Здесь не могло быть ошибки? — спрашивает полковник.— Генерал Гржимальский всегда был вне политики, он кадровый военный и патриот.

Блюхер стремительно глянул на собеседника, свел брови в одну мохнатую линию, хмыкнул.

— Граждане кадровые военные,— говорит он после паузы,— позвольте мне перейти к главной части нашего разговора. Поскольку вы любите божиться своей любовью к матушке России, я хотел бы вас

познакомить с тем ультиматумом, который Япония выдвинула нам в Дайрене. Мы не приняли его. Вот, извольте.

Генерал и полковник жадно читают документ и возвращают его Блюхеру.

— Когда мы отказались принять эти позорные для русских условия, против нас по приказу японцев выступили белые, во главе с Молчановым. Итак, вопрос на сообразительность: с кем сейчас должен быть русский патриот, любящий «матушку родину»,— с меркуломолчановцами или с большевиками? Отвечать прошу по принципу «да» — «нет», всяческая хреновина надоела — спасу нет.

— Позвольте не отвечать на ваш вопрос, ибо Молчанов мой боевой друг, я с ним вместе мерз в окопах.

— Хотите быть чистеньким, генерал?

— По отношению к другу я обязан быть чистым.

— А по отношению к родине?

Молчание.

— Хорошо. Можете не отвечать. Благодарю вас за то, что выбрали время и пришли. Всего хорошего.

Молчание.

— Я вас больше не держу. Вы вольны уходить.

Но генерал не уходит. Он поглаживает костлявые колени худыми, длинными пальцами, смотрит мимо Блюхера, в стену, на оперативную карту, изрезанную острыми синими стрелами.

— Ну, а вы, полковник? — спрашивает Блюхер.— Если согласны помочь нам, то завтра же получите назначение в оперативный отдел штаба Восточного фронта.

— Я не могу преступить грань. Большинство моих друзей находится в рядах тех, кто против вас. Я — ни за них, ни против вас. Я за родину, простите великодушно за драматизм ответа.

— Понятно. Всего хорошего.

— Честь имею, гражданин министр.

Генерал и полковник выходят из кабинета. В приемной возле адъютанта стоят три человека в кожаных куртках.

— Генерал Табаков?

— Да.

— Полковник Бахнов?

— Совершенно верно.

— Следуйте за нами, вы арестованы.

Полковник кривит губы и, ухмыляясь, говорит генералу:

— Боже мой, какую комедию разыгрывал этот мальчик!

Поздняя ночь. По длинному тюремному коридору, жутко-гулкому, полутемному, освещенному только подслеповатыми свечками, идет, почти бежит Блюхер в сопровождении двух работников госполитохраны. Возле камеры, где содержатся арестованные генералы и офицеры, Блюхер останавливается. Обитая толстым железом дверь с маленьким глазком противно визжит. Блюхер заходит в камеру. Арестованные лежат на скрипучих нарах, укрывшись шинелями.

— Принесите лампу,— просит Блюхер.

Генералы поднимаются с нар, кто-то тяжело вздыхает, громко шелушится труха в подстилках. В камеру приносят три лампы, становится светлее. Благообразные лица, седые усы, бородки клинышком, пенсне, порода в осанке — все это видит Блюхер и вдруг — неожиданно для самого себя — добро и очень грустно улыбается.

— Перепугались? — спрашивает он и, не дожидаясь ответа, говорит: — Ничего, сейчас будем разбираться.

В коридоре слышны шаги и крики. В камеру вталкивают князя Мордвинова. Его держат два жилистых надзирателя. Лицо у князя белое, плоское, перекошенное тиком.

— Кто знает этого человека? — спрашивает Блюхер.

— Я,— отвечает седоусый старик.

— Ваша фамилия?

— Гржимальский.

— Кто этот ваш знакомый?

— Князь Мордвинов, поручик.

— Когда он последний раз виделся с вами?

— Он служил в моей дивизии во время войны против германцев.

— Я спрашиваю, когда он видел вас здесь, в Чите, во время вашей совместной работы по организации контрреволюционного путча.

— Я отказываюсь отвечать на провокационные вопросы.

— Мордвинов,— говорит Блюхер,— скажите, когда вы в последний раз виделись в Чите с руководителем белого заговора Гржимальским? Вы не хотите отвечать? Вы не будете отвечать? Хорошо. Гражданин следователь, покажите генералу Гржимальскому показания Мордвинова.

Генерал отвечает с усмешкой:

— Бесполезно. У меня изъяли очки.

— А мы вам зачитаем.

— «Генерал Гржимальский,— начинает читать Блюхер страничку из показаний Мордвинова,— закончив организацию заговора, назначил день выступления, сигналом к которому должно быть убийство министра Блюхера, подготовленное Табаковым и полковником Бахновым».

Генералы Табаков и Гржимальский, переглянувшись, усмехаются, а полковник Бахнов тяжело опускается на табурет.

— Это вы писали, Мордвинов? Снова молчите? Ладно. Не отвечаете мне — ответьте вашим друзьям.

Молчание.

— Хорошо,— говорит Блюхер,— мы сейчас уйдем из камеры. Но я прошу генерала Гржимальского или любого другого выборного из вашей среды выяснить у Мордвинова, он ли давал эти показания.

Блюхер и его спутники выходят из камеры. Они молча прохаживаются по длинному, полутемному коридору.

— Бросили бы вы курево, право слово,— раздраженно говорит Василий Константинович госполитохрановцу, который беспрерывно пыхает трубочкой,— себя ж травите и людям дышать не даете.

— Так ведь греет... И от голодухи, обратно, спасает.

— Сволочь какая, а? — удивленно, словно разговаривая с самим собой, говорит Блюхер и вертит головой из стороны в сторону, будто ему воротничок мал.

— Это вы про кого?

— Про князя. А табак нисколько не греет, это вы напрасно. Пошли, время.

По коридору бежит адъютант Блюхера. Запыхавшись, он ловит воздух открытым ртом и, нагнувшись к Блюхеру, тихо говорит:

— От Постышева шифровка. В партизанских частях восстание.

Блюхер на мгновение замирает, потом резко ногой толкает дверь камеры. Спрашивает с порога:

— Ну?

— Мы верим князю,— отвечает Гржимальский,— он честный офицер. Вся эта история с заговором — грязный фокус ЧК.

— Ясно. Мордвинов, вот листок бумаги и ручка, извольте написать на имя военного министра, что вас оклеветали в госполитохране и вынудили дать ложные показания против кадровых военных. И подпишитесь. Виновные будут наказаны по закону военного времени.

Мордвинов размашисто пишет на листке бумаги несколько строчек и подписывается под ними. Блюхер берет листок, дует на него и говорит тихо и свирепо:

— Ах ты, сволочь! Хитер, хитер, а дурак. Завтра же этого князя к стенке. Нечего с ним чикаться, с негодяем. У кого из вас есть очки? — спрашивает он генералов.

Никто ничего не отвечает. В камере делается тихо-тихо.

— Я спрашиваю! — кричит Блюхер.— У кого из вас есть очки?! Если у вас нет зрячих — тогда черт с вами со всеми! Некогда мне с вами разводить канитель! Вот показания Мордвинова, которые он против всех вас писал здесь, в тюрьме. Вот его донесения во Владивосток к Гиацинтову, а вот что он сейчас написал! Зрячие увидят — все написано одной рукой! Извольте убедиться перед тем, как я вас всех отпущу по домам!

— А-а-а! — взвыл Мордвинов, бросившись к генералам.— Они били меня, они били меня, господа! Они вынудили меня написать это! Они втыкали мне иглы под ногти! Они мучали меня!

— Когда вас арестовали?! — гремит Блюхер.— Отвечать!

— Три дня назад!

— Руки на табурет!

— Что?

— Руки на табурет! Где иглы под ногтями?! Где следы?!

— А-а-а!! — кричит князь и отбегает в угол камеры, в темноту.

— Разденьте его! Если увижу хоть один след от побоев, следователя пристрелю здесь же, на глазах у всех, как злейшего врага революции!

Мордвинов плачет, кричит, вырывается. Его раздевают. На белом его гладком и ухоженном теле нет ни единой царапины.

— Ну? — побелев от ярости, спрашивает Блюхер генералов.— У меня фронт, а я тут вами занимаюсь! А вы не можете мне слова сказать «да» или «нет», боитесь обидеть вашего друга генерала Молчанова. А он вас хотел всех скопом с помощью Мордвинова нашими пулями сделать национальными мучениками. Не вышло, слава богу! Не будет из вас национальных мучеников, из вас получатся настоящие национальные обыватели. Тьфу! Хрен с вами! Плесневейте. Отпустите их всех домой! Или выдайте иностранные паспорта — пусть уматываются в Японию, к черту. К дьяволу! Все!

Мордвинов воет на полу, кусает ногти, вопит, хватает за сапоги уходящих из камеры генералов.

У тюремных ворот Блюхера догоняет группа генералов.

— Министр,— обращается к нему Гржимальский,— когда мы будем вам нужны?

— То есть как это «когда»? Вчера. И сегодня,— отвечает Блюхер, не оглядываясь, и быстро идет по ночной улице в министерство. Следом за ним по-военному быстро идут генералы. Они идут с пледами и подушечками-думками: прямо из тюрьмы — в штабы Народно-революционной армии.

ПАРТИЗАНСКИЙ ШТАБ

Над особняком, стоящим на окраине городка, вывешен красно-черный флаг, на котором белой масляной краской выведено: «Да здравствует советская власть без коммунистов!» Здесь сейчас помещается штаб восставших партизан. С высокого крыльца щерятся фиолетовые рыла пулеметов. Сюда то и дело заходят люди, перепоясанные пулеметными лентами, у коновязи хрипят взмыленные кони с красными глазами, часовые с короткоствольными американскими карабинами замерли у тяжелых дверей; все в них недвижно, разве только семечки лущат, но они это делают прямо-таки артистически, работают только губы — стремительно и точно.

Сейчас в особняке идет заседание «правительства», только что «избранного» восставшими партизанами. Руководит работой правительства Колька-анархист, присвоивший себе звание «Чрезвычайного и полномочного верховного комиссара на Дальнем Востоке, в Якутии и Камчатке». При распределении должностей он заодно взял себе звание министра иностранных дел, заместителя председателя правительства, главного казначея и министра без портфеля.

— Товарищи министры и члены,— говорит Колька собравшимся в комнате,— от имени нашего дорогого председателя правительства Ильича, первым заместителем которого я отныне являюсь, передаю вам, как очевидный факт, пламенный советский привет и ура!

«Министры», раскрыв волосатые рты, ревут что-то непонятное. Опохмелившиеся с утра никак не могут сдержать смеха, а те, которые потрезвее, быстро дожевывают хлеб, розданный партизанам по приказу Кольки-анархиста без всякого пайкового довольствия, а по принципу: кто сколько хочет.

— Я получил сегодня много поздравлений,— говорит Колька и хло-

нает рукой по оттопыривающемуся карману,— от членов великого Коммунистического Интернационала!

— Так мы ж против коммунистов!

— Да, против! Но мы за Коммунистический Интернационал,— надрывно возглашает Колька,— и пусть тот, кто посмеет в этом усомниться, поперхнется моей рабоче-крестьянской пулей, как последний враг трудового народа! Вам все понятно, министры?

— Брось выпендриваться, Кольк!

— Я те покажу «Кольку»! Я заместитель председателя, казначей, министр иностранных дел и министр без портфеля, а не «Колька». Я тебе «Колька» в бою, когда мы вместе ринемся на гада, но тут я тебе руководитель, это очевидно, как факт! Покинь зал заседания!

— Ты чего, Коль? — удивляется заместитель министра просвещения.— Это ж я, Федька.

Колька-анархист морщится, как от зубной боли, и стучит себя костяшками пальцев по лбу.

— Дура ты, а не Федька!

— Чего ты к нему пристал? — заступаются за Федьку «министры».

— Молодой он...

— Простить надо, товарищ заместитель.

— Ладно,— говорит Колька,— поедешь послом в Японию, буржуям ихним от нас в суп накакаешь. «Так, мол, и так,— скажешь,— все вы, проклятые интервенты, есть то самое дерьмо, которое увидите сейчас в своем супе с профетролями!»

Сукин сын Колька-анархист! Он как «профетроль» завернет, так все партизаны, члены нового «кабинета» и «министры» немеют от восторга. Когда эдакое интеллигент очкастый выгадючивает — так он, зараза, на нашем горбу пятьдесят лет учился и книжки читал, а если свой такие крендели языком изобретает, значит, от бога ему такая выпала судьба — быть заместителем премьера и буржуям при случае в суп какать.

— Первый вопрос в повестке дня,— возвещает Колька,— решение судьбы наших политических врагов. Мною арестован командир Кульков, коммунист, и его подвывала старик Суржиков. Что будем делать с Кульковым и Суржиковым, которые несут ответственность за то, что наши отступают и отдают белому гаду те места, которые мы своей кровью у японца отбили в двадцатом годе? Я слушаю ваши предложения, члены и министры, прошу, пожалуйста, записывайтесь на выступления.

— А я писать не умею, Коль...

— Но! Но! Обращение!

— Неграмотный я, товарищ заместитель.

— Ну и дурак. Чем водку жрать, книжки б читал нашего дорогого отца Карла Маркса!

— Надо Кулькова назначить твоим заместителем!

— Чего?! — сердито удивляется Колька.— Каким еще заместителем?! Я тебя спрашиваю: вешать его или стрелять, а ты мне про заместителя вякаешь! Я сам себе заместитель!

— А за что ж его вешать-то?

— А я и не утверждаю, чтоб вешать. Можно подстрелить. Это как общество порешит.

— И стрелять его не за что!

— Не важно, что не за что,— объясняет Колька-анархист,— если мы есть действительно новая власть, так для порядка бывшую власть надо пострелять.

— Если б виноватые они были, мы с нашим удовольствием...

— Старик Суржиков из моей деревни, у него внуков-сирот семь ртов осталось,— говорит обиженный «посол» Федька.

— Ладно, члены и министры, как лисы вертитесь. Этот вопрос все равно будет решен сегодня, а сейчас я приглашаю вас на торжественную церемонию передачи трудовому народу-хозяину его богатств, очевидных, как факт. Айда распределять склады с провиантом.

— Дело!

— Давно пора все распределить!

— Буржуев с квартир повыкидаем!

— Тут буржуев нет, все сбегли!

— Не важно! Если три комнаты — тот и есть буржуй!

— У кого рожа в очках — вот те и буржуй!

— Каждая баба — буржуйка, если она чужая!

Сбит замок.

Толпа рвется в амбары. Давка, крик, вопли женщин, звон разбиваемых бутылей. Спирт пьют здесь же, из плоских американских фляг, колют банки с вареньем, мажут друг другу лица, вопят, жрут колбасы, обсыпаются мукой, прижимают к себе хлебы.

Крик становится тонким, душераздирающим; горе тому, кто падает — затопчут сапогами, вобьют в цементный холодный пол.

А маленький незаметный человечек, работавший с Колькой-анархистом больше полугода, едет себе с обозом к линии фронта, чтобы перебежать во Владивосток, а там отдыхать и Гиацинтову ручку жать и готовиться к новым операциям против красных.

Пришла ночь. Пьяная, страшная ночь с пожарами, воплями женщин и дурными песнями озверевших от спирта дружков Кольки-анархиста.

— Айда к Кулькову с Суржиковым! — просит Колька.— Порешим, гадов!

— За батьку кого хошь! — вопят пьяные мужики.— Суржикова ногами вверх на осину!

— Братцы, мне Нюрка ухо укусила, на нитке болтается!

— Глянь, Федюня под стол блюет!

— Министры,— надрывается Колька,— айда порешим политических врагов!

— Беги ты со своими врагами на хутор бабочек ловить!

— Измена? — шепчет Колька.— Всех покалечу!

Он лезет за саблей, на него наваливаются, саблю отбирают, бьют по лицу, толкают сапогами в зад, смеются и сквернословят.

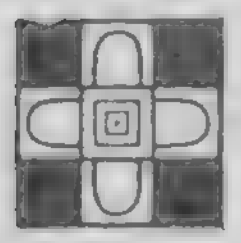
— Я ж заместитель, братцы! — орет Колька.— Нельзя меня, гады! Всех поразгоню!

Он каким-то чудом вывертывается из пьяных рук, выхватывает из кармана ребристую лимонку, и толпа шарахается в сторону.

Он бежит мимо горящих амбаров, мимо женщин с детьми, которых выбрасывают на улицу из аккуратного домика с голубыми ставенками, он бежит мимо валяющихся на мерзлой земле пьяных к сараю, где заперты Кульков и Суржиков.

Возле ворот сарая лежат два пьяных конвоира; ворота открыты, в сарае никого нет. Сбегли Кульков и Суржиков, сбегли, сволочи!

Колька долго стоит возле открытых дверей, раскачиваясь, а потом швыряет в сарай гранату. Сараишко подпрыгивает на месте и оттуда выбрасывает густое, черное пламя.



БРОНЕПОЕЗД «ЖАН ЖОРЕС»

Гулко прогрохотав через мост, бронепоезд набирает скорость и — с потушенными огнями — уходит с фронта к взбунтовавшимся партизанам. Всю операцию надо успеть провести за восемь-девять часов, с тем чтобы утром вернуться на передовые позиции и поддерживать огнем орудий обороняющихся под Хабаровском красных бойцов.

В салон-вагоне идет «процесс» над тифом. За столом — «суд»: три бойца во главе с комиссаром бронепоезда, который зарос до самой последней крайности и волосы у него, как у попа, лежат гривой на воротнике кожанки.

В вагоне яблоку упасть негде — бойцы стоят, прижавшись друг к другу. Возле окна, припертый к запотевшему стеклу,— Постышев. Его трудно отличить от остальных. Павел Петрович в такой же солдатской гимнастерке, лицо его крестьянское, российское, и здесь сейчас никто, кроме комиссара, который заметно нервничает на своем председательском кресле, не знает, что среди собравшихся судить образцово-показательным судом заклятую болезнь находится комиссар Восточного фронта.

— Прошу выступить свидетеля,— говорит председатель.

К столу протискивается веселый парень — рот до ушей, на носу — родинка, на груди болтается табличка, написанная большими печатными буквами: «НЕЧИСТОПЛОТНЫЙ БОЕЦ».

— Давай свои показания,— просит «судья».

— Сейчас,— говорит «свидетель» и, подмигнув окружающим, посматривает в шпаргалку, написанную на маленьком листочке из блокнота.— Значит, так, я считаю, что никакой заразы на свете вообще нету. Я год не моюся, а здоров, и никакая меня вошь не берет, потому как она от одного моего духу помирает — лапы кверху, и готова. Запах, он лучше лекарства вошь безобразит.

— Отойди в сторону,— говорит председатель.— Давай сюда следующего!

Выходит «буржуй». На огненные вихры бойца надет цилиндр. Он еле держится на громадных оттопыренных ушах «буржуя», иначе бы сполз на глаза.

— Минька! — кричат бойцы.— Пенсню еще напяль!

— Во, сволочь, а, ребята?!

— Ишь вырядился!

— Свидетель, не вступайте в пререкания! — говорит председатель «буржую», который уже успел весьма недвусмысленно ответить на веселые возгласы.— Отвечайте по существу, как вы относитесь к тифу.

— Мы, буржуи, относимся к тифу ясно и просто — надо упасть в ножки нашим дорогим Америке и Японии, пущай помогут!

— Как вы понимаете помощь от Америки и Японии, свидетель?

— Мы, буржуи, понимаем помощь так, чтобы они для нас прислали мыло и деколон-духи под охраной своих солдат! Мы деколон-

духами отмоемся и надушимся, а рабочий с мужиком пущай гниют и вошь куют на задние ноги!

— Понятны вам мысли проклятой буржуазии, товарищи бойцы? — спрашивают из президиума.

— Понятны! — гремят бойцы.

— Что за такие мысли следует?

— К стенке ставить.

— Введите свидетелей обвинения.

Входят два бойца.

Первый делает шаг к столу президиума и начинает речь:

— Товарищ босц, я проболел тифом,— и он срывает с бритой головы меховую ушанку,— я пролежал месяц в бреду и потерял двадцать килограмм живого веса. Теперь хожу и ветра боюсь, шибает из стороны в сторону. Волоса у меня, обрати внимание, молодой революционный боец, растут теперь мелким кустарником, мышцы рук и ног стали, как у старика, и в атаку я идти не могу, а только лежу на земле и плачу кровавыми слезами, что вовремя не следил за своей чистотой и не боролся с вошью.

Выходит второй боец:

— Я хочу сказать вам, бойцы, как благодаря неосторожности и нечистоплотности несознательного элемента на фронт завезли вошь! Сколько людей она покосила, страх! Как вражеский пулемет и еще чаще! И что стало с безобидной на первый взгляд вши? Стало то, что фронт ослабел, и белые продвинулись вперед! Даешь чистоту, бойцы!

— Долой вшей!

— Даешь стирку!

— Внимание! — говорит комиссар «Жана Жореса».— Сейчас слово предоставляется защитнику.

Рыжий боец, который только что изображал буржуя, надевает пенсне и белую перчатку на левую руку, поворачивается к бойцам задом, на котором лихо рисуются две громадные заплаты, и говорит президиуму:

— Я, как аблакат-защитник, хочу задать уважаемому начальству один вопрос: ругай вошь не ругай, борись с ней не борись, а белья-то все равно нет чистого?! Все белье у нас старое, как царизм! Зачем тогда мыться?

Из-за стола президиума поднимается комиссар.

— Бойцы, вы слышали речь классового врага! — гневно говорит он.— Да, у нас нет нового белья! Много чего нет у революции. Зато у революции есть главная задача — победить! По этому поводу — все

в первый вагон! Сейчас там каждый получит четвертушку мыла, шайку с кипятком, а потом два товарища, работавшие прежде в прачечной, высушат на паровозе выстиранное вами белье и прогладят его утюгами, полученными в подарок от пролетариата Благовещенска!

В салоне, где только что проходил суд, сейчас остались комиссар «Кореса» и Постышев. Они присели к столику, закурили. В жестяных кружках дымился кипяток, заваренный на таежных снадобьях.

— Чага? — спросил Постышев.

— Нет. Лимонник с толченой березкой.

— Вкусно!

— И бодрит получше любого чая.

— А как у тебя та старушка, карамзинская племянница? Помнишь, ты ее «божьим одуванчиком» окрестил?

— Вкалывает бабулька. Только ее либерализм мучает. По всему, надо «плохо» ставить, а она «хорошо с двумя минусами» дарит. Я ее инспектировал, ругал, хотел даже на губу посадить.

— А сам грамотный?

— Что значит грамотный? Не сравнишь же ты, Пал Петрович, старую буржуйку со мной — комиссаром?

Постышев засмеялся.

— Ишь гонора сколько... Уроки у нее берешь?

— По два в день. Со всеми группами занимаюсь.

— Ну и как?

— Давай по-английски. Хочешь? Я как прынц на нем теперь изъясняюсь.

— А что она тебе ставит?

— Все больше пятерки.

— С минусами?

— С тремя.

— С тремя! — засмеялся Постышев.— Смотри, может, служебное положение используешь?

— Разрази меня гром. Я се ,и за себя ругаю. Она мне раз говорит: «Ставлю вам пять с четырьмя минусами». А я, честно говоря, ни бум-бум. Я и заявляю: «За повторение подобных провокаций ссажу с броненоезда в тайгу. Я сейчас заслужил оценку «плохо», которую и требую мне поставить».

— Молодец. Пошли посмотрим, чем она занимается.

— Да они там стихи и сказки разучивают после уроков грамоты. У меня с этого дела скулы сворачиваются. Я ее приманивал на пение,

а она говорит, что наши песни разучивать не может по причине их зверства.

— Блаженная старуха.

— Романсы, говорит, я могу для вас подбирать.

— Ну?

— Ребята ей гармонь принесли, она теперь им поет нуду под переборы.

— Пошли, пошли,— заинтересовался Постышев.— Это интересно. Романсы под гармошку — это, мил друг, событие с далеко идущими последствиями.

В седьмом вагоне идут занятия.

Посредине вагона стоит боец и декламирует — монотонно и тягуче:

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк...

— Стоп, стоп! — хлопает в ладоши Канкова.— Это невозможно! Вы ничего не желаете видеть, когда читаете. Разве можно? Поглядите же только: «Встает заря во мгле холодной...» Это холодно, вы чувствуете?

Боец виновато молчит.

— Какой цвет вы сейчас видите, Гусаков? — спрашивает Канкова бритоголового бойца.

— Известно какой: понизу красный, а сверху синим придавлено, и дым из печей пистолетом торчит.

— Ах, как прекрасно, боже ты мой, как прекрасно! — волнуясь, говорит Канкова.— Все увидели это раннее утро? Ведь у каждого в деревне обязательно было хоть одно такое утро, когда восход казался багряно-синим, и тишина окрест, и дым из труб уходил в белое, морозное небо... Дайте мне, пожалуйста, инструмент.

Бойцы осторожно передают ей гармошку. Канкова трогает пальцами черно-белые переборы, и рождается грустная мелодия в вагоне, который несется через тайгу усмирять восстание таких же мужиков.

— Гусаков,— негромко просит Канкова,— почитайте.

И бритоголовый Гусаков в дырявых портках и в гимнастерке, из которой он давно вырос, начинает читать под музыку Чайковского стихи Пушкина. Глаза его огромны, по-девичьи красивы, голос звенит высоко. И читает он так, будто все видит, будто все это проходит у него перед взором.

На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденной в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке, распевая, дева
Прядет, и, зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

...Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед;
На красных лапках гусь тяжелый,
Задумав плыть по лону вод,
Ступает бережно на лед,
Скользит и падает; веселый
Мелькает, вьется первый снег,
Звездами падая на брег...

...Гусаков замер вместе с последним аккордом. Из темноты раздались аплодисменты. Все повернули головы: возле двери стоял Постышев.

На исходе ночи, когда на востоке, над сопками, стала проясняться серая полоска, бронепоезд, сбавив ход, подошел к деревне, занятой восставшими партизанами.

Лязгая буферами, развернув стволы орудий на домишки, лежавшие темно, без единого огонька, бронепоезд остановился, и бойцы, быстро выгрузившись, пошли вверх по сопке, растянувшись в широкую цепь. Возле маленького станционного домика их окликнули. Из снежной норы, белые от холода, вылезли в одних рубашках Кульков и Суржиков.

— Где ваши люди, Кульков? — спрашивает Постышев.

— Спят пьяные.

— Кто будет нести ответственность за случившееся?

— Я.

— Чем объясните все это?

Разговор идет на ходу. Постышев вышагивает во главе цепи. Крайние дома деревни уже совсем рядом.

— Объясняю тем, что не хотел проливать кровь человека, которого не считал врагом.

— Кем вы его считали?

— Бузотером.

— Когда в стране тяжело и кругом трудности, бузотер — это потенциальный враг. Запомните на будущее. А теперь из-за вашей сахарной сладости сколько крови придется проливать?

— Позвольте, товарищ комиссар фронта, пойти в их штаб одному. Они сейчас проспались, спирта больше нет, я наведу порядок.

— Почему не сделали этого раньше?

— Вас поджидал. Боялся, как бы не начали с ходу садить из орудий.

— Кто с вами?

— Это Суржиков. Он старик. Он ни при чем.

— Мы все при чем,— сказал Суржиков,— в нас всех одна кровь. Ты нам позволь, гражданин комиссар, тихо попробовать.

— Раньше надо было тихо пробовать. Сейчас надо громко, чтобы другим не повадно было повторять.

Бойцы вступили в деревню и взяли карабины на изготовку. Шли быстро, только снег скрипел. А луна еще не растаяла. И звезды моргали белым холодом. Тихо, скотина не мычит, из труб дым в небо не тянется. И пламя долизывает черные головешки сожженных изб.

Постышев входит в штаб. Здесь тугой спиртовой дух. Повстанцы валяются вповалку, храпят на самых высоких нотах. Постышев подвигает себе табурет, садится посреди комнаты и ждет, пока бойцы с бронепоезда разоружают спящих «членов и министров».

— Все готовы,— докладывают Постышеву,— пустые они.

— Атамана разбудите.

— Колька, а Кольк...

— У...

— Вставай, сукин сын...

— Чего? — сонно, не продирая глаз, спрашивает Колька пропитым голосом.

— Вставай,— говорит Постышев,— заспался.

— А ты кто такой?

— Постышев я.

— Сдаваться пришел?

— Ага. И блины тебе спечь.

— Муки нет, народу роздал.

— Мели Емеля, твоя неделя! А ну подымайся, пошли.

Чуть брезжит рассвет. Крестьян собрали на деревенской площади, перед церковью, которая стоит сиротливо и отрешенно — двери повыломаны, окна без стекол, забиты крест-накрест, на изрешеченном

снарядами куполе надрывно кричит воронье. Здесь и жители, и охотники, пришедшие из тайги, с белковья, и бойцы с бронепоезда.

Колька-анархист и его «министры» проходят на середину круга в сопровождении Постышева, Кулькова, комиссара «Жана Жореса» и трех госполитохрановцев с бронепоезда.

— Погорельцы, идите сюда,— приглашает Постышев.

С плачем и тихим причитанием к нему пробираются крестьяне, дома которых были сожжены вчера Колькиными пьяными дружками «за буржуазность».

— Кто вас жег?

— Вон стоит, ирод!

— Этот? — показывает Постышев на Кольку.

— Он самый!

— За что ты их пожег? — спрашивает Постышев Кольку.

— Буржуи они.

— С чего взял?

— С того, что у всех избы соломой крыты, а у этих кровелем, и пятистенные, и амбарищи — будь здоров!

— Да господи! — кричит кадыкастый старик с острой, клинышком бороденкой. Лицо его в копоти, огромные крестьянские руки искровавлены, в глазах — ужас и страданье.— Да господи, кто ж здесь скажет, что я какой такой-сякой?! Семья у меня большая, все мы в труде! Оттого и кровель! Или нет, мужики?!

А мужики в толпе покашливают,— молчаливы они от природы, их смущение берет, когда надо громко говорить. Если кто первый начал, тогда б поддержали, а кто сейчас первый начнет, когда ничего не ясно?

— Чего молчите-та?! — жалобно выкрикивает старик.— Мефошка, скажи! Пров, чего рыло воротишь, я ж тебе поле пахал!

Нет, молчат мужики. Только звенит на площади один жалобный стариковский голос. Да изредка воронье всполошится, загалдят черные птицы, захлопают крыльями, закружат над куполом — и смолкнут враз.

— Чего ж вы молчите, граждане? — спрашивает Постышев.— Если он кулак-мироед, у меня с Колькой один будет разговор, а если он справный мужик, работал в поте лица, так я по-другому все оценю. А ну вы, гражданин.

Мужичок, к которому обращается Постышев, крякист, волосат, по-чалдонски широкоскул.

— А я чего? Я ничего не знаю.

— Сам из этой деревни?

— Ну, а как же иначе, понятно из этой.
— Деда знаешь?
— Какого деда?
— Меня! Меня! — кричит старик.
— А... Его... Так рази он дед? Он и не дед вовсе.
— А кто он?
— Васька он. Пантелеев.
— Дозволь мне сказать! — кричит из толпы древний старик.
— Прошу.

Древний старик выходит на середину площади, срывает шапку, истово кланяется на церковь, крестится и говорит Постышеву:

— Ты мужика пытасшь, а он — смущенный нынче, мужик-то. Потому и молчалив! Раньше справный мужик в мироедах ходил, потом Ильич сказал, что справный мужик — он тоже мужик, а не каркадил нильский и жить тоже может. Потому что — нэп! Тут вздох по нам прошел и радость, а теперя вот этот гражданин сказал, что он заместитель Ильича, и приказал пожечь всех справных, у кого не солома, а кровель. Вот оттого мужик смущенный и боится про то сказать правду, что Васька Пантелеев мужик как мужик, на себе пашет, на себе таскает, из себя жгут вист. Я — сирота, живу Христа ради, мне страх неизвестный, а остальные молчат! Вы уйдете, а этого гражданина анархиста тут гарнизон останется, а он им спирт роздал с мясом, они за него кому хошь голову прошибут. Вот и все.

Старик надевает драный картуз на лысую голову, поросшую детским пушком, снова кланяется на все четыре стороны и уходит в толпу.

— С чего ты решил, что Пантелеев буржуй? — спрашивает Постышев Кольку.

— Да какой я буржуй?! — Пантелеев рвет своими громадными пальцами бескровные губы.— Вона зубы-то мои где?! Нет их у меня, голод да цинга скрошила!

— Отвечай! — стараясь сдерживаться, просит Постышев Кольку.

— А притворяется он! Ишь комедь тут вкручивает! Небось забыл, как давеча орал: «Пропадите вы, красные, все пропадом!»

— Так ты комод мой грабил! Что годами копил, себе в куске отказывал! Ирод треклятый, нет на тебя погибели!

— Я — революционер! — говорит Колька.— Мне на твои комоды семь раз плевать! Я с амбара, который народу роздал, себе ни крохи не взял, а вона в каких галифе хожу — на просвет и драные!

Постышев курит папироску быстрыми затяжками и смотрит

из-под насупленных пшеничных бровей то на Кольку, то на мужиков.

— А ты чего для революции делал в своей презренной жизни?! — спрашивает Колька.— Ты только ее благами пользовался, а ей зад казал!

— Сам ты ей зад казал! А кто партизанам подводы давал без денег?! А кто хлеб для голодающих отгружал без счету?! А кто зятя на войну проводил?! А кто коня отдал в армию к Блюхеру?!

— Про это молчи! Она тебе заместо всего этого землю дала!

Сквозь толпу медленно идет седая, простоволосая баба. Она сейчас не видит никого, идет прямо на Кольку. Тот продолжает поначалу хорохориться, но, чем ближе к нему подходит простоволосая женщина, с лицом закопченным, темноватым и с белыми остановившимися глазами, тем тише становится Колька, а потом он начинает пятиться от женщины, но она неожиданно для всех делает прыжок, звериный, отчаянный, вцепляется в Колькины уши, рвет их и кричит на одной ноте — исступленно и жутко. Ее с трудом отрывают от Колькиной враз окровавевшей головы. Женщина бьется в руках госполитохрановцев и кричит:

— Плевать я хотела на вашу землю и на твою революцию! Гад! Накой она мне, если ты Машку мою споганил?!

— Чего вы требуете для него? — спрашивает побелевший Постышев.— Какого наказания?

Мужики молчат.

На востоке, толчками, поднимается из-за сопок красный диск солнца. Он разрезан синей полосой туч.

— Смерти ему мало! — говорит женщина, ослабевшая от крика.— Мало ему смерти, иуде подлому.

— Дурачье! — кричит Колька.— Вот продадут вас коммунисты белым — тогда заплачете. Я ж добра вам хочу! Я ж полной свободы вам хочу!

— К стенке его! — говорит Суржиков.— К стенке!

Кричит воронье, чиркает черными молниями по красному диску солнца. Небо розовеет исподволь, постепенно — с севера на юг. Тайга смотрится напросвет — как черепаховый гребень по вершинам далеких сопок.

И гулко, широко звучит залп.

Эхо грохочет в сопках, балуется, похохатывает и резко смолкает.

К бронепоезду идут бойцы. За ними, растянувшись цепочкой, во главе с Кульковым и Суржиковым идут давешние «повстанцы».

Кульков, обежав по глубокому снегу колонну с бронепоезда, запыхавшись, обращается к Постышеву:

— Павел Петрович, ты позволь нам сразу на передовую, чтоб кровью искупить.

— Не его надо было стрелять,— сквозь зубы цедит Постышев,— а тебя — большевика! Ишь либерал! Ты добренький, а комиссар Постышев пусть стреляет, да?! Ты молчи только, ты сейчас молчи, потому что нет тебе оправдания!

Постышев дышит тяжело, глаз почти не видно, нос от холода посинел, плечи у комиссара фронта опущены, а руки засунуты глубоко в карманы легонькой, драной шинельки.

— Грузись в бронепоезд и каждого человека через госполитохрану пропустишь — нет ли тут ниточки от Гиацинтова. А потом в тылы к белым пойдешь, под Владивосток, партизанить,— говорит Постышев.

ВЛАДИВОСТОК

Совещание у премьер-министра начинается ровно в девять. Приглашены министр иностранных дел Николай Меркулов, японский полковник Мацуми, генерал Глебов, генерал Вержбицкий, считающийся заместителем главкома, и Николай Иванович Ванюшин, но, понятно, не как представитель прессы, а как умница «по должности» и хороший приятель Николая Меркулова по официальному положению в обществе. В уголке, возле камина, сидит полковник Гиацинтов — в штатском, надушенный и красивый.

— Господа, я пригласил вас по крайне важному делу,— сказал премьер.— Разговор пойдет в нескольких направлениях. Первое из них: анализ причин, приведших к полному краху Деникина, Юденича и всеми нами оплакиваемого Колчака. Увы, я должен со всей определенностью сказать, что крах был не следствием ошибок, ими совершенных, он наступил лишь потому, что эти великие люди не выдвинули вовремя великих идей. Тех самых идей, которые могли бы привлечь подавляющее большинство населения России. Следова-

тельно, задача номер один для нас, в дни победоносного наступления белых героев на Хабаровск и Читу, заключается в том, чтобы как можно скорее и точнее сформулировать основные истины, которые будут с восторгом приняты русским народом. Я хотел бы просить министра иностранных дел и господина Ванюшина завтра же выехать на фронт, поближе познакомиться с воинами, побеседовать с жителями освобожденных городов и деревень, словом, составить себе определенную и честную картину нашей общественной жизни, с тем чтобы потом организовать прессу и помочь нам четко сформулировать программу, с которой мы пойдем дальше — на запад. Но не только ради этого я просил бы поехать господина министра иностранных дел и господина Ванюшина на фронт. Я счастлив сообщить вам, друзья, что в Токио маршал Жоффр закончил переговоры с Японией о сроках и способах переброски сюда армии нашего друга Врангеля. Маршал также позавчера получил чрезвычайные полномочия — в случае нашего успеха, в случае освобождения Хабаровска и Читы — заключить с нами и с нашими японскими братьями договор, по которому только мы будем признаны в мире единственным законным правительством русского Дальнего Востока. А это позволит нам обратиться в Лигу Наций и потребовать гарантий против большевиков. А единственная надежная гарантия — это сохранение здесь братских японских дивизий, которые защитят нашу свободу и независимость.

— Японские войска,— сказал полковник Мацуми,— будут олицетворять войска Антанты и всего свободолюбивого человечества.

— Я прошу, господа, обсудить совместно этот вопрос, прежде чем мы перейдем к последующим.

— На фронте уже кончаются снаряды, мало патронов,— жарко заговорил Глебов.— Люди не имеют пулеметов тех новейших систем, которые находятся на вооружении японской армии. Моторы в танках ни черта не работают! Если в течение двух-трех недель не придет помощь, будет довольно трудно развивать стратегический успех. Надо меньше болтать о братстве и помощи, а побольше помогать!

— О, я понял,— улыбнулся полковник Мацуми,— позвольте ответить, генерал. Помогать можно только реальной силе. За эти несколько недель мы убедились в реальности вашей силы. Сегодня мы отгружаем пять вагонов снарядов, патронов и новейших винтовок. Это будет отныне три раза в неделю.

— Браво! — сказал Николай Меркулов и зааплодировал.— Браво, друзья! Это честно и по-мужски!

— Друзья мои,— поднявшись с кресла, сказал генерал Вержбиц-

кий.— Позвольте мне обрадовать вас: наши авангардные соединения стоят под Хабаровском. Город виден в бинокль. Теперь, я надеюсь, господин министр иностранных дел сумеет договориться с атаманом Семеновым, войска которого бездействуют. Если он вольет своих казаков в наши ряды, победа обеспечена наверняка.

Меркуловы быстро переглянулись.

— В этом деле надо тщательно разобраться,— сказал премьер.— Очень здесь надо взвесить все «за» и «против». Ну, а чем нас порадует Гиацинтов?

— У меня есть два сообщения,— поднявшись, сказал Гиацинтов.— Одно приятное, а второе тревожное. Начну с приятного. В тылу большевистских войск начались партизанско-крестьянские восстания, вызванные зверствами красных комиссаров над мужиком. Я бы хотел встретиться попозже с представителями генштаба и попросить их распорядиться о максимальном благоприятствии по отношению к анархистам, эсерам и крайне левым коммунистам. Именно с представителями этих течений работали мои люди.

— Очень интересно! — сказал Меркулов-старший.— Очень интересно и зорко!

— Не верю,— отрезал Глебов.— Всех к стенке!

— Генерал, нашего друга Гиацинтова, право, довольно трудно заподозрить в красноватости,— сказал премьер-министр.

— Второе сообщение. Я пока ничего не могу утверждать определенно, однако мне представляется, что в городе, даже после уничтожения большевистского подполья, все равно существует глубоко законспирированная очень сильная организация. И то, что не работают моторы танков, уважаемый генерал Глебов, виноваты отнюдь не наши японские братья, а красные.

— Какие, кто, где?!

— Я пока что не обладаю достаточным количеством фактов, чтобы ответить сейчас же на ваши вопросы. Идет тщательная оперативная работа, и, по-видимому, в течение ближайших дней я смогу доложить о результатах.

— Прекрасно,— сказал Меркулов и что-то отметил в календаре,— в этом деле надо тоже тщательно разобраться. Переходим к следующему пункту.

Меркулов не успел сказать, каким будет следующий пункт, потому что в кабинет вошел Фривейский и положил перед премьер-министром большой телеграфный бланк, на котором сверху было набрано красными буквами: «Срочно. Совершенно секретно. Правительственная». Спиридон Дионисьевич надел очки, взял в руки телеграфный

бланк и начал читать по складам, как все дальнозоркие люди, отставив бумагу далеко на вытянутую руку.

— Господа,— сказал он.— Прошу всех встать.

Все поднялись.

— Господа, члены царствующей династии Романовых пишут мне из Европы, что их сердца и помыслы со мной, в моем великом деле! Теперь я не вижу ничего, что мешало бы договориться с атаманом Семеновым. Как патриот, после этой телеграммы он, я думаю, поймет мою роль в нашей великой борьбе.

Меркулов поцеловал краешек телеграммы и сказал:

— Прошу простить, господа.

Быстрыми шагами, заложив руку за отворот френча — ни дать ни взять Керенский,— ушел в маленькую комнатку, к киоту. Рухнул на колени перед образами и начал жарко молиться. Глаза его засветились и ноздри стали трепыхаться. Это значило — быть сейчас слезам.

КАФЕ «АФРОДИТА»

Гиацинтов позвонил в редакцию Ванюшину и попросил Николая Ивановича встретиться с ним — выпить чашку кофе и посоветоваться по важному делу.

Гиацинтов приехал в кафе первым, сел возле окна, закурил, попросил лакея принести два кофе и, опершись лбом о ладони, принялся разглядывать серые прожилки на белом мраморе стола.

Ванюшин вошел в кафе тихо, глядя себе под ноги, на приветствия знакомых не отвечал. Сел возле полковника и спросил:

— Что-нибудь неприятное?

— И да и нет,— ответил тот, заправляя в длинный мундштук новую сигарету.— Я похитрить тебя позвал.

— Устал.

— От хитрости не устают, от нее гибнут.

— Афоризмы, афоризмы — они-то красивы, а истина уродлива.

— О! Это даже не афоризм, это аксиома. Что Исаева не привез?

— Ты же просил меня приехать одного.

— По-моему, ты доверяешь ему больше, чем себе.

— Себе-то я вообще не доверяю, я — растратчик по натуре.

— Коля, как на духу: ты Исаева давно знаешь?

— Я работал с ним у Колчака и шел от Омска до Харбина.

— Ну, а если мы его возьмем к себе?

— Он не согласится.

— Ты меня неверно понял. Что, если мы его заберем?

— Причины?

— У меня нет явных улик, у меня есть уверенность, построенная на интуиции.

— Я не дам его в обиду, Кирилл. Не потому, что, как и всякий русский интеллигент, я не люблю жандармов, нет. Просто нельзя хватать людей из-за интуиции, это — средневековье.

— А если я дам на него компрометирующий материал?

— Другой разговор.

— Но тогда я буду со щитом, и я смогу припомнить этот наш разговор.

— Ты что — угрожаешь?

— В некотором роде.

— Господь с тобой, Кирилл, я уже пуганый, с тех пор ни хрена не боюсь. Сволочи, в кофе соли целую чайную ложку кладут.

— Турецкий рецепт.

— Ерунда, просто кофе зазеленелый, иначе он плесенью отдает... И поскольку я отношусь к тебе с симпатией, Кирилл, не советую зря рисковать: я-то — бумагомаратель, я-то — зеро, но Меркулов будет недоволен. Об этом уж я позабочусь.

— Ах, вот так...

— И не иначе.

— Считаем, что этого разговора не было вовсе.

— А его и не было,— улыбнулся Ванюшин и стал рисовать пальцем замысловатые узоры на запотевшем окне.

Уже третий день шел дождь со снегом, океан казался коричневым, он был иссечен тонкими струйками, и, если по вечерам, когда город затихал, подолгу слушать, начинался тоненький стеклянный перезвон — дождевые пузырьки лопались.

САЛОН-ВАГОН МЕРКУЛОВА

Ванюшин сидит у стола, уставленного закусками и коньяками, и молча, неотрывно смотрит в угол. Меркулов-младший полулежит на диване и что-то тихонько мурлычет.

— Мне порой в пыльных углах продолговатых комнат мерещатся рваные раны на человеческих лицах,— говорит Ванюшин.— Не могу в углы смотреть. Вы что-нибудь видите там?

— Вижу. Пыль.

— Счастливый вы человек.

— Совершенно справедливо изволили заметить. Без домыслов жить — таков главный секрет счастливого времяпрепровождения на планете.

— Что вы считаете «домыслами»?

— Многое. Обиду, сострадания, рассуждения о том, кто и как оценит деяние, жалость, наивные понятия о порядочности — все это чудовищно нелепо и глупо. И — главное — никому не нужно.

— Вам надо проповедовать свою веру,— сказал Ванюшин.— Она очень рациональна, ее многие примут, особенно слабые и жалостливые люди. На кой черт вам политика?

— А интересно. Признаюсь доверительно: мы все капельку дети, мы обожаем играть в цацки. Прямой провод, охранник во второй машине, ночные совещания с парламентским меньшинством, тосты на приемах, двусмысленности в беседах с послами... У меня иногда ладони чешутся от счастья. Мы с братом купцы, а торговля в нашей богом проклятой стороне считается позором. Разве нет? Вы и старались в этом убедить мужика, вы, литераторы российские, правдолюбцы, которых победивший пролетариат, озверев, коленом под зад и к чертовой матери выгнал! И вот мы с братом, русские купцы, заправляем судьбами империи! Здорово, черт возьми! Я иногда ночью проснусь, себя щиплю, щиплю, все думаю — сон у меня затянулся, аж по спине озноб ползет — сейчас кончится...

Меркулов выпил немного коньяка, понюхал маслину, съел кусок черного хлеба, улыбнулся открытой и доброй улыбкой веселого, преуспевающего человека.

— Понимаете, мой дорогой писатель, в политике, как в любви. Когда мужчина добивается замужней женщины, он наивно убежден, что, отбив ее, будет ей лучше и понятней. Понимаете мою мысль?

— Не понимаю.

— А я уж и сам перестал понимать. Хотел позанятней разъяснить. У нас занятость в человецех писателями ценится пуще добропорядоч-

ности. Возьмете и книжечку про меня маранете. Пусть даже подлецом изругаете, важно, чтоб след остался об человеке — рисованный или печатный, не важно,— тогда не страшно жить, дубликат останется в случае кончины. Я смерти боюсь, оттого так часто снимаюсь в американской кинохронике — чтоб только остаться на земле. Хоть плоским — а все равно двигаюсь. Дубликат вроде бы после меня сохранится.

— Любопытный вы человечина, министр. Прет из вас самобытность. На кой черт вам сдалась эта самая политика — не пойму? Грязь ведь это.

— А вы что, свое дело считаете чистеньким? — вдруг трезво, с издевкой спросил Меркулов.— Вы тоже в дерьме по уши, и кровушки в оное дерьмо вкраплено весьма обильно.

— Послушайте, а что — правду болтают, будто вы заключили с японцами сделку на продажу древесины?

— Правду.

— Выгодно?

— Весьма.

— А деньги почему сюда не переводите, а оставляете в Токио?

— Бог его знает. Тут все зыбко, хоть и побеждаем. Как на трясине стоим. Поэтому брат и мечтает дать такие идеи, которые захватят народ. Умница Спиридон, а иногда вдруг такую блажь завернет — спасу нет.

— О чем вы?

— Да так... Я опьянел, давайте лучше спать, дружище.

Вошел дежурный офицер, склонился к Меркулову, вкрадчиво сказал:

— Ваше превосходительство, поезд вступает во фронтовую полосу, позвольте выключить электричество, не ровен час прострочат партизаны.

— Пусть строчат, жидомассоны, мать иху так... Хотите выпить, милый?

— Моя фамилия Осипов-Шануа, мой титул — граф. Благодарю вас, министр, но я считаю унизительным для себя пить коньяк и жрать маслины на подступах к фронту, где люди замерзают в окопах.

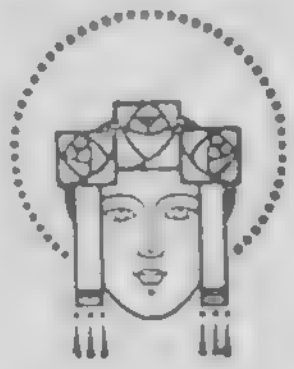
Граф вышел с замороженной улыбкой, только скулы замерли и синие глаза на тонком лице сощурились в щелочки.

— О! — вслед ему сказал Меркулов.— Понятно? Обидел он меня. А я — что? Я без домыслов — спать!

И Меркулов, танцуя на одной ноге, начал стаскивать с себя черные в серую полосочку брюки.

— Вы, как нимфа, в спортивных трусиках,— усмехнувшись, сказал Ванюшин,— но это у вас от наивности, это, в общем, хорошо, что вы носите такие трусики, словно бойскаут.

— Я понимаю, к чему вы клоните,— натягивая на себя одеяло, сказал Меркулов сонным голосом.— Вы хотите, чтоб мы всех подряд стреляли, и этот граф тоже хочет. А мы с братом опасаемся. Потому что так — нас просто турнут, а ежели стрелять — вздернут. Мы купцы, мы семь раз мерим, один раз режем и бога помним. Спокойной ночи, писатель, укладывайтесь. Завтра с утра садитесь речь мне писать...



РЕДАКЦИЯ ВАНЮШИНА

За столом редактора сидит Исаев в ворохе телеграфных сообщений. Он быстро читает с листа, часть бросает в корзину, часть передает метранпажу и коротко приказывает:

— В номер, в номер, в номер...

— Максим Максимыч, я думаю оставить окно для корреспонденции Николая Ивановича. По-видимому, он скоро пришлет с фронта.

— Разумно.

— Как вам кажется, стоит ли дать рекламу на «Генриха Наваррского»?

— Что за реклама?

Семь бед — один ответ

— главный лейтмотив этой исторической драмы.

Правдивый быт берлинского двора

— Почему берлинского?

— Генрих — немецкое имя.

— Генрих Наваррский отнюдь не берлинец.

— Сию минуточку, заменю. Дальше: «Женщины в его постели, гнев оскорбленной королевы, турниры и скачки, рыданья и комедии — все, как в нашей жизни».

— Ничего,— улыбается Исаев.— Особенно точно последнее замечание. Кто писал?

— Я...— смущенно отвечает метранпаж,— в порядке опыта.

— Вполне. Валяйте в набор.

Метранпаж рысцой убегает в типографию. За окнами слышен рев голосов. Он все ближе и ближе. Дрожат стекла в кабинете. Исаев подходит к окнам. По Алеутской, оглушительно грохоча сапогами, с лихой песней идут войска.

Улица запружена юнкерами, студентами, дамочками — овации, слезы, счастливые, сияющие лица. Исаев стоит у окна, нахмурившись, поджав губы. И вдруг — резко, толчком — замечает на себе чей-то пристальный взгляд.

Разведчик обязан быть актером. Исаев чуть-чуть дрогнул в лице, сыграл начало улыбки, потом сыграл улыбку; он поднимает над головой руки и соединяет их в приветственном салюте героям-солдатам, которые сегодня отправляются на фронт.

И только после долгих улыбок и салюта Исаев отрывает глаза от солдат и стремительно осторожным взглядом проносится по толпе.

Профессионально и точно Исаев отметил двух молодчиков с цинковыми, «озабоченными» глазами. Они, играя сейчас в озабоченность, прилипчиво смотрели на Исаева и как только заметили, что он видит их, сразу же — без всякого перехода и безо всякой, необходимой в этом случае, игры — стали размахивать руками и кричать «ура».

И еще одного человека, неотрывно смотревшего в окно, заметил Исаев. Это была Сашенька. Она стояла возле ворот, как раз напротив редакции, к груди прижимала тетрадку, ее толкали мальчишки и дамы, устремившиеся следом за прошедшими войсками, а она, не замечая ничего вокруг себя, зачарованно смотрела на Исаева.

Исаев улыбнулся ей, девушка поняла, что он видел, как она смотрела на него, смутилась и, низко опустив голову, побежала через дорогу в редакцию.

Двое молодчиков с озабоченными глазами принялись расхаживать по тротуару напротив редакционных дверей. Исаев видел, как они, стараясь казаться праздношатающимися, что-то насвистывали. Он не слышал, что они насвистывали, но ему казалось, что и это они делали фальшиво.

«Дурак, песню испортил»,— вспомнил он Горького и вдруг отчетливо понял: «Что-то случилось с Ченом. Он пропустил два срока».

Исаев сел к телефону и стал смотреть на черный нескладный аппарат. Тихонько скрипнула дверь. Исаев поднял голову и увидел Сашеньку.

— Максим Максимыч,— сказала она решительно,— я написала про то, что вы мне показывали. Вы обязаны это напечатать.

И она положила на стол тетрадку, исписанную аккуратными строчками.

Прочитав первую страницу, Исаев усмехнулся и смешно почесал нос.

— Сколько вам лет, Максим Максимыч?

— Почему вы спрашиваете про это?

— Потому что вы смеетесь там, где может смеяться только черствый старик.

— Мне семьсот семьдесят семь лет,— улыбнулся Исаев.— Сашенька, разве это можно напечатать, славная вы девочка?

— А вы испугались?

— Конечно.

— Максим Максимыч, пожалуйста, не говорите так. Вы лучше, чем хотите казаться. Вы хотите быть плохим, наглым, у вас это великолепно выходит, только у вас иногда глаза бывают, как у больной собаки. Это я так для себя называю глаза у честных людей.

Исаев испугался той нежности, с которой он смотрел на девушку. Он заставил себя опустить веки и потереть виски. Усмехнулся обычной своей колючей ухмылкой, опустил вниз уголки рта.

«Если за мной пустили наружку, то оппозиционность и скандал в печати будут сейчас мне даже на пользу,— быстро решил Исаев.—

Человек, который ничего не боится, должен идти на скандал и открытую драку. Если я в чем-то засветился и Гиацинтов возьмет меня, я стану утверждать, что он расправляется со мной из-за скандального разоблачения в газете наших притонов. Интеллигенция и молодежь станет на мою защиту. В конце концов можно будет тогда обратиться к Ванюшину и ребятам из Ассошиэйтед Пресс. Это на крайний случай, конечно. Сейчас я должен идти на драку — это лучшее алиби».

— Хорошо,— сказал Исаев,— только, Сашенька, давайте договоримся: вы снимаете свою подпись, во-первых; клянетесь никому не говорить, что это написали вы, если не хотите мне зла, во-вторых; и, в-третьих, после того, как я сам допишу ваш материал и наберу его, эта тетрадка будет сожжена.

— Хотите, дам честное благородное слово?

— Хочу.

— Честное благородное слово, Максим Максимыч! Не обижусь: дописывайте, переделывайте и жгите — пожалуйста. Но обязательно напечатайте про этот наш позор. Только неужели вы слову верите?

— Вашему — да. Быстренько уходите. И надуйтесь на меня для вида, а я пойду работать.

Исаев взял тетрадь и побежал через две ступеньки вниз в наборный цех.

ПОЛТАВСКАЯ, 3

В кабинете у Гиацинтова приспущены шторы. Настольная лампа выхватывает из полутьмы зеленоватый овал стола. Гиацинтов чертит на листке бумаги женские профили. Напротив него сидит Чен.

— Послушайте меня, приятель,— говорит Гиацинтов,— кто ко мне попал, тот сам не выходит. Если, конечно, я не столкнулся с умным и дальновидным человеком. Вся ваша липа с американским телеграфным агентством и с листовками для Лобба мною проверена. Вы им материалы подсовывали политического характера, чтобы поссорить атамана Семенова с нашим правительством. Кто вам передавал эти материалы?

— Мне смешно вас слушать, Кирилл Николаевич,— улыбается Чен.— Мое дело — сенсация. И на бирже и в политике. За свежий товар платят больше. В воздухе тогда носились слухи про Семенова, а что там и как — не это ведь важно, Кирилл Николаевич, важно, чтоб первым.

— Вполне рационально, вполне... А зачем водичку с соляной наливали в бензин для танков?

— Нет, это явная клевета и гнусный домысел!

— Какой смысл моим людям клеветать на вас?

— Я и сам голову ломаю. Может быть, меня с кем-нибудь спутали?

— Да нет,— сокрушается Гиацинтов,— я сам был бы рад, если б спутали... У вас столько влиятельных защитников. Вон Максим Максимыч уж пятый раз звонит, справляется о вас...

— Кто, кто?

— Да Исаев, Макс...

— Не изволю знать.

— Полноте, полноте.

— Как вы сказали? Макс?

— Ну да. Максим Максимыч. Исаев.

— Право, не помню.

— Значит, не знакомы?

— Совершенно определенно — не знаком.

Гиацинтов открыл ящик стола, достал конверт, бросил его Чену.

— Посмотрите, это занятно.

Чен улыбнулся своей ослепительной, чуть подобострастной улыбкой, придвинул к себе конверт, достал из него несколько фотографий. На всех фотографиях были изображены Чен с Исаевым: у касс ипподрома, на улице, возле редакции.

— Ну как? — поинтересовался Гиацинтов, разглядывая свои квадратные, лопатообразые ногти.— Признали?

— Нет, не признал. Я ведь имею богатую клиентуру в городе: большинство уважаемых людей играет на бирже, даже ваши сотрудники.

— Я знаю,— спокойно сказал Гиацинтов.— Вы имеете в виду кого персонально?

— Многих.

— Уж и многих...

— Честное благородное,

— И всех помните?

— Не всех, но большинство.

— А Исаева забыли?

— Кого?

— Исаева.

— Забыл.

— Вы, между прочим, этим своим упорством ему хуже делаете. Я уж забеспокоился — что вы так его выгораживаете, не боитесь ли вы его? Надо будет мне им заняться как следует.

— Конечно. Проверка — великая вещь.

— Приятель, вы что, меня в дураках хотите оставить?

— Господи, да что вы, Кирилл Николаевич? Я ведь не против того, что мéня посадили, только зачем мне лишнее клеить? На черном рынке играл? Да, играл! Бизнес имел с иностранцами? Да, имел! За это готов нести наказание.

— А деньги ваши где от бизнеса?

— Кутежи и проститутки жизнь отнимут, не то что деньги.

— Опять-таки верно. Значит, поручителя за вас не найдется?

— Кого угодно про меня спросите — все скажут только доброе.

— Ну что ж, сейчас мы пригласим того, кто помнит вас.

Гиацинтов позвонил в звоночек. Дверь отворилась, и вошел Стрелков, агент по кличке Столяр.

— Здравствуйте, гражданин чекист Марейкис,— заговорил он шипучим голосом.— Не думали, верно, что встретимся? А я — вот он весь перед вами! Или забыли Лубянку? Забыл кабинет на третьем этаже?!

Стрелков набрал в рот слюны и, приблизившись, плюнул Чену в лицо.

Чен достал платок, вытер лицо, ни один мускул в нем не дрогнул.

— Я протестую,— сказал он тихо.— Что это такое, Кирилл Николаевич?

Стрелков ударил его наотмашь — ребром ладони по лицу. Хлынула кровь из носа.

—.Я те попротестую,— прохрипел он.— Я те, суке, попротестую!

— Успокойтесь,— сказал Гиацинтов,— поменьше эмоций. Спасибо вам, Сергей Дмитриевич. До свиданья.

Стрелков вышел из кабинета.

— Послушайте, милый товарищ Марейкис,— заговорил Гиацинтов,— не считайте нас олухами. Вы свою партию проиграли. Хотите жить — давайте говорить откровенно. Ну как?

— Тут какая-то чудовищная ошибка, Кирилл Николаевич, право слово!

— Пеняйте на себя. Сейчас вас станут пытать. А как же иначе прикажете поступать? Не гуманно? Согласен! Так помогите мне не быть жестоким. Вы делаете нас зверьми, вы, а не кто-либо другой.

Вошло пятеро. Они зажали руки и ноги Чена в деревянные колодки и разложили на столе набор тупых игл.

— Они сейчас будут вгонять вам иглы под ногти. Это больно, очень больно,— медленно говорил Гиацинтов, продолжая заниматься своим маникюром.— Начинайте, ребята.

В кабинете стало тихо. Гиацинтов отложил пилки, и когда иголка стала входить под ноготь большого пальца, оставляя багровый след, он весь подался вперед, впившись глазами в лицо Чена. А Чен сидел недвижно, лицо его словно окаменело, только зрачки глаз стали расширяться.

— В мизинчик,— тихо попросил Гиацинтов,— это нежней, когда в мизинчик, там мясцо молоденькое.

И снова он весь подался вперед, а Чен продолжал сидеть, замерев, и смотрел широко открытыми глазами сквозь полковника, который кусал губы и часто дышал, наблюдая за иглой, входившей в мизинец.

— Ну! Ну же! — говорил Гиацинтов.— Ну зачем ты нас всех мучаешь? Ну скажи нам что-нибудь...

Чен ответил утиным, крякающим голосом:

— Это ошибка, я ни в чем не виноват.

Сказал он это очень быстро, потому что боялся сорваться на крик.

— Ага,— обрадовался Гиацинтов,— дрогнул! Теперь в безымянный ему воткните и чтоб кровь клопчиками, клопчиками капала!

ПОЗИЦИИ БЕЛЫХ

Дивизия выстроена в каре. Лица солдат утомлены, глаза воспаленные, чуть блестят — перед построением выдали по стакану водки. Вдали слышно, как ворочается гром: это идет артобстрел красных.

Посредине каре, на трибуне, стоит главком — генерал Молчанов, а рядом на красно-зеленом половичке — брат вождя, Николай Меркулов, министр иностранных дел. Внизу, возле трибуны, замер генералитет, офицеры штаба, Ванюшин.

— И мы торжественно заявляем,— подняв руку над головой, зычно выкрикивает Меркулов текст, написанный для него Ванюшиным,—

что никакая иная правда нас не тревожит, кроме правды народной. Мужику будет нарезана земля, торговцу отдана лавка, а предприниматель позовет рабочего на завод, уважительно обращаясь к нему по имени и отчеству, как к брату и другу. Для того чтобы поскорей спасти страну от большевистских оборотней, нам осталось не так уж много сделать! Я говорю вам — вперед, на Читу! Я говорю вам — на Хабаровск! Я зову вас к победе! Я вижу вас победителями! Ура!

Победное «ура» несется над каре в сухом, морозном воздухе.

Ванюшин внимательно смотрит на лица солдат и замечает то, чего не видит, а может быть, и не хочет видеть Меркулов, возвышающийся на трибуне возле сухого, аскетичного Молчанова, одетого в солдатскую форму — по-наполеоновски.

Ванюшин видит, как солдаты посмеиваются, подмигивают, подталкивают друг друга локтями. А глотку все равно дерут: черт его знает, а вдруг возьмет министр да отвалит за бравый прием еще по стакашке водочки. Чего ж не поорать-то?

ЦЕНЗУРНЫЙ КОМИТЕТ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

Председатель комитета идет навстречу Исаеву, здоровается с ним весьма сухо, усаживает его в кресло и, сокрушенно качая головой, говорит:

— Доброе утро, доброе утро... Какая все-таки гнусность вышла... Вместо героической корреспонденции Ванюшина с фронта эта гадость о публичных девках. Кто вас подвел? Давайте решать, что станем делать. По-моему, это граничит с злоумышлением.

— Господин цензор, тогда лучше заранее казните меня.

— О чем вы?

— Это я поставил материал про девок.

— Вы?!

Исаев молча кивнул и мило улыбнулся.

— Зачем?

— А тираж? Газету раскупили за двадцать минут, такой материал публика читает взахлеб. Согласитесь: что может быть приятнее, чем прочесть о несчастьях других?

— Вы с ума сошли! — тихо сказал цензор.

— Не надо таких трагичных интонаций. Когда я работал в прессгруппе Колчака, мы не боялись печатать правду. И потом — почему красные говорят беспощадную правду о своих трудностях и поражениях, а мы обязаны молчать?

— При чем здесь красные? Меня они меньше всего интересуют!

В кабинет без стука вошел Гиацинтов. Он дружески обнялся с Исаевым, пожал руку цензору, упал в кресло, забросил ногу за ногу и спросил:

— Он вас давно пытает, наш доблестный страж государственной тайны? Не обижайтесь, Макс. В общем, он прав. В эти дни можно было бы обойтись без разоблачений. Победа на фронте обязывает к точному соответствию в тыловой прессе. Все это ерунда. Меня интересует, кто это вставил в номер, Макс?

— Я.

— Ну, перестаньте, старина, это не так смешно, как вам кажется. Красные наверняка сейчас передают содержание статьи в Москву.

— Зачем им это?

— Позлобствовать, похихикать над нашими горестями.

— Досадно, конечно, но статью поставил в номер я.

— В обход цензуры?

— Когда я верстаю номер, то думаю о газете, а не о цензуре.

— Кто писал статью?

— Черт его знает.

— Где текст?

— Валяется в редакции.

— У кого?

— По-видимому, у метранпажа.

— Метранпаж у нас. Он клянется, что подлинника в типографии никто не видел после набора.

— А, ерунда какая...

— Вы видели, как набирали этот материал?

— Да.

— На чем он был написан?

— На листочках.

— Я понимаю, что не на веточках. Какие были листочки? Большие, маленькие, чистые, в линеечку?

— Кажется, чистые.

— Понятно. А через кого этот материал попал к вам?

— Он лежал у меня на столе.

— Вам его принесли?

— Нет, просто я обнаружил этот материал на столе.
— Когда это было?
— Вчера.
— Утром?
— Да.
— Кто дежурил в редакции?
— Не знаю, полковник.
— Сторожиха утверждает, что никого в редакции из посторонних не было ни ночью, ни утром, кроме девицы у вас, в девять ровно.
— Старая сплетница,— улыбнулся Исаев.— Уволю.
— Правильно поступите. Так кто эта девица?
— Полковник, вы вольны казнить меня,— сказал Исаев шутливо и протянул на стол обе руки,— можете заковать меня в кандалы.
— Когда казнят, Макс, то в кандалы не заковывают.
— Обидно.
— У вас была Сашенька Гаврилина — не иначе...
— Уж не следите ли вы за нами?
— Угадали.
— Это ужасно. На правах доброго знакомого спасите меня от вас!
— Как вас спасешь, если все вы глупости делаете?
— Какие?
— Будто не знаете?
— Клянусь вам.
— У вас глазок острый, вы все знаете, Макс.
— Можно подумать, что я женщина, а вы меня обольщаете. Такие комплименты...
— Макс, вы с Ченом давно знакомы?
— Чен? Это который?
— Он играл на бирже.
— Такой гладенький, прилизанный?! Полукореец, полукиргиз?
— Именно.
— У него блестящий мех на шапке?
— Да, да.
— Знал. А в чем дело?
— Откуда вы его знали?
— Доставал кое-что для меня. Пару раз крепко надул.
— В чем?
— Один раз с бегами. Дал дрянной подвод на темную лошадку и взял за это сто иен, а потом обещал старояпонскую живопись на фарфоре, а вместо этого воткнул корейскую дребедень.
— Темный он человек?

— По-моему, обычный спекулянт.

— А как лучше подступиться к Чену — мягко или поддать пару раз?

— Я плохой советчик в вопросах сыска и дознания, Кирилл Николаевич.

Цензор, все время разговора листавший какие-то бумаги у себя на столе, поднялся и сказал, ни на кого не глядя:

— Цензурный комитет строго предупреждает вас, господин Исаев. В дни наших величайших побед задача журналиста российского — не чернить имеющиеся, к сожалению, в нашей жизни определенные недостатки, но поднимать на щит героизм доблестного русского воинства, которое под великими знаменами демократии, свободы и православия несет освобождение нашему народу-страдальцу, задавленному красным террором. Вы облагаетесь в силу того, что это первый случай в вашей газете, штрафом в размере тысячи рублей.

— Этот вопрос мы решим в суде,— сухо ответил Исаев и, откланявшись, вышел.

Гиацинтов посмотрел ему вслед и задумчиво сказал:

— Какой очаровательный человек, не так ли?

— Да, очень мил. Море обаяния.

— Ну, прощайте.

— Всего хорошего, господин полковник.

ПОЛТАВСКАЯ, 3. КОНТРРАЗВЕДКА

Гиацинтов ходит вокруг поседевшего, избитого Чена. В углу сидит мужчина в белом халате, с врачебным саквояжем на коленях.

— Сейчас мы,— протяжно цедит Гиацинтов,— впрыснем вам прекрасный японский препарат, который парализует вашу волю. И вы, помимо своей воли, расскажете все, что меня будет интересовать.

Чен смотрит на врача, который достает шприц, потом переводит взгляд на Гиацинтова. Движения Чена медленны, глаза запали и окружены черными тенями. Руки бессильно лежат на коленях.

— Вы разве не наслышаны об этих новшествах в работе наших японских коллег? Вы даже не ощутите того рокового мига, когда

станете ренегатом. У вас, на Лубянке, любят это слово: ре-не-гат. А что, красиво...

Гиацинтов звонит в колокольчик, дверь открывается, заглядывает Пимезов.

— Пришлите людей, мы начинаем.

— Сию минуту, господин полковник.

Адъютант стремительно скрывается за дверью.

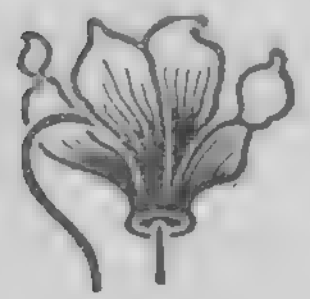
— О, вы плачете! — говорит Гиацинтов.

Чен кивает головой.

— Отчего? Я бы и раньше провел этот эксперимент, чтобы избавить вас от мук, но, к сожалению, только сегодня получил препарат из Токио. Зачем были нужны все эти муки? Ну ничего, через пару часов после того, как вы скажете про вашего друга Исаева, отправитесь спать. Накормим как следует. Напоим кагором... Ну, перестаньте, право. Слезы у взрослого мужчины...

Открывается дверь, и появляются пятеро дюжих палачей. Чен взбрасывает свое легкое тело со стула, бежит к зарешеченному окну, что есть силы ударяется головой в стекло, кровь брызжет из ушей от удара об железные решетки, и он падает на пол. Гиацинтов ахает, будто глубоко затягивается сигаретой, а потом, боровато озираясь, медленно подходит к низкой кушетке, опускается на нее и шепчет:

— Всем сидеть здесь. Тихо, пожалуйста, у меня сердце книзу подъекнуло.



ХАБАРОВСК

Постышев вернулся на свою городскую квартиру поздно вечером. В разбитые окна несет холодом, на грязном полу валяется щебенка. Когда начинает грохотать канонада за Амуром, стекла, оставшиеся в окнах, тонко дребезжат.

Постышев заткнул выбитые окна старыми шторами, затопил печь, поставил на плиту чайник и, сняв шинель, начал подметать пол. Движения его были неторопливы. Иногда он присаживался на корточки и отдыхал несколько мгновений с закрытыми глазами — сказывался голод и усталость последних дней.

В дверь постучались. Постышев, не поднимаясь с корточек, ответил:

— Валяйте, кто там...

Вошел Громов. Весь он после той, еще мирной встречи с Павлом Петровичем подсох, глаза у него сейчас были красивы той удивительной красотой, которая сопутствует отчаянию и крайней степени решимости.

— Здоров, комиссар.

— Здоров, комбриг,— в тон ему ответил Постышев.

— Давно прибыл?

— Только что. Садись. В ногах правды нет.

— А вообще она, думаешь, есть?

— Обязательно.

— Видел ты ее?

— А как же...

— Ну и какова она? Занятно мне узнать.

— Ты, случаем, не шандарахнул стакашку, Громов?

— Не с руки пир во время чумы устраивать.

— Стакан водки, по-твоему, пир? Я бы сейчас с радостью выпил.

— Я б на твоем месте только и делал, что пил.

— Ты сядь, а то маячишь перед глазами.

— Это не я маячу, а совесть партийная маячит перед твоими глазами.

— Тебе в театре заправлять, Громов. Ты еще голосом подрожи, это эффектно, так певцы делают. Ну-ка, дай совок, он за дверью.

Постышев собрал мусор в совок, высыпал его в ведро и плотно притворил дверь, чтобы не дуло холодом.

— Что у тебя снова стряслось?

— Перестань, Павел! Помнишь наш разговор летом? Помнишь, я тебе говорил, что нэп погубит революцию?! Помнишь, как ты меня высмеивал?! А кто прав? Кто? Ты или я? Бьют нас по всем статьям, отступаем! Какое к черту отступаем?! Бежим, как стадо!

— Стадо — это кто?

— Мы!

— Кем ты себя в этом стаде считаешь? Ослом или коровой? Пей чай. Только положи ложку в стакан, а то треснет, кипяток крутой. Там в шкафу должны быть сухари, погляди. Нет? Жаль. Ладно, садись, попьем с «таком».

— Ты чего от разговора уходишь, Павел? Кичился тем, что слепо идешь за Лениным? Слепо идти даже за богом глупо! Нэп на родине

революции пролетариата! Вот где началась наша гибель, вот отчего деморализация в нашей армии, вот отчего отступление на фронте, вот в чем причина грядущего краха.

— Ошалел ты, Громов. Понимаешь, что говоришь? Или стал заговариваться?

— Нет, Постышев, не заговариваюсь я! — крикнул Громов страдальчески.— Только зачем вам надо было народ подымать на того, кто живет в масле и молоке, а потом тот же народ настраивать, чтоб обратно молоко с маслом, но через допуск капитала?! Зачем, ответь мне?! Для власти, что ль? Чтоб самим барами стать, а потом все по-прежнему пустить?!

— Ты, как мне показалось, сказал «зачем вам надо было народ подымать»? Ты, как мне послышалось, сказал «вам», а себя оставил в стороне?

— Ты к слову не причепляйся! Но имей в виду, если ты Хабаровск сдашь, как все остальные города посдавал белояпонцу, я в своей бригаде объявлю вас всех тут врагами трудового народа!

— Глянь, у меня руки от страха затряслись.

— Ты чего надо мной глумишься, Павел?

— Ты с мирным населением общаешься?

— А при чем тут мирное население? Судьбу мировой революции решит в конечном счете винтарь и сабля. Тогда уж и займемся мирным населением.

— Понятно. Детишки у тебя есть?

— У меня за спиной тюрьмы есть и каторга.

— Напрасно ты этим кичишься, Громов. Тюрьма — не кудри, каторга — не римский профиль. У меня тюрьмы за спиной побольше, чем у тебя. Это к слову, не думай. А тем не менее детей я имею и этим отменно горд. Посему пошли-ка со мной.

— Куда?

— Увидишь. Значит, главная твоя задача какая, повтори мне еще раз? Мировая революция? Штык и винтарь?

— Ты не улыбься, не улыбься. Именно — штык и винтарь.

Свирепый ветер рвет полы шинелей, душит сухим, колючим снегом, слепит, валит с ног. Рядом с красиво скроенным Громовым в длинной, до пят шинели, в кожаном картузе с большой звездой, с орденом боевого Красного Знамени на левом отвороте шинели на большой красной подушечке Постышев в своем драном картузе и в короткой шинельке до колен кажется оборванцем. Они идут быстро,

склонившись вперед — на ветер. Постышев ведет Громова на эвакопункт: там, возле вокзала, в холодных бараках живут беженцы, которых еще не успели отправить в тыл.

Плач детей, темнота, запах керосина, узлы на полу, корытца, тазы, младенцы, свернувшиеся на матрацах, тифозные, которые орут за перегородкой, беспризорники, играющие в карты при свете огарка,— вот что встречает Постышева и Громова на эвакопункте.

— Когда эшелон дадут? — спрашивает Постышев сестру милосердия в накрахмаленной белой косынке с красным крестом.

— Обещали вечером, но что-то случилось с паровозом.

— Людей покормили?

— Да.

— Еще сироты поступали?

— Вчера сняли с эшелона семерых.

— Тех, что в карты режутся?

— Нет, крохотули совсем, они у меня спят, больше их уложить негде.

— Давайте заглянем.

— От ваших никаких весточек нет, Павел Петрович? — спросила сестра.

Постышев молча покачал головой и пошел следом за ней. В медпункте, на полу, свернувшись калачиками, спали малыши, чмокая во сне губами. Вымытые лица их были со сна беспокойны и мучительно напряженны. Иногда кто-то из малышей по-стариковски, тревожно стонал.

Постышев сел на стул, снял шапку и показал Громову на табуретку рядом с собой. На тумбочке, стоявшей возле окна, Постышев увидел маленькую елочку, установленную в пустой трехлитровой бутыли.

— Это зачем? — спросил Постышев.— Для дезинфекции, что ль?

Сестра ответила:

— Нет, товарищ комиссар, просто скоро будет Новый год. Надо ж малышам сделать хоть какую-нибудь радость...

Постышев внимательно посмотрел на Громова.

— Иди, Громов,— сказал он,— у меня сейчас будут задачи, идущие вразрез с твоими. Я сейчас поеду елочные игрушки доставать...

— Большевик устраивает церковный праздник,— ответил Громов,— лучше б подумал, как детей накормить.

— Ах, накормить?! — изумился Постышев.— Да разве это должно

интересовать большевика? Винтарь и сабля! Мировая революция, а дети — черт с ними, пускай гниют, зато потом, когда мы победим окончательно, тем, кто выживет от тифа и голода, будет отменно хорошо! А как им будет хорошо, когда для тебя «масло и молоко» — худшее ругательство?!

— Это ты мне при беспартийной-то?! — изумляется Громов.

— Да она в тысячу раз тебя партийней, потому что детишкам елку поставила! Уходи отсюда, Громов! Уходи!

Той же ночью Постышев вместе с шофером Ухаловым приехал в классическую гимназию и долго стучал к дворнику, устроившемуся спать в котельной. Вылез дворник только после того, как Ухалов, чудом разыскав в кромешной темноте громадный лом, начал стучать им в дверь, обитую железом. В подвале загрохотало, заухало, и дворник жалобно закричал — видимо, перепугался спросонок.

— В чем дело-то? — шмыгая носом, допытывался он, замерев у двери.— У меня тут все казенное, братцы. Не губите зазря мой покой.

— Сейчас дверь гранатой фугану,— пообещал Ухалов.— Комиссар фронта тут, чего в штаны ложишь?

— Нынче этих комиссаров тьма, а котел у нас один.

— На кой ляд нам твой котел?

— На нем завод можно поставить — вот на кой. Мне физик объяснял. Не открою. Идите к господину Широких, он во флигеле живет. Если он с вами придет — я вскроюсь.

— Зачем зря беспокоить человека? — сказал Постышев.

— Нам у вас только б узнать, где хранятся елочные игрушки гимназии, дед,— сказал Ухалов.

— Ты мне зубы-то не заговаривай! — еще жалобнее взвыл дворник.— Ишь игрушек захотелось! Ты что, блажной — в этакое время в игрушки играть?!

— Ладно. Не кричи. Где живет Широких?

— Говорю — во флигеле.

— Что это, арест? — спросил Широких, запахнув на груди халат.

— Нет,— сказал Постышев.— Мы к вам с просьбой.

— Сейчас несколько неурочное время для просьб, мне кажется.

Он зажег керосиновую лампу, надел пенсне, оглядел вошедших и, узнав Постышева, даже сделал шаг к стене — от неожиданности.

— Комиссар? — спросил он.— Гражданин Постышев?

— Да.

— Присаживайтесь.

— Спасибо. У вас прекрасная библиотека.

— Конфискуете?

— Перестаньте. Вы плохой юморист.

— Какой тут юмор... А библиотека действительно прекрасная. Я копил ее всю жизнь. Из-за нее даже остался холостяком.

— Вам еще не поздно обзавестись дамой сердца. В общем, это все другой разговор. Мне нужно найти елочные украшения.

— Зачем?

— Хотим устроить елку для сирот.

— Елку?!

— Э, послушайте, хватит разыгрывать эти наивные удивления. Я готов раздеться, чтобы вы раз и навсегда убедились — нет у меня хвоста и вообще ничего общего с чертом.

— Но ведь совсем рядом с городом наши...

— Кто?

— Белые...

— Именно. Ваши.

— Я отдам вам свои елочные украшения, комиссар, в гимназии их нет теперь, они пропиты завхозом, назначенным вашим Советом.

— Собираетесь эвакуироваться?

— Нет.

— Маяковского по-прежнему от гимназистов прячете?

— Прячу.

Широких принес стремянку, залез по ней на антресоли, там долго громыхал ящиками, а потом попросил:

— Прошу вас, помогите мне снять этот ящик, он весьма тяжел.

Когда ящик опустился на пол, Широких сказал:

— К сожалению, у меня нет бумажных гирлянд.

— А зачем они?

— О, это так красиво...

— Да?

— Конечно. Дети любят их клеить сами, это воспоминание у них потом остается надолго.

— Послушайте, Широких, сделайте божеское дело, а? Научите детишек клеить эту самую гирлянду. Неважно, что они наши дети, они ведь еще просто дети. Мы вам за это часть пайка дадим.

— Только, пожалуйста, без приманок. Я педагог, а не торгаш. Подождите, сейчас я оденусь.

— Да нет, что вы, что вы,— обрадовался Постышев,— вы сейчас спите, я завтра пришлю за вами машину.

— В котором часу?

— Когда вам будет удобно.

— Часам к девяти. И пусть туда положат разноцветной бумаги, клея и ножниц.

— Откуда ж у нас разноцветная бумага?

— В штабе должна быть,— ответил Широких.— Вы ведь клеите флажки, которые переставляете по линии фронта?

Постышев быстро глянул на Широких. Тот стоял расставив ноги — бороденка торчит воинственно, пенсне поблескивает, а на губах играет сардоническая ухмылочка. Все российские интеллигенты в преддверии политических перемен начинают так посмеиваться: здесь и скепсис, и затаенная радость, а пуще всего — насквозь видение собеседника.

Постышев тоже улыбнулся. Вздохнул. Сказал Ухалову:

— Едем. Надо на эвакопункте пол вымыть и блеск навести. До свиданья, гражданин Широких. Большое вам спасибо.

ХАБАРОВСК. ШТАБ ФРОНТА. РАННЕЕ УТРО

После того как Постышев закончил разговор по прямому проводу с Дальбюро ЦК РКП(б), к нему входит адъютант и докладывает:

— Товарищ комиссар, вас ожидают представители японской и маньчжурской миссий.

— С утра пораньше? С чего бы это? Просите.

Дипломаты входят в кабинет, кланяясь на каждом шагу. Они словно не слышат канонады. Их лица выражают крайнюю степень лю-

безности и доброты. Они идут к столу, прикладывая к груди руки, и часто закрывают глаза, будто сдерживая слезы радости.

— Вице-консул Шивура, представляющий интересы Японии в замечательном городе революционеров Хабаровске,— говорит человек в очках и почтительно пожимает руку Постышева.

— Пресс-атташе маньчжурского консульства Су Ши-вэй, представляющий в замечательном городе русских храбрецов интересы маньчжурских граждан.

— Садитесь, господа.

— Какая чудесная сегодня погода,— начал японец.

— Солнышко совсем весеннее,— поддержал его пресс-атташе.

— Не кажется ли вам, господин Постышев, что природа лучший союзник вашего великого народа? — продолжает японец.

— По льду Амура скользят лучи солнца, это красиво, как на гравюрах ранних мастеров школы Жэн Сяо-пыня,— поддерживает его второй дипломат.

— Что вас привело ко мне, господа? — спрашивает Постышев.

— О, мы решили забрать немного вашего драгоценного времени только потому, что этого требуют интересы маньчжурских граждан, проживающих в Хабаровске.

— И конечно, японских.

— Ясно. В чем ущемлены интересы ваших граждан?

— У вас обычно, когда меняется власть,— сказал вице-консул,— несколько обостряются страсти у мирных жителей.

— Даже при столкновении двух белых цветов рождается огненная вспышка,— заметил пресс-атташе,— это утверждают наши поэты, а если сталкиваются не два белых цвета, а несколько разных, то вспышка получается особенно страшной.

— Каковы ваши просьбы, господа?

— О, наши просьбы незначительны. На границе, в шестидесяти километрах отсюда, стоит пятьсот японских и тысяча маньчжурских солдат. Мы бы просили вас разрешить им официально войти в город для охраны жизни и состояния граждан Маньчжурии и Японии.

— Ах, вот в чем дело...

— Да. Поверьте, господин Постышев, эта просьба продиктована единственной задачей опекать наших граждан, живущих на территории вашего прекрасного государства. Поставьте себя на наше место: вы бы поступали точно таким же образом.

— Вы думаете?

— Конечно!

— Скажите, пожалуйста, господин Шивура, сколько человек работает в вашем консульстве?

— О, какое это имеет значение сейчас, когда наши сердца наполнены тревогой за любимых сограждан?

— Понятно. Я готов вам напомнить: в вашем консульстве работает сто тридцать человек.

— Какие там сто тридцать! Это повара, дворники, слуги.

— Хорошо. Разговор у нас затянулся. В тот самый миг, когда ваши войска вздумают перейти границу, я прикажу арестовать как заложников состав ваших консульств — всех до единого, а поваров, слуг и дворников с офицерскими званиями в первую очередь. Прошу простить, господа, я больше не могу вам уделить времени. Всего хорошего. Посмотрите, какая прекрасная погода. Красные солнечные зайчики бегают по сахарному льду Амура. Воздух прозрачен и зеленоват, как писали его китайские мастера.

ПЕРЕДОВАЯ

Постышев идет по окопам на наблюдательный пункт. Там он берет с бруствера бинокль и смотрит на снежную равнину. Он видит вдали, на полотне железной дороги, остановившийся состав. Видно, как солдаты разгружают вагоны со снарядами, видно, как снаряды складывают в сани и увозят в лесок — на батареи дальнобойных орудий, которые пока что молчат.

Постышев смотрит в бинокль. Пальцы, сжимающие бинокль, посинели от напряжения.

— Павел Петрович,— негромко окликает его командир полка,— когда помощь? Неужели Блюхер так и не придет? Раздолбают нас в пух и прах... Вон силища какая прет.

Молчит Постышев, словно врос в бинокль.

— Войну выигрывает тот, у кого крепкий тыл,— наконец отвечает он после томительной паузы.— Понимаете?

ВЛАДИВОСТОК

Последние пять дней Исаев чувствовал спиной глаза филеров, которые шли за ним, не оставляя его одного ни секунды. Несколько вечеров Исаев таскал с собой хвост по ночным кабакам города, обдумывая возможное решение. И чем дольше он анализировал обстановку, тем точнее понимал, что, по-видимому, настало время уходить из города: единственная связь оборвалась, он сам «под колпаком»; искать связь самому, имея на хвосте по крайней мере двух филеров,— значит обрекать на гибель тех людей, к которым можно было бы попробовать подобрать ключи. Следовательно, думал Исаев, самое логичное — это уходить, но не просто уходить, а с наибольшей пользой. А какой она могла быть? Исаев считал, что Гиацинтов не так прост, как кажется; Исаев навел кое-какие справки и выяснил, что связи полковника тянутся в Берлин, в Высший Монархический Совет, и, что самое интересное, в генштаб французской армии. Поэтому, окажись такой человек перед дилеммой жизни и смерти и выбери он жизнь, тогда цены ему не будет: от него пойдут связи, от него поступит самая свежая и надежная информация. А то, что в выборе между жизнью и смертью Гиацинтов предпочтет жизнь, Исаев был уверен оттого, что полковник — человек цинично-умный, впечатлительный и веселый. А такие смерть очень страшно и точно видят. Оттого и боятся ее по-животному, а это уже очень много значит, это залог, что такой человек «развалится»,— так, во всяком случае, считал Максим Максимович.

И чем дальше и быстрей он размышлял над планом дальнейших действий, тем больше и больше возвращался мыслью к лесной заимке охотника Тимохи. Поначалу он даже не отдавал себе отчета, почему именно Тимоха виделся ему. В задуманном плане обычно соседствуют безудержная фантазия и математическая точность. Сперва надо «рассупонить» себя, ничем не связывая, и фантазировать, как в детстве — безудержно и сладко. А уж потом проверять фантазию логикой шахматного игрока. Исаев стал учиться этому после того, как пьяные казаки зарубили его отца, профессора права, сподвижника Плеханова. Тогда, отправляясь в тыл к белым, Максим Максимович впервые встретился с Дзержинским, и тот провел с ним вместе два дня. Чуть выпуклые зеленоватые глаза Дзержинского тяжело замирали где-то на лбу Максима, когда он говорил:

— Тот не чекист, если сердце его не обливается кровью и не сжимается жалостью при виде заключенного в тюремной камере человека. Революция требует от чекиста-разведчика гибельной самоотдачи,

подчинения своего существа высшей правде пролетарской диктатуры, которая принесет человечеству свободу, равенство и братство. Фантазия и анализ, полный допуск и строгие рамки: подвиг обязан слагаться из детской фантазии и точнейшего знания математики.

Пока что Исаев решил для себя главное: он решил, что осуществление его плана должно идти через Тимоху. И на шестой день, когда план созрел, Максим Максимович после кутежа подряд в двух ресторанах вызвал ванюшинский «линкольн» и попросил шофера отвезти его в резиденцию премьера. «Линкольн» он отпустил; филеры, ехавшие сзади в форде, остались у подъезда, потому что охрану резиденции несла морская пехота, подчинявшаяся своей контрразведке, остро соперничавшей с гиацинтовским ведомством. А Исаев между тем вышел через третий черный ход, шедший от буфета в переулок, быстро спустился к вокзалу и сел в отходивший на станцию Океанскую паровичок. А до Океанской езды час. От Океанской до Тимохи — тоже час по тропке, пробитой в снегу; там договориться со стариком — и быстренько обратно, чтобы утром сидеть в редакции и отвечать на звонки Гиацинтова или его друзей, а то, что такие звонки будут, в этом он ни минуты не сомневался.

Утром действительно позвонил Гиацинтов, и они мило побеседовали. А к вечеру этого же дня Тимоха прислал Гиацинтову весточку, приглашая его с приятелями на изюбря, которого ему удалось обложить.

Исаев не ошибся: Гиацинтов позвонил к нему тем же вечером и пригласил в тайгу — отдохнуть и поохотиться. Исаев принял это предложение с благодарностью, только попросил дождаться с фронта Ванюшина: а то газету оставить не на кого.

ЭВАКОПУНКТ

Здесь все изменилось до неузнаваемости: полы вымыты добела, посредине самой большой комнаты стоит елка, полчаса назад привезенная по приказу Постышева из тайги. Вдоль стен, на лавках, сидят дети Постышев и Широких украшают елку молча, не глядя друг на друга. И дети молчат, словно взрослые. Как по команде, они про-

вожают глазами каждую игрушку из ящика на ветки, и каждый раз, когда Постышев или Широких неловко надевают игрушку на ветку, глаза детей замирают в испуге.

— Продолжайте наряжать елку,— негромко предлагает Широких,— а я начну с ними клеить гирлянды.

— Хорошо.

Широких отходит от елки и говорит:

— Дети, сейчас мы будем с вами делать гирлянду для елки. Кто из вас хочет помогать, поднимайте руку.

Дети жмутся к стенкам, смотрят на бородатого барина в пенсне с испугом и молчат, как зацепенелые.

— Учитель,— говорит Постышев,— там у меня в машине еще ножницы остались, вы б сходили за ними, если не трудно.

Пожав плечами, Широких выходит. Постышев провожает его глазами, а потом, неожиданно повернувшись, берет с лавки черненького казахского вида мальчугана и поднимает его на вытянутых руках. Мальчуган смеется — сначала тихонько, окаменело, а потом — громче и веселей. Постышев подбрасывает его над головой, поет песенку, ребятишки начинают оттаивать, кое-кто подпевает Постышеву, он становится на колени, сажает себе на спину целую толпу маленьких человечков, забывших за эти страшные годы, что такое игра, и катает их по залу, покрикивая на себя:

— Но, но, лошадка! Скорей!

Смеются детишки, бегают наперегонки друг за другом, подстегивают «лошадь», теребят «ее» и командуют, как истые мужички, сердито и с хрипотцой в голосе.

Широких останавливается на пороге и хочет сказать, что в машине нет никаких ножниц, он даже произносит эту фразу, но очень тихо, потому что понимает сейчас, глядя на ликование в зале, зачем его отослал комиссар.

— А ну к нам! — зовет его запыхавшийся и побелевший Постышев.— Каравай будем печь!

Образуется громадный хоровод. Постышев запевает:

Как на наши именины
Испекли мы каравай!
Вот такой вышины!

Малыши поднимаются на носки, тянут вверх ручки, показывая, какой громадный каравай они испекут, а в дверях, в окнах замерли лица взрослых, которые смотрят на них кто со слезами, кто стиснув зубы, кто крестясь.

— Подпевайте, учитель! — просит Постышев.

Широких начинает подпевать и слышит, как дрожит его голос, и чувствует, что губы тоже дрожат. Он медленно озирает маленьких людей, которые тянутся к комиссару и глядят на него восторженными глазами...

— Выше руки, учитель! — кричит Постышев.— Во, какой каравайище испечем! Да, мальцы?! Испечем?

Постышев едет из эвакопункта вместе с Широких. Тот молчит, спрятав лицо в кашне. На углу, возле гимназии, Ухалов тормозит, и Постышев, открыв дверцу, говорит:

— Спасибо, учитель Ши́роких.

— Скорее, наоборот,— негромко отвечает Широких.— Спасибо, комиссар Постышев. Я завтра снова приду к детям. Как вы думаете, им интересно будет слушать сказки?

— Мне интересно, не то что им.

— Ну, до свиданья.

— До свиданья.

Широких смотрит вслед ушедшему автомобилю очень долго. Лицо его изрезано морщинами и кончики бровей опущены книзу, как от большой обиды.

СТАВКА АТАМАНА СЕМЕНОВА

Ата́ман Семенов, укрепившийся на границе с Китаем, в Гродекове, принял Меркулова с Ванюшиным в просторной избе, которую охраняли забайкальские казаки и китайцы-хунхузы.

Атаман сидел на деревянной длинной лавке в красном углу, под иконами. На столе, струганом, не покрытом скатертью, лежали яйца, сваренные вкрутую и уже очищенные, зеленый лук, бело-розовое сало, нарезанное тонкими ломтями, разделанная семга и большая тарелка красной икры. На подоконнике, в трех бутылях, стоял спирт, настоянный на можжевеловке, смородине и женьшене.

Семенов был в длинной полотняной рубахе. На вошедших посланцев премьер-министра смотрел хмуро, исподлобья. Вешалок здесь не

было — изба рублена по-крестьянски и, как говаривал атаман, без городских «штучек-мучек». Посланцы, сняв шубы, держали их в руках, не зная, куда деть. Есаулы желтолампасники, стоявшие мумиями возле двери, смотрели мимо, куда-то в самую середину большого иконостаса, красиво мерцавшего в углу, над головой атамана.

— Примите у них шубейки,— сказал наконец есаулам Семенов.— Проходите к столу, гости. Чем богаты, тем и рады, угощайтесь.

Есаулы взяли шубы, улыбнулись посланцам «доброй воли» деревянными улыбками и замерли у дверей. Стоят есаулы и ничегошеньки не понимают, что тут происходит и о чем говорят. Им важно, что если кто из гостей пистолет из кармана вытащит — тут же немедля стрелять того наповал, «влет», как шутит атаман, заядлый охотник.

— Григорий Михайлович,— начал Меркулов,— мы пришли к вам с открытым сердцем, для того, чтобы по-братски, в атмосфере искренности и взаимного доверия, обсудить все спорные вопросы и наметить взаимоприемлемую перспективу. Надеюсь, наш разговор состоится при закрытых дверях?

— Эй, Фокин! — крикнул атаман.— Притвори дверь, чтоб никто в горницу не зашел.

Ванюшин и Меркулов переглянулись. Семенов заметил это и осклабился.

— Теперь двери закрыты, валяйте выкладывайте, что привезли.

— Григорий Михайлович,— сказал Меркулов по-купечески прочувствованно,— сейчас, в дни побед, когда решается судьба нашей страдалицы родины, право, перестаньте вы разыгрывать чужую роль, совсем вам не подходящую. В конце концов, кто старое помянет — тому глаз вон.

— А кто старое позабудет — тому оба напрочь.

— Господа у дверей останутся?

— А как же? Личная охрана. Кто вас знает,— может, вы меня пришить заехали? Сначала, понимаешь, лишили всех званий, потом потребовали покинуть пределы Российской империи, признали государственным преступником, а теперь вдруг пожаловали? Нет, я калач тертый.

— Мы приехали к вам, атаман,— заговорил Ванюшин,— от имени родины. Мы хотим сейчас, чтобы все забыли прежние обиды, когда решается главный вопрос — освобождение страны от большевистского ига.

— Ты Ванюшин, что ль?

— Да.

— Твоя газетенка против меня первая визг подняла? Это ты, ихний холуй, бузу затеял? А теперь лисом сюда пришел? Когда поняли, что не можете без Семенова, приползли?

— Можем и без Семенова,— сказал Меркулов, поморщившись,— можем, Григорий Михайлович. Наши части завтра начинают штурм Хабаровска.

— Фига вы его возьмете. Вы демократы, вам от виселицы дурно делается, у вас полки аккуратные, черепа на рукавах для близира носят, словно в аптеке. А тут нагайка нужна, нагаечка! Без казацкого визга русского мужика, хоть он семь раз красный, не напугаешь! Посмотрю я, как вы зубы на Амуре обломите.

— Посмотрите или порадуетесь? — спросил Ванюшин.— Может, вы хотите порадоваться виду русской крови, которая зальет амурский лед? Мои читатели удивятся, услыхав такой ответ.

— Мне на твоих читателей на...ть! Я вон сейчас им моргну,— кивнул Семенов на охранников,— они тебе, понимаешь, читателей покажут шомполов на сто!

— Только вы меня не пугайте, атаман! — громыхнув кулаком о стол, сказал Ванюшин.— Я не из пугливых!

— Ишь,— усмехнулся Семенов,— а ты, писака, шустрый... Сядь, не верещи.

Атаман достал с подоконника бутыль со спиртом, настоянным на женьшене, и долго любовался корнем в бутылке, разглядывая его на свет. Корень был похож на танцующую женщину с руками, заломленными над головой.

— Как балеринка,— нежно сказал Семенов,— ишь, стервоза, изгиляется. Вроде вашего брата корреспондента... А ну по стакашке.

Он розлил чуть зеленоватый спирт по граненым стаканам, порезал на две части несколько больших луковиц, присолил их и подвинул — большую Ванюшину, а поменьше и с прозеленью посередине — Меркулову. Молча чокнувшись, выпили. Потом по-лошадиному мотали головами, нюхали лук, утирали заслезившиеся глаза.

— Ну, с чем приехали? — спросил Семенов.— Манускрипт привезли от этого... как его... премьера вашего?

— Нет. Не привезли,— ответил Меркулов.— Устное предложение.

— Вываливай.

— Правительство возвращает вам звание генерал-лейтенанта и назначает командующим всей кавалерией Русской освободительной армии.

— Тут нищих нет.

— Григорий Михайлович, да неужто общее наше дело вас не волнует? — тихо спросил Ванюшин.— Ну что вы как на базаре? Мы к вам пришли, мы вас просим — включайтесь в борьбу, мы вам приносим звание, которого у вас не было, вы ведь всего-навсего полковник, мы даем вам пост, который почетен и мужествен, а вы торгуетесь, как купчишка.

— Так спутник ваш, министр иностранных дел, они из этого племени,— впервые за весь разговор улыбнулся Семенов,— они сами с братцем из купчишек. Иль нет, Николай Дионисьевич?

— Уж если мы из купчишек,— серьезно ответил Меркулов,— так вы, дорогой атаман, из таких густопсовых мужиков, что мы друг от друга недалеки. Происхождением куражиться — забота аристократов, а мы с братом — плебеи и, право, горды этим!

— Ладно,— сказал атаман после долгой минуты молчания,— ладно... Я вам подброшу конников, чтоб визгом подмогли. Посмотрите, на что мои семеновцы-молодцы горазды. А там решим, кем мне идти: кобылами заправлять либо людишками командовать. В газетенке, понимаешь, об этом черканите, что, мол, семеновцы-удальцы порубали вдосталь саблями во славу оружия российского. Про меня можешь не писать, я не гордый, я здесь тихо живу, как в Тульчине.

— Что это такое? — спросил Меркулов, поглядев на Ванюшина.

Тот ответил:

— Деревня, куда император Павел сослал Суворова перед тем, как дал ему звание генералиссимуса.

ПЕРЕДОВАЯ ПОД ХАБАРОВСКОМ

Несутся конники Семенова на красные позиции, размахивают над головами саблями и визжат — дико, по-звериному, так, что мороз леденит кожу. А следом за ними — шеренги каппелевцев: бегут — штыки наперевес. И в прозрачной дымке над Амуром им виден Хабаровск на высоком берегу реки, весь в солнце, церкви светятся, небо высокое, а солнце в нем синеватое, крохотное, морозное.

Бойцы поднимаются из окопов, бегут с винтовками наперевес: русские на русских, мужики на мужиков, братья на братьев, отцы на сыновей.

Идет рукопашный бой. То один, то другой бросает винтарь в сторону и по-русски решает свою судьбу: на кулаках. Молчаливый идет бой, только сопят люди или слезливо матерятся, но это уже предсмертно, в последний раз это.

Солнце село за тучи, пришли сумерки, а потом упала ночь, исчирканная короткими вспышками редких выстрелов.

Ревут паровозы, кричат женщины и дети, облепившие вагоны: из Хабаровска уходят последние составы.

Постышев и бойцы медленно отступают, прикрывая последние эшелоны, уходящие со станции. Слышно, как где-то близко урчат танки, в городе визжат конники — здесь им не с руки, тут рельсы, кони ноги поломают,— видно, как в городе один за другим возникают пожары — поднимаются белыми языками пламени, швыряет их по ветру, и кажется, будто хотят они поджечь унылое зимнее небо...

В занятом Хабаровске пьяный разгул победителей. В кабаках — крики казаков, вопли женщин, которых семеновцы затаскивают в подворотни; звенят стекла, крошатся зеркала в парикмахерских и оседают на пол пенными черными водопадами.

Ванюшин видит, как бьют старика еврея и таскают его за седые пейсы, он видит, как трое семеновцев сдирают шубку с гимназистки и рвут на ней юбчонку, он видит, как на фонаре болтается повешенный, а на груди у него табличка: **«Учитель Широких — красный прихвостень».** Он видит, как двое пьяных семеновцев методично бьют по щекам мужчину в касторовой шубе, судя по всему, присяжного поверенного, и приговаривают:

— Рожу отъел, падлючий твой рот! Хлебало салом затекло!

— Перестаньте! — кричит Ванюшин.— Вы все сошли с ума! Перестаньте!

Один из казаков оборачивается и неторопливо перетягивает Ванюшина нагайкой через все лицо.

— А ну тикай, пока тебе в зад шомпол не воткнули, лярва!

Ванюшин бежит через три ступени на второй этаж гостиницы, в люкс к Меркулову. Охранник говорит, что Николай Дионисьевич на лесных складах возле Амура.

Ванюшин выскакивает на улицу и сломя голову несется к Амуру. Снова — вопли избитых, пьяные крики казаков, шальные выстрелы, пожары и — ставни, ставни, ставни. Все окна закрываются ставнями. Город словно слепнет на глазах, словно прячет свое лицо от победителей — озверевших, окровавленных, страшных.

На громадном лесном складе, который разбросался прямо на берегу реки, сейчас оживленно. Несколько купцов — те, кто постарше, в поддевках и картузах, а которые помоложе — все на американский манер в коротких пальтишках и гетрах, окружив Меркулова, ходят среди громадных штабелей леса. Сколько же здесь леса! И мачтового, и строительного, и под спички, и кругляки на топку, и распиленного под шпалы, и заготовленного под доски,— золото вокруг, бесценный клад здесь захвачен.

Шуба у Меркулова распахнута, глаза блестят, он указывает нескольким приказчикам на штабеля леса и говорит:

— Это братнино, и это тоже братнино. И это тоже. Все кварталы с наших заимок пришли, тут на семьсот тысяч долларов должно быть, завтра проверим, а сейчас поставьте охрану из трезвых солдат. Если хоть одну спичку здесь бросят — к стенке! На месте — к стенке!

Ванюшин подбегает к Меркулову, хватает его за рукав, не может никак отдышаться, хрипит:

— Послушайте, в городе резня! Надо немедленно пустить вашу охрану на улицы, чтобы навести порядок! Творится ужас!

— Не может быть,— рассеянно отвечает Меркулов.— Экое, право слово, безобразие. Сейчас что-нибудь придумаем. Слышите, как древесиной пахнет, а? Понюхайте, понюхайте — божественный запах. Нет ничего слаще запаха убитого дерева.

— Коля! — шепчет Ванюшин, и в глазах его играет отблеск пожаров, полыхающих в городе.— При чем здесь лес?! В городе творится ужас! Мы так все погубим. Какие к черту общенациональные задачи и манифесты? Опомнитесь...

— Да, да, вы правы,— отвечает Меркулов, а сам зажимает пальцы, считая штабеля,— сейчас едем. А с другой стороны, чего вы хотите? Народный гнев не знает границ... Господа, отчего вы не пометили на кедрачах, что мы не в Токио, а к американцам эту партию запродали? Синим крестиком надо, а вы желтым ставите. Как же так невнимательно, господа?

Ванюшин медленно отступает от Меркулова, поворачивается и, расстегнув шубу, бредет по городу, объятому пожарами.

Последние недели рабочий день Блюхера начинался в пять утра. Он просыпался без будильника. Мылся ледяной водой до пояса, отфыркивался, как конь, лупил себя ладонями по загривку, по груди и по плечам, чтобы заиграла кровь, и делал гимнастику. Одевался, тщательно брился, менял подворотничок,— с ночи он обязательно наглаживал себе смену и больше дня один подворотничок не носил, надраивал сапоги с высокими — бутылочками — голенищами и входил к себе в кабинет — сверкающий, свежий и спокойный.

Его сотрудники, ложившиеся спать так же, как и главком, в два-три часа — только после прибытия последних сводок с фронта,— просыпались с трудом и долго не могли подняться из-за того, что болел затылок и в веках была тяжесть. Блюхер сам ходил по кабинетам — теперь все жили в штабе, на казарменном положении,— грохочуще смеялся и срывал рыжие, замученные дезинфекциями одеяла со своих людей, а иногда еще брызгал холодной водой из алюминиевой кружки.

Подняв своих помощников, Блюхер шел к прямому проводу, разговаривал с командующим Восточным фронтом Серышевым и комиссаром Постышевым, просматривал сообщения за ночь, заходил в комнату, обитую цинком,— там помещался особый отдел разведывательного управления, с полчаса сидел в управлении тыла. Сейчас главное значение Блюхер придавал организации снабжения дивизий, готовившихся к отправке на фронт. Уезжая в Дальбюро ЦК, докладывал положение на фронте и уже потом садился к себе в кабинет, чтобы принять посетителей перед тем, как отправиться в части, на полигоны и в правительство: чуть ли не каждый день Совет Министров заседал в экстренном порядке, обсуждая положение под Хабаровском.

Первым, кто оказался в приемной военмина и главкома, был Мэрвин Кэбб, представлявший в ДВР американское телеграфное агентство.

Войдя в кабинет к Василию Константиновичу, он поклонился ему — сдержанно и спокойно, сел в кресло, не спеша вытянул ноги, хрустнул длинными, плоскими пальцами и сказал:

— Мистер Блюхер, я понимаю вашу занятость и поэтому весьма признателен за согласие принять меня. Америка — я имею в виду не только большой бизнес, но вообще широкое общественное мнение — интересуется тем, как вы объясните поражение ваших армий.

— Мне нравится, что вы не крутите,— ответил Блюхер, достав из вазочки несколько остро отточенных цветных карандашей.— Мне ра-

вится, что вы ставите вопрос в лоб. Я отвечу вам. В связи с переговорами в Дайрене мы не предпринимали чрезвычайных мер по охране нашей границы вдоль нейтральной полосы по Иману, потому что, по условиям перемирия двадцатого года, за эту границу отвечали японцы. И еще — мы знали о существовании сильнейших белых группировок вдоль наших границ с Китаем и Монголией, откуда до Читы — рукой подать. Следовательно, мы обязаны были держать громадную пограничную армию для защиты тылов.

— Простите, господин министр, но сейчас вам тем не менее пришлось оголить тылы? По сообщению японских телеграфных агентств, вы сняли все пограничные войска и перебросили их под Хабаровск.

— Вам нужно официальное подтверждение? — улыбнулся Блюхер.

— О нет! Официальные подтверждения мы привыкли получать неофициальным путем.

— Но это уже путь не журналистики, а разведки.

— Две стороны одной медали, министр, если говорить честно.

— Мне не хочется обсуждать эту тему. Вопросы, представляющие военную тайну, несколько отличны от тех дискуссий по вопросам длины юбок, которые с таким блеском ведутся на страницах ваших газет.

— У нас достаточные запасы бумаги...

— Бумага — не ум, ей можно запастись впрок,— ответил Блюхер.

Кэбб захохотал, щелкнул своими плоскими пальцами и сказал:

— У нас это называется — «один ноль, впереди мистер Блюхер».

— Итак, продолжаю. Мы были убеждены, что, пока ведутся в Дайрене переговоры, нет надобности в исключительных мерах по охране границы по Иману, ибо международные гарантии, которые столь широковещательно дала Япония, казались нам вполне серьезными. Увы, мы ошиблись. Японцы пропустили белые армии через свои границы, нападение было неожиданно, отсюда — временный успех белых войск.

— Сдачу Бикина, Хабаровска, Ина вы считаете случайностью? Потерю тысячи километров вы называете временной?

— Да.

— Вы убеждены в вашей победе?

— Конечно.

— На чем зиждется ваша убежденность?

— Я слишком хорошо знаю, что несут с собой белые войска. Так же как ливень предшествует зною, так и эта победа белых — канун их окончательной гибели.

— Вы говорите, словно пророк.

— У меня слишком веселый характер для этой должности.

— Последний вопрос: мир хочет узнать правду о переговорах в Дайрене.

— Я думаю, мы заключим с Японией торговый договор.

— А чем собираетесь торговать?

— По преимуществу зубными щетками.

— Кто кому будет продавать зубные щетки?

— Друг другу. Они нам синенького цвета, а мы им фиолетовые.

— Надеюсь, если я передам в Нью-Йорк это сообщение, меня не выдворят из Читы за разглашение военной тайны?

— Только не спутайте цвета. Если вы напишете, что мы будем продавать Токио красные зубные щетки, обязательно выдворят.

— Вопрос не для печати — позволите?

— Пожалуйста.

— Как вы относитесь к японцам?

— Я глубоко уважаю эту нацию — художников, строителей и поэтов.

— Последний вопрос: нам известно, что вы обязываете комсостав армии изучать английский язык. Что вы имели в виду, издавая этот приказ?

— Я действительно издал такой приказ. После нашей победы мы проведем широкую демобилизацию, и многие из командиров станут инженерами, дипломатами, торговыми работниками. Им придется общаться с вашими людьми, а я не очень верю искусству переводчиков. Я даже думаю, что если бы каждый человек на земле знал хотя бы два языка, войны в будущем были бы исключены из жизни общества.

— Вы говорите о будущем, когда ни одна страна мира не признает ни ваше, ни ленинское правительство? Вы говорите об этом, когда белые войска разгромили ваши армии под Хабаровском?

— Именно.

— Вы говорите, как верующий.

— Довольно сложно объяснять разницу между понятиями «верующий» и «уверенный». Тем не менее запишите это себе в книжечку и порасспросите ваших русских друзей из нашей эсеровской оппозиции.

— Благодарю вас, мистер Блюхер.

— Всего хорошего, мистер Кэбб.

Через пять минут после того, как Кэбб покинул здание штаба, Блюхер пригласил к себе сотрудников особого отдела Разведупра и

предложил разработать тщательный план по дезинформации противника, с тем чтобы у белых создалось впечатление о новой переброске погранвойск с китайской границы к Хабаровску.

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАВАЛЕРИЙСКОЙ БРИГАДЫ

Блюхер в сопровождении командиров быстро идет через плац к конюшням, огороженным высоким забором. Оттуда доносится тоскливое ржание. Блюхер — злой и нахмуренный, на лбу — складки, глаза спрятаны под бровями. В громадный, огороженный двор, где сейчас стоит добрая сотня лошадей, купленных для бригады у крестьян, он почти вбегает.

— Почему животные не в конюшнях?

— Полно.

— Почему не построили временных?

— Завтра переведем конский запас в Балку, там есть пустые помещения.

— Почему завтра? Почему не вчера? Почему не сегодня?

Он не слушает ответа, досадливо машет рукой и начинает осматривать лошадей. Делает он это медленно, близко заглядывает в конские морды, щупает мускулатуру груди и ног. Он переходит от одной лошади к другой и очень медленно, тщательно изучает каждую. Коннице белых надо противопоставить красную конницу, иначе пехоте не выдержать. И орудиям надо придать лошадей — иначе они мертвы.

— Куда вы думаете определить эту, каурую? — спрашивает Блюхер сопровождающих его командиров.

— В пятую батарею.

— Понятно... Извольте сказать, каковы требования к вьючным лошадям для артиллерии?

— Какие требования?

— Те, которые разосланы по частям неделю назад. Вы их видели?

— Так точно.

— Помните?

— Да.

— Извольте повторить.

— Я помню в общих чертах...

— Придется напомнить частности. Вьючная лошадь для артчастей должна быть с широкой грудью, на коротких ногах, плотного склада, круторебрая, с крепким копытным рогом, с прямой короткой спиной, без старых ссадин на спине и с невысокой правильной холкой,— вдалбливая каждое слово в собеседников, отчеканил Блюхер.— А разве эта лошадь в артиллерию годится? На ней хоронить хорошо, а не воевать. Определите ее в обоз.

Блюхер идет дальше, осматривая лошадей.

— А это что такое? — спрашивает он.— Каких лошадей мы вообще не берем в армию?

— С порченными копытами.

— Еще?

— С сжатой пяткой.

— Еще?

— Вислоухих.

— Еще?

Молчат командиры, смотрят под ноги, мнутся.

— Ай-яй-яй,— качает головой Василий Константинович,— нехорошо иметь девичью память, граждане комэски и комкавполками. А если у коня передние ноги значительно выгнуты назад в коленях?

— Не годится, если гнуты в запястьях,— гудят командиры.

— Да я знаю, что не годятся. А вон этот конь? У него ноги как луки. Зачем его взяли?

— Недоглядка.

— Прошляпили, гражданин министр.

— Люблю самокритику,— говорит Блюхер хмуро,— только не в военных организациях, а в магазинах головных уборов. Этого коня выбраковать.

Главком идет дальше. Он придирчиво осматривает каждую лошадь, смотрит, как подкована, заглядывает в зубы, пробует на ощупь мышцы ног. И вдруг, возле забора, он видит кобылу с огромными страдальческими глазами, а возле нее беленького жеребенка. Тот жмется к матери, испуганно смотрит молочными еще, с голубизной, глазенками на людей, которые приближаются. Кобыла притирает сына к забору, стараясь спрятать его от людских взоров.

— Ах ты маленький,— ласково говорит Василий Константинович.— Ах ты красавец мой нежный...

Он осторожно тянет руку к жеребенку. Кобыла настороженно следит за его рукой и переступает задними ногами — часто-часто, словно собираясь взбрыкнуть.

— Василий Константинович,— опасливо говорят командиры,— как бы она не зашибла...

— Да разве она зашибет,— по-прежнему ласково говорит Блюхер,— она ж видит, что мы к нему с лаской, она только жестоких будет шибать...

Он дотрагивается до головы жеребенка и легонько начинает почесывать его лоб, поглаживает за ушами, что-то тихое и нежное говорит ему, угощает четвертью сахарного кусочка. Жеребенок делает шаг от матери к Блюхеру и начинает тереться об его руку тоненькой шеей. Мать теперь уже не переступает задними ногами так часто, только все время опускает голову и трогает сына губами за спину. Жеребенок оглядывается на нее, не отходя от Блюхера, и тихонько покачивает головой, будто успокаивая ее.

Василий Константинович берет лошадь за узду и ведет ее среди ржанья и копытного перестука в конюшню. Следом за кобылой идет жеребенок.

— Разве можно брать лошадей с сосунами? — спрашивает Блюхер командиров, после того, как поставил мать с сыном в стойло и насыпал им вволю сена.— Разве ж можно, дорогие граждане командиры?

— В приказе про это не сказано.

— Гражданин министр, там только сказано, чтоб явно жеребых маток не брать.

— Если б там было запрещено, разве б мы стали? Тоже ведь не звери, а люди.

— Эх-хе-хе,— задумчиво и грустно тянет Блюхер.— Ладно, впредь имейте это в виду, люди... Пойдемте к вам в штаб, посмотрим, как обстоят дела с фуражом и боеприпасами.

ШТАБ КАВБРИГАДЫ

— Дайте мне список телефонов,— просит Блюхер, зажав телефонную трубку плечом возле уха,— надо позвонить в типографию.

— Пожалуйста, гражданин министр.

— Спасибо.

Блюхер быстро листает напечатанную гектографом телефонную книжку штабных телефонов.

— Что такое Инфористот? — удивленно спрашивает Блюхер.

— Информационно-исторический отдел, гражданин министр,— со снисходительной улыбкой объясняют Блюхеру.

— Вот в чем дело... А Изопу? Что-нибудь связанное с художниками?

— Это фельдшерский изоляционный пункт.

— А что такое ЭНП?

— Военный помощник начальника железной дороги.

— Ага... Ясно...— Блюхер называет номер телефона, ждет, пока ответят, и говорит: — Это Блюхер. Да, товарищ начальник телефонной станции, да, тот самый. У меня к вам просьба. Пожалуйста, переведите на русский язык все обозначения вроде Инфористот, Изопу, Пертелстан и так далее. Научитесь уважать родной язык.

Блюхер кладет трубку на рычаг, качает головой.

— Изопу.. В типографию я позвоню позже, давайте посмотрим, что к вам поступало в последние дни из боеприпасов.

Ему приносят пачку приказов и рапортов. Он просматривает бумаги, шевелит губами, подсчитывая что-то, гремит костяшками на счетах. То и дело ему попадаются бумаги, перечеркнутые размашистыми резолюциями. Написаны резолюции громадными, но абсолютно стертыми буквами — карандаш раскрошен, поэтому понять, что написано в самом документе, нет никакой возможности. Блюхер несколько раз смотрит на свет, чтобы разобрать написанное.

— Кто рисовал на накладной?

— Я, гражданин министр,— отвечает один из командиров.

— Прочтите.

— «Прошу принять к сведению и незамедлительно выделить два мешка для нужд кухни. Синельников».

— Это вы Синельников?

— Так точно.

— А свою фамилию вы буквами поменьше рисовать не можете? Нескромно эдакими буквищами свою фамилию рисовать. А теперь прочтите, что написано в накладной.

Командир Синельников, ставший совершенно пунцовым, пытается прочесть текст, но не может этого сделать из-за своей резолюции.

— Ну вот что,— говорит Блюхер,— приказываю впредь резолюции, если в них есть настоящая нужда, а не «мешок для кухни», накладывать на полях чернилами и подписываться нормально. Если резолюция нужна побольше и на полях не умещается, извольте потру-

диться и подклеить к документу чистый листочек бумаги. Этому легко научиться,— усмехается главком и быстро показывает, как надо клеить,— и на нем уж извольте чертить свое просвещенное мнение.

— Василий Константинович,— тихо говорит один из командиров,— да разве сейчас время про резолюции говорить и про цвет чернил? Отступаем, крах грозит, Василий Константинович...

Блюхер жует губами и отвечает глуховато и с болью:

— Дивлюсь я на вас: исход войны в конечном счете решает то, как у солдата намотана портянка и чем он накормлен, а вы трещите, как дешевые агитаторы, и по-серьезному думать не хотите. На сколько времени хватит вам патронов, если сегодня пойдем в наступление?

— На неделю хватит!

— На пять дней!

— У меня на три дня!

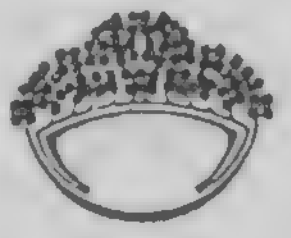
— Тьфу! — плюет Блюхер себе под ноги.— Противно слышать. «На пять дней!» Может, ты Меркуловых за день расколотишь? Аника-воин, слушать тошно!

Он поворачивается к окну и долго смотрит, как эскадрон учится брать барьер и рубить лозу сплеча.

— А как они у вас обучены? Ни черта лозу не берут. Саблей, как дубиной, машут.

Блюхер выходит из штабной комнаты, идет на плац, берет у комэска коня, пускает его во весь опор, проносится ветром по учебной полосе, все препятствия берет с упреждением в метр, рубит лозу остро, словно бритвой, осаживает коня прямо перед командирами, легко спрыгивает с седла и говорит:

— Научитесь уважать бойца, которого вам предстоит вести в бой. А уважать бойца можно, только научив его воевать лучше, чем противник. Так-то вот, граждане командиры.



ГЕНШТАБ НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ АРМИИ

Над столом, устланном картами, склонились двое: заместитель начальника оперативного отдела Гржимальский и Блюхер.

— Повторяю,— говорит Василий Константинович,— постепенную

концентрацию войск в прифронтовой полосе я считаю нецелесообразной.

— Но Мольтке считал это целесообразным.

— В том случае, если он был уверен в превосходстве своих сил. А мы уверены в превосходстве сил противника. И поэтому мы двинем на фронт мощный кулак, сразу после того, как вся предварительная работа закончится здесь. Понятно?

— Дальнейшее ожидание, Василий Константинович, деморализует войска. Моя жена в свое время ставила спектакли в офицерском собрании. У них был термин — «передержать» спектакль. Пусть лучше несколько недодержать — поможет энтузиазм, напор, горение... Передержка опасна тем, что опускаются руки.

— Станислав Иванович, спектакль — не фронт, здесь стреляют не из игрушечных пистолетов.

— Любопытная ситуация,— грустно улыбается Гржимальский,— если бы мы, кадровики, решили саботировать, то лучшей позиции, чем ваша, Василий Константинович, не сыщешь. Все вокруг ропщут, ищут измену, считают, что это мы вас удерживаем от немедленных боевых операций...

— Кто именно?

— Увольте от точного ответа, потому что это я считаю доносительством. Поверьте благородному слову: многие.

Блюхер отходит к окну, останавливается, прячет руки за спину, медленно отвечает:

— «Мы ленивы и не любопытны». Помните Пушкина? Но мы еще склонны невежество прикрывать презрительной усмешкой обожравшегося культурой Фауста. Соскобли с иного «Азбуку коммунизма» — и перед вами предстанет абсолютно голенький человек. А что касается «многих» недовольных моей медлительностью, то вы заблуждаетесь. Недовольных в штабе я знаю по фамилиям, и, с одной стороны, их недовольство идет от преданности нашим идеалам, а с другой — оно мне сейчас, если хотите, выгодно. Да, да, это великолепная дезинформация, которая фиксируется во Владивостоке, и она столь правдива, что ей нельзя не верить. Понимаете?

— Вы дьявольский хитрец, Василий Константинович.

— Ну и слава богу. Какие у вас соображения по службе бронепоездов?

— По-видимому, дуэль двух бронесил в конечном итоге решит очень многое. Кто сможет пережать и оттеснить противника по линии железной дороги, тот окажется победителем.

— Какие меры вы считаете необходимыми для этого в стадии подготовительного периода?

— Здесь я предполагаю широкую деятельность...

Блюхер усмехается и, оторвав голову от карт, говорит:

— У индусов есть мудрость: «Горе тому народу, правители которого слишком деятельны». Как бы нам не уподобиться этим правителям, а?

РАЙКОМ КОМСОМОЛА

Заседает комиссия по мобилизации членов союза молодежи в экипажи бронепоездов. Среди райкомовских ребят — Блюхер. В кабинет заходит вихрастый паренек.

— Здорово, ребята,— говорит он членам бюро.— Васильев Пахом. Прибыл умереть за революцию.

— Ты лучше за нее поживи,— советует Блюхер.

— А этот тип откуда? — глядя на Блюхера, одетого в полушубок, спрашивает Пахом Васильев своих райкомовских товарищей.

— Этот «тип»,— звенящим голосом возглашает секретарь райкома, поднимаясь со своего места,— этот тип...

Но Блюхер не дает ему закончить.

— Я из военведа.

— Рожа у тебя больно старорежимная,— говорит Пахом,— у меня к тем, кто бритый и в английском френче, прорезалось обостренное чувство классовой неприязни.

— Понятно,— чуть улыбается Блюхер.— Какую главную мечту имеешь в жизни?

— Торжество революции в мировом масштабе.

— Что для этого сделал?

— Учу английский язык по приказу главкома Блюхера. Раз. Провел со своей комсой семь субботников. Два. Отремонтировал в нашем депо три полевые кухни в сверхурочное время. Три. Отдал для нужд фронта свои хромовые сапоги. Четыре.

— Голенища бутылочками?

— Что я — старик? Гармоника-напуск, сдвигаешь их, бывало, книзу, скрежет стоит, как предсмертный стон мирового империализма.

Пахом Васильев вздыхает. На восемнадцатилетнем веснушчатом лице его отражается грусть. Блюхер смотрит на ноги парня, обутые в лапти.

— Годится,— говорит Блюхер членам бюро.— Следующий.

— Получаешь путевку на бронепоезд,— говорят парню.

— Доверие оправдаю,— отвечает Пахом Васильев,— вернусь с победой.

В комнату входит следующий парень и представляется:

— Шувалов Никита.

— Давно в рядах комсы?

— Третий год.

— Что сделал для революции?

— Ничего.

— Разъясни.

— И без разъяснений понятно.

— Погоди, погоди,— просит Блюхер,— растолкуй свою точку зрения подробней.

— Революции нужны бойцы, а меня держат машинистом на «кукушке». Я вожу бараньи туши с бойни на базар для купцов советского производства.

— А если советские купцы помогают кормить народ — ты все равно против?

— Да не против я,— морщит лицо парень,— плевать мне на них семь раз с присыпью, меня они не волнуют, я сам себя волную. Талдычат: мол, ты еще пригодишься революции, подожди.

— Дождался,— говорит Блюхер.— Идешь на бронепоезд сменным машинистом.

— Давно бы так,— мрачно говорит Никита Шувалов,— а то тянут-тянут, а чего тянут — не поймешь.

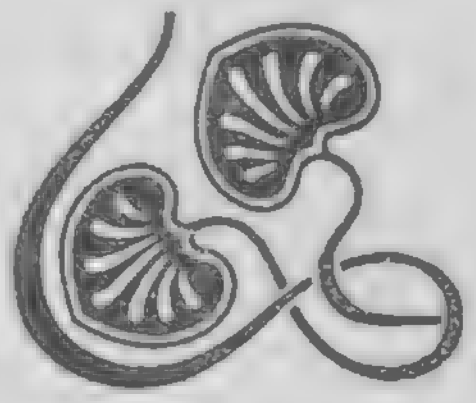
Парень, не попрощавшись, уходит.

Когда дверь за Никитой закрылась, члены бюро сказали Блюхеру:

— Это хорошо, что вы его машинистом. У него белые отца в топке живьем сожгли, он на них страсть какой бешеный.

Из райкома комсомола Блюхер едет на аэродром, к летчикам, оттуда в депо — смотреть, как ремонтируют бронепоезда, потом отправляется в госбанк и там выколачивает еще двести тысяч рублей на нужды армии, ругаясь так, что звенят стекла в окнах. А потом: заседание Дальбюро ЦК. Оперативное совещание в генштабе. Беседа в школе младших командиров. Прямой провод — разговор с командую-

щим фронтом Серышевым, с комиссаром Постышевым и с Убоpевичем. И только в три часа ночи он заходит в свою комнату, не включая света, добирается до раскладушки, падает на нее и сразу же засыпает. Во сне его лицо кажется старческим.



ВЛАДИВОСТОК. НОМЕР ГОСТИНИЦЫ «ВЕРСАЛЬ»

Ванюшин сидит за столом полураздетый, с испитым лицом.

— Вот вырезочка, Максим Максимыч,— говорит он,— из московской газеты «Раннее утро» от семнадцатого октября тысяча девятьсот двенадцатого года. Полюбопытствуйте.

Он достает из большого портмоне истлевшую на сгибах вырезку и протягивает ее Исаеву:

— Только вслух. Я наслаждаюсь, когда слушаю это вслух.

— *Вчера у мирового судьи,*— начал читать Исаев,— *слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Ранет по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и будучи навеселе, Ранет подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Ранет заявил, что он не желал оскорбить Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья приговорил Ранета к семи дням ареста...*

— Заголовочек пропустили, Максим. Вы обязательно проговорите мне заголовочек.

— *В России все можно,*— прочел Исаев.

Ванюшин захохотал деревянным смехом.

— Какая прелесть, вы подумайте! У нас все можно. Все и всем! Любому скоту и торговцу, любому сукину сыну, любому интеллигентишке!

— Зря вы нашу интеллигенцию все браните. Она бессильна не оттого, что плоха, а потому, что законов у нас много, а закона нет.

— Почему не пьете?

— Не хочу перед охотой. Гиацинтов через час, видимо, приедет — будем завтра изюбря бить.

— Я тоже с вами потащусь.

— Лучше бы вам отдохнуть с дороги, Николай Иванович.

— Э, ерунда. Почему вы не пьете? Ах, да, понимаю — охота! Уничтожение живых тварей, инстинкт и прочая и прочая. Максим,— опустив плечи и бессильно вытянув руки вдоль тела, сказал Ванюшин,— все кончено. Вы понимаете: мы пропали, Максим.

— О чем вы?

— В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном харбинском хлеву и подстилал под себя чудесную солому. Как нищий, как изгой, воровал хлеб. Бред. Хотя почему? В эмиграции есть определенная прелесть: ощущение постоянной жалости к себе, злорадство, возведенное в сан религии, и любовь ко всему нашему, доведенная до абсурда. Даже блевотина, если она наша, кажется в эмиграции родной и близкой, до слез своей.

В дверь постучались.

— Валяйте! — крикнул Ванюшин.

Заглянула Сашенька.

— Заходите, дорогая! — бросился навстречу ей Исаев. Он пожал ее руку крепко, по-английски и повел к столу. Сашенька была одета в короткий тулупчик, кожаные галифе заправлены в белые, с оторочкой, пимы.

— Это вы зачем так оделись, лапушка моя? — спросил Ванюшин, целуя Сашеньку в лоб.— На карнавал по случаю наших побед?

— Да нет же, Николай Иванович. Нас Гиацинтов пригласил на охоту, изюбря бить.

— А где он сам, наш Демулен?

— Вечером приедет, а меня сейчас отправляет на автомобиле с продуктами и поварами.

Исаев подошел к окну, чуть приоткрыл занавеску и увидел в длинном сером автомобиле двух «поваров». Это были явные филеры: лобики низкие, глаза бегают, и в облике прибитость.

— Сашенька,— сказал Ванюшин,— вы чертовски похорошели, душечка моя. К чему бы это? Не к любви ль?

Сашенькины брови вскинулись, она резко повернулась к Ванюшину и ответила ему:

— К оной, Николай Иванович, к оной.

Девушка убежала. Исаев посмотрел вслед ей с ласковостью и такой мучительной тоской, что Ванюшин гулко ахнул и, погрозив ему пальцем, подошел к письменному столу, снял трубку телефона, назвал номер и сказал:

— Полковник? Да, да, я. Ты что так удивляешься? Меркулов там,

а я здесь. Ты нас сейчас на охоту заберешь или позже? Когда? Вечером? Хорошо. До шести мы свободны? Ладно. Ждем.

Ванюшин положил трубку и сказал:

— А теперь пьем спокойно и думаем о боге!

Он налил себе еще стакан коньяку, выпил его одним махом и начал бегать по номеру, напевая «Камаринского мужика» дурным голосом.

Вдруг замолчал, стал на корточки и отполз в угол. Спросил:

— Вы когда-нибудь слыхали, как воют охотники-волчатники? Они «вабят» — волчицей кричат, волка подманивают. Я умею. Хотите, покажу...

Ванюшин лег на пол и начал выть — сначала тихонько, а потом все нарастающе-жутко, отчаянно, зверино. Замолк. Всхлипнул.

— Пошли в город, Максим,— жалобно попросил он,— а то я здесь повешусь. Ты, кстати, слышал — вчера вечером генерал Савицкий предложил американцам продать за миллион долларов все земли уссурийского казачьего войска. Патриот российского народа, герой и солдат, торгует землей своей родины? Этого пока еще в мировой истории не было! Рыба действительно-таки начинает гнить с головы. И еще я своими глазами видел, как семеновцы одного красного пленного — простого русского мужика, никакого не комиссара — раздели на льду Амура догола, натерли щучьими головами, а потом обваляли в соли и пустили на все четыре стороны. А до ближайшего жилья десять верст. А мороз тридцать градусов. Так он на коленях за ними полз и все кричал, чтоб они его пристрелили. Говорят, толстые люди добродушны... Какая глупость. Это все вы про пикников выдумали, вы, Максим... И еще знаете что? Общество, в котором хорошему писателю самому приходится организовывать на себя рецензии, обречено, ибо оно отравлено равнодушием и пассивностью. Мне вчера один большой литератор написал из Парижа, просит об его сборнике статью поместить. Сам просит, а мне противно...

— Что-то с вами приключилось, Николай Иванович. Даже морщины возле ушей прорезались. Это знаете к чему?

— К чему?

— К тому, что вы еще на одну ступень мудрости поднимете.

Ванюшин не слушал Исаева, загадочно усмехался и продолжал говорить:

— А у всех купчишек — генералин в мозгу. Интеллигент не падок до власти — в этом трагедия нашего общества. У нас до власти падки торгаши, разночинцы и попы. А интеллигенты только правдоискательствуют, от этого страдают сами и заставляют страдать окружающих. И пророчествуют. Все время пророчествуют, вроде меня!

Вырождение, татарская кровь свернулась, ижица по жилам течет. Тьфу!

— Я давеча смотрел Лао Цзы,— сказал Исаев.— Там очень хитро трактуется взаимоотношение между неким Большим и Малым. Малое, как утверждает Лао Цзы, должно быть наверху и тщеславиться, а Большое — внизу и довольствоваться тем, что оно большое.

— К чему это вы? Снова хитрите? Вы хитрый человек, Максим Исаев. Зачем вы про большое и малое? Думаете, я — малое, а вы — большое? Вон в углу черен ворочается, глядите-ка? Скорей уберемся отсюда, а? Кстати, у вас патроны на мою долю найдутся? Вдруг я решу на номер стать...

Исаев вытащил из кармана два патрона, заряженные «бренеками».

— Один вам, другой мне — куда ж больше. Я с собой на изюбря больше одного патрона и не возьму.

— А если промажете — обидно!

— Так я не промажу, Николай Иванович, я злой на охоте.

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Ванюшин шумно вошел в ложу прессы, бросил доху на кресло, не глядя сунул руку английским и японским газетчикам и громко спросил Исаева, шедшего следом:

— Максим, что сегодня показывают в этом бардаке? Вы программу не купили?

В зале — среди делегатов — прокатился шум, председатель сокрушенно качает головой, поглядывая на Ванюшина с укоризной, и звонит в звоночек. Оратор — эсер Павловский — продолжает выступление.

— Мы завоевали власть голыми руками! — говорит он.

Ванюшин, облокотившись на балкон, кричит ему:

— Только в японских перчатках!

— Вызовите сторожа Герасима! Пусть он выведет этого зарвавшегося господина! — кричат делегаты председательствующему.

— Господин Ванюшин! — поднявшись со своего места, говорит председатель.— Я делаю вам последнее замечание. Вы мешаете обсуждению серьезнейшего вопроса.

— Серьезнейшее обсуждение глупейших идей,— хмыкает Ванюшин и садится в кресло.— Я замолчал, председатель! Я замолчал! Я нем как рыба! — крикнул он веселым голосом.— Исаев, подтвердите, что я завонял, как рыба, протухшая с голо́вы.

Павловский, досадливо махнув рукой, продолжает:

— И сегодня, когда все мы празднуем канун полного освобождения родины от красной тирании, следует еще раз вернуться к вопросу о налоговых обложениях тех наших граждан, которые своей предприимчивостью и бескорыстием скопили национальные богатства, которые, в конце-то концов, господа, принадлежат народу! Но люди, занимавшиеся деловой деятельностью, тем не менее вынуждены до сих пор маскировать свою торговлю с Японией и Америкой, потому что, видите ли́, находятся демагоги, считающие такую торговлю предательством национальных интересов. Я думаю, что в дни нашего победоносного шествия по России мы проведем в Народном собрании законопроект, снимающий тарифные ограничения на торговлю лесом и свинцовыми рудами, в которых так нуждаются наши союзники, наши друзья и братья!

Ванюшин поднимается с кресла, подходит к балкончику, обтянутому малиновым бархатом, и кричит:

— Заплатите сначала за свое благополучие! Макиавелли говорил, что гражданская свобода состоит в благополучии себя самого, жены, дочери и имущества. Но когда всем этим обладают — этого не ценят! Вы уже проиграли Россию, толстозадые кретины! Думаете только о своих минутных свинцовых и лесных барышах! Не понимаете вы — армия разложилась! Стала пьяной ордой! А вы — слепые скоты, жиром заплыли!

— Вон его! — орут делегаты.— Полицию сюда! Полиция!

Исаев набрасывается на громадного, белого от бешенства, запойного Ванюшина и, легко скрутив ему руки за спину, выволакивает из ложи. Он бежит вместе с ним по фойе, слышит полицейские свистки, плечом распахивает дверь, звенит выбитое стекло, он заталкивает Ванюшина в пролетку, падает рядом и кричит кучеру:

— Гони!

Ванюшин плачет, бормоча ругательства. Плачет он жалобно, по-женски... По-видимому, так плачут холостяки: всхлипывая, растирая по лицу слезы и очень себя жалея.

— Пусть он едет на Шестую Матросскую, в дом Сидельникова,— сквозь слезы, пьяно всхлипывая, попросил Ванюшин,— там Минька живет, он меня исповедует.

Минька — старый лакей, проживший в услужении у ванюшинской семьи пятьдесят лет, оказался быстрым, юрким стариком, почти без единого седого волоса, с фиолетовым носом и в шелковой красной рубахе. Увидав Ванюшина, ввалившегося в дверь его полуподвальной комнаты, очень светлой и чистой, Минька вскочил из-за стола, бросился к гостям, стал снимать с них шубы, шапки и рукавицы; все это он уносил за пеструю занавесочку возле двери, продолжая что-то бормотать и присмеиваться.

Ванюшин лег на низкие деревянные лавки, укрытые старым тряпьем, вытянулся, сложил на груди руки, взял с полочки длинную церковную свечу, поставил ее у себя на груди и спросил:

— Минь, я на покойника похож?

— Ох, Косинька, похож, похож,— обрадованно залепетал старик.— Ну, прямо как живой...

Исаев засмеялся, а Ванюшин, не открывая глаз, сказал:

— Это он так с ума, не с глупости. Минь, а ты чего во все красное вырядился?

— К им готовлюся, цвет к лику примеряю.

— А придут?

— Миленький, Косинька, ты не сердися, я тебе так скажу, что когда дрова рубишь, палец острием зацепишь, так сначала-то ничего не видно, только беленькое виднеется, слабенькое такое, беленькое, а уж потом, пообождав, кровушка выступает.

Ванюшин лежал на лавках состарившийся, одутловатый. Одним глазом он пристально глядел на Исаева, а другой держал закрытым, словно давая ему отдыхать.

— Скажите, дедушка,— спросил Исаев,— а что со мной будет? Мне цыганка смешное нагадала.

— Тебе? — переспросил Минька и мягко улыбнулся.— Тебе я даже говорить не хочу, что будет. Она тебе надолго гадала?

— Надолго.

— Ну, тогда ты верь, сынок, ты верь. Хотя, по всему, в черточках твоих серенькое есть, это перед окончанием появляется, при самом кончике, когда он вьется, вьется, как во сне, ты за ним, а он выскользает, выскользает, вот тогда это серенькое и появляется. А ты поспи, Косинька, вон ты желтенький весь. У тебя, правда, цвет хороший, лимонный, это к началу, не к концу, только ты замаялся совсем. Хочешь, я сбегаю баб покличу, они вам песни споют?

— Не надо,— отозвался Ванюшин, глядя по-прежнему на Исаева одним правым глазом.— Минь, а ты зачем моего друга пугаешь?

— Да рази я пугаю? — заулыбался, засветился Минька.— Я его на разлом проверял, другой сразу бабу требует, а этот поздрей только поиграл и весь отклик. Косинька, я человека по отклику чувствую. Это как в стекло плюнешь — тебя ж и обрызжет, а в лесу, где все мягкое, там плювай, куда хочешь, там от плювка травка вырастет, только на будущий год и по ранней весне, по самой ранней. Так что меня пугаться нечего, я дед добрый, вона этими руками тебя выходил.

— Рассолу принеси,— попросил Ванюшин.

Минька, пританцовывая и бормоча, убежал. Ванюшин посмотрел ему вслед и вздохнул:

— Вы поняли, зачем он вам говорил про кончик, который вьется? Это он меня утешал. А? Здорово, да? Самая большая радость для человека, у которого померла жена, это если у его ближайшего друга окочурится невеста. Разве не так? Так. Только это в самое нутро запрятано. Мы в этом, хоть убей, не признаемся, а он — простой мужик, что ему терять, чего пугаться? Он все свое с собой носит, одинок и стар — потому правдив.

Минька прибежал с огромным жбаном, в котором плескался мутный рассол. В нем плавали большие смородиновые листья и декоративные гроздья здешнего игольчатого укропа. Ванюшин, задрожав, схватил руками жбан и впился в него зубами. Исаев видел, как по его громадной, толстой шее, грохоча и замирая, елозил кадык.

— На,— запыхавшись, утирая с подбородка зеленоватые капли, сказал он прерывистым голосом,— оттягивает, как молитва.

Исаев выпил рассолу. Он был холодный до того, что леденило зубы.

— Сейчас мой квартирант подойдет,— суетливо радовался Минька, принимая жбан у Исаева,— пошлю его в лавку, он колбаски принесет, я извозчичьей поджарки затушу. Помнишь, Косинька, я тебя ею тайком от маменьки кормил?

— Какой у тебя квартирант? Зачем? Что, денег не хватает, которые шлю?

— Ой, ой, ой, ой, господи, не бранися, я ж в банк кладу на твое имя. Я один, зачем они мне? А квартирант у меня занятный, из профессоров он, Шамес его зовут, лягушек все разрезает, когда лето. А зимой на базаре ходит, песни играет про иудеев своих, ему хорошо подают, иудея, если он нищий и убогий, наш народ гораздо больше своего убогого жалеет. Если уж еврей убогий, то, значит, он нашего в семь раз убоже и жалчей. А на денежки, что зимой собирает, Шамес летом лягушек покупает, режет их и в мыкроскоп смот-

рит, пишет в книжку, а потом мы лягушечек в подсолнечном масле жарим. Я сначала их есть не мог, а теперь я от них сильней делаюсь, ей-бог, как от трепанга, даже девку во сне хочу...

Шамес пришел, когда Ванюшин, Исаев и Минька сидели вокруг стола и пили водку, играя при этом в подкидного дурака на раздеванье. Ванюшин был уже полуголым, часто и беспричинно смеялся, глаза его блестели радостно и беззаботно, по белой впадинке посредине груди ползли медленные капли пота.

— Сколько принес, Рувимка?! Вот еще, Косинька, три мои десятки открой, а шестерки я на погончики тебе сохраню. Слышь, доктор, сколько собрал сегодня?!

— Рубль восемьдесят.

— Сбегай за колбаской к Филимону, а? Я извозчичьей натомлю с лучком...

Шамес надел картуз, запахнул свой драный лапсердак, одетый поверх обезьяньей американской «душегрейки», и вышел.

— Молчаливый у тебя жилец,— сказал Ванюшин.— А десятки я эти заберу. На отбой. И шестерками ты своими обожрешься. Максим Максимыч, ходите под него.

— Даму возьмете?

— Смотря какую предложите...

— Бубновую.

— Эту мы возьмем, Косинька, а таперь ты захаживай под своего дружка. Он тебя в прежнем кону спасал, а ты ж его теперь и оставишь в дураках.

— Я ход пропущу...

— Такого закона нет,— сказал Исаев.— Дед прав: либо сажайте меня, либо выручайте.

— Тогда посажу,— сказал Ванюшин и выпил рюмочку.

— Три десятка прошу потянуть.

— Это добро я раскрою.

— А туза пик?

— На него козырной есть. Все. Я выскочил. А зря вы меня гробили, Николай Иванович, я злопамятный...

Шамес вошел так же молча, как уходил, и положил на стол круг тонкой охотничьей колбасы.

— Мы, кстати, не опоздаем? — спросил Ванюшин.— Эта сволочь когда должна приехать?

— К шести. Сейчас четыре. Я, пожалуй, схожу к телефону, вызову машину на половину шестого.

— Зачем вам мучаться-то...

— Это вы считаете мученьем? Миня, скажите, где тут поблизости телефон?

— В полицейском участке. Ближе нет.

ГДЕ Ж ГИАЦИНТОВ-ТО!

До ближайшего полицейского участка было пять минут хода. В нетопленной дежурной комнате старик полицейский играл на губной гармошке старинную песню про «Ваньку-ключника».

— Где у вас телефонный аппарат?

— А на што он вам?

— Позвонить к полковнику Гиацинтову.

— А по мне, хоть Георгинов, хоть Анютеглазкин, хоть Пеонов,— один черт.

— Он начальник контрразведки, милейший!

— Чего?

— Господи боже ты мой,— устало, но с веселинкой сказал Исаев,— а начальство ваше где?

— В дежурном кабинете.

Исаев прошел к дежурному унтер-офицеру, тот долго разглядывал его корреспондентский билет, хмурился, пыжился и краснел, а потом спросил:

— Сами из русских будете?

— Да.

— Понятно... Значит, надо позвонить?

— Очень.

— Бывает...

— Можно?

— Одна минуточка...

— Пожалуйста.

— Вы сказали, что сами из русских?

— Да.

— А звонить к кому собираетесь?

— К полковнику Гиацинтову.

— Это который по линии пожарного ведомства в порту?

— Он самый.

— А чего ж про контрразведку говорили дежурному? Сами-то из русских будете? — повторил свой вопрос унтер. От него несло табаком и стародавним прокисшим водочным перегаром.— Может, не из русских?..

Исаев секунду смотрел в его пустые глаза, глаза раба и палача, которому скучно жить на земле. А скука — она все примет, даже обиду.

— Встать! — вдруг заорал Исаев.— Я ротмистр Буйвол-Волынский! Отвечать по уставу, сволочь!

Лицо унтера, поначалу окаменевшее, вдруг расцвело и стало оживать на глазах. Он вскочил, проревел нечто звериное, но очень счастливое и вскинул руку к козырьку.

«Среди этой несчастной погани действительно кому угодно можно морду бить»,— с тоской подумал Исаев. Опустился на стул возле телефона, вызвал номер и стал ждать ответа. В соседней комнате по-прежнему грустно играл на губной гармошке дежурный полицейский.

— Ротмистр Пимезов,— ответил адъютант Гиацинтова.

— Воля?

— Да. С кем имею честь?

— Исаев.

— О, Максим,— с повышенной оживленностью ответил адъютант Гиацинтова и замолчал. По-видимому, он зажал трубку рукой и сейчас быстро спрашивал кого-то стоявшего рядом. Адъютант был человеком огромного вкуса, завзятый театрал и балетоман, но что касается оперативной работы — весьма беспомощен.

— Вам нужен полковник?

— Да.

— Он сейчас поехал в тюрьму на допрос одного корейского спекулянта,— намекая на Чена, сказал Пименов,— через час-полтора вернется.

— Я обнимаю вас, Воля. Ставьте послезавтра на Граведора, он придет первым в пятом забеге.

— Принимаете пари?

— Конечно.

Исаев положил трубку на рычаг, в задумчивости посмотрел в окно, рассеянно сказал унтеру:

— Стоять вольно.

Вызвал номер Фривейского.

— Здравия желаю, Алекс,— сказал он чужим голосом.

— Добрый день. Что, развлечения на сегодня отменяются?

— Почему?

— Он сейчас здесь и, судя по обсуждаемому вопросу, задержится допоздна.

Исаев дал отбой и сразу же вызвал номер гаража.

— Срочно машину к дому Сидельникова,— попросил он,— что на Шестой Матросской.

Машина подъехала к резиденции премьер-министра и, заскрипев тормозами, остановилась возле морских пехотинцев-охранников. Исаев быстро выскочил и, не захлопнув дверцы, побежал не в кабинет секретаря правительства, а вниз — к буфету, туда, где у них уже с самого начала было обговорено место для встреч. Из буфета вышел Фривейский, проходя мимо Исаева, сунул ему в руку записку и побежал наверх. А Исаев, заскочив в буфет, купил три бутылки коллекционного «Камю» и, сев в автомобиль, приказал:

— Гони обратно на Шестую Матросскую.

Сидя сзади, он прочитал записку: «С тем, чтобы к прибытию врангелевских войск быть уже полными победителями и диктовать состав нового кабинета, Меркулов с Гиацинтовым обсуждают в деталях план засылки в Читу, Благовещенск и Верхнеудинск террористических групп, которые отъезжают сегодня, чтобы перед началом нового ближайшего наступления все особо видные командиры красных были ликвидированы. Едут смертники, готовые на все. Кенто».

Исаев незаметно сжег записку и закрыл глаза. Морщины на его лице разгладились, и сейчас казалось, что он просто-напросто отдыхает, предвкушая ужин с дорогим французским коньяком.

«Так,— думал он очень медленно.— Теперь-то уж ни в коем случае нельзя проиграть. Раньше дело касалось меня одного, но сейчас ситуация переменилась. Я не думаю, что они включили в игру против меня Фривейского. Вряд ли. То, что он написал, больше похоже на правду. Во всяком случае, по высшей логике это правда. Значит, ключ ко всем этим людям, которые сегодня начнут перебрасываться в наш тыл, опять-таки знает один Гиацинтов. Следовательно, он один может дать нам этот ключ. А ключ я получу, только если он окажется у партизан. А потом в Чите и Москве. Ясно. Один шанс — охота. Это и его шанс, и мой.

А в маленькой комнате тем временем веселье шло вовсю. Седой

старик Шамес — с пейсами на пепельном лице, в элегантнейшем смокинге, надетом поверх дырявой «душегрейки»,— танцевал «Фрейлехс». Он пел, кружился на месте, выкрикивал жеманным голосом «ой-ой», играл своими иссохшимися ладонями, закрывая лицо, неожиданно выхватывал из-под смокинга маленькую скрипку и пиликал пошленькие базарные мотивчики. Вдруг замирал и, закатив глаза, начинал играть трагического Брамса. И так же неожиданно обрывал музыку.

— Почему я не могу позволить себе отдохнуть сегодня? Ведь завтра субботний день, и люди будут давать много меди. Нет человека добрее, чем в субботнее утро, и нет его злее, чем в воскресенье вечером.

— Отчего вы не бежите к красным, Рувим? — спросил Ванюшин.— Там еврейское царство, вам выделят особняк и паек.

— Вы наивный человек и, как газетчик, однодневно-жестокий. Зачем я нужен марксизму, хоть я и стопроцентный еврей, если я утверждаю, что православный обычай — выносить покойника из дому только на третий день — сугубо научен и поразителен в своей гениальности.

— Ты послушай, послушай, Косинька,— зашептал Минька,— с этого только поначалу холодно, а потом — до самого конца спокойно.

— Почему вы считаете этот древний обычай гениальным?

— Все очень просто: если вы сможете зафиксировать электромагнитные волны, исходящие из мозга только что умершего, они будут почти такими же, как у живого. Они затихнут и исчезнут лишь на третий день, когда — по народному присказу — душа выйдет из тела. И первый и второй день покойник слышит все, происходящее вокруг. Я еще не ответил себе на вопрос: организуется ли это слышимое в ужас там, в таинственном, распадающемся мозгу покойного?.. На самом-то деле выходит никакая не душа, а энергия разума. Энергия не исчезает, в этом я согласен с марксистами. Но если она не исчезает, следовательно, разум бесконечен, а человек духовно бессмертен. Он оставляет после себя в мире электромагнитные волны, и если я проживу еще несколько лет, то я сконструирую аппарат, который запишет речи Нерона, песни древнего Египта и невысказанные мысли Макиавелли. Что вы смеетесь?! Не зря ведь говорят: «Идеи носятся в воздухе». Они действительно носятся в воздухе, они вокруг нас, следует только соответствующим образом подстроиться к ним, и тогда высший разум мира, накопленный всей историей нашей тревожной планеты, войдет в вас, и вы станете пророком, и вас распнут продажные торговцы, и все начнется сначала. Вы никогда не задумыва-

лись над тем, отчего великие люди либо маленького, либо очень большого роста? Юлий Цезарь, Вольтер, Наполеон, Пушкин, Лермонтов, Толстой, Ленин — все невелики ростом. А Петр Великий, Кромвель, Линколын — громадны. В чем дело? Случайность? Отнюдь! Они — вне среднего уровня, они над или под средним уровнем человечества. Я имею в виду физический средний уровень. И поэтому им легче — и громадным и маленьким — настраиваться на окружающие нас электромагнитные волны ушедших гениев, оставаться один на один с высшим разумом мира.

— Свернут вам голову, Рувим, за эдакие-то бредни... Либо те, либо эти, но свернут обязательно.

— Ха, а вы думаете, я боюсь? Я не боюсь! Почему я не боюсь? Не потому, что я храбрец! За всех евреев было два храбреца: один в Палестине, а другой в Одессе, у Гамбринуса. Нет, я трус, но я не боюсь за голову и вообще за жизнь. Почему? Потому что все очень просто: вы меня касаетесь пальцем, и вы ощущаете меня, но чем вы меня ощущаете и что вы ощущаете? Площадь кожи пальца, которым вы ко мне прикоснулись, состоит из атомов, а ведь атом — это ядро, вокруг которого в громадной пустоте вращаются крошечные электроны. В пустоте, запомните это! Так вот, вы прикасаетесь пустотой к пустоте. Поймите, в мире нет массы! Есть энергия и есть магнитные поля! И больше ничего! Тело — это миф! Мы бестелесны! Мы — из атомов и пустоты, воздух — из этого же, мы все — подданные материи, поймите! Чего же бояться?! И потом, неужели вы никогда не чувствовали, что с вами все это, переживаемое сейчас, уже неоднократно было? Сны — это пережитое вами раньше. Сон — та сфера жизнедеятельности, которая перевернет науку гуманитариев! А в общем, все ерунда и чушь! Надоело!

Шамес взмахнул скрипочкой и запел:

Ой, койфен, койфен,
Койфен, папиросен,
Сказал Рувиму
Гоиш часовой!

— Почему вы не идете в наш университет, Рувим?

— В ваш университет евреев не пускают.

— Ну, есть же Америка, в конце концов...

— А еще есть Житомир, где похоронено шесть поколений Шамесов, из которых только один Рувим стал приват-доцентом. Так пусть я сдохну в Житомире, честное слово, это будет приятно и мне и предкам.

— Пейте водку.

— Я боюсь опьянеть.

— Не бойтесь. Это так прекрасно... А особенно прекрасно на второй день после пьянки, когда потихоньку опохмелишься, пойдешь гулять — звонность во всем кругом, тишина, нежность. Очень все обострено к жалости после опохмелки...

Шамес выпил полстакана и сразу же начал раскачиваться из стороны в сторону.

— Теперь весь пол облюет, образина,— беззлобно сказал Минька.— Ишь зенки начал закатывать. Еврей — он ведь особой конструкции человек, в нем есть такой клапан для хитрости. Как перебрал — клапан открывается, еврей выблевывается и завтра готов снова с чистой головушкой наш народ дурить, а русский человек — все в себе да в себе, нет у него клапана, да и добро жаль на пол зазря переводить...

Минька подхватил Шамеса под мышки, ласково поволок его в маленькую прихожую, положил на пол, укрыл тулупом и рысцой побежал обратно к столу. Ванюшин сидел строгий, тихий, рубаху на себе застегивал и смотрел прямо перед собой в одну точку.

Исаев кашлянул у двери и сказал:

— Николай Иванович, поехали собираться. Мы Гиацинтова не дождемся, тронем одни, а?

— Да, да, тронем одни... Может быть, взять с собой Шамеса?

— Пожалейте старика. Его Гиацинтов за пейсы по снегу оттаскает.

— Да, да, оттаскает, это уж непременно,— как-то угодливо согласился Ванюшин, по-прежнему глядя прямо перед собой.— Миня, проводи меня; я пойду. Пойду я...

— Куда, Косинька? Я картошечку отварил, сейчас покушаем, чайку попьем...

— Проводи меня, Миня,— повторил Ванюшин.— Проводи. И если ты меня чтишь, возьми вот сто долларов и на них Шамеса корми и холь. Я тебя по-божески прошу.

— Господи, господи, куда ж такие деньги-то, Косинька, да погибнем мы с них, не надо, Христом-богом прошу, господи!

— А ну забожись на образа.

— Чего божиться-то?

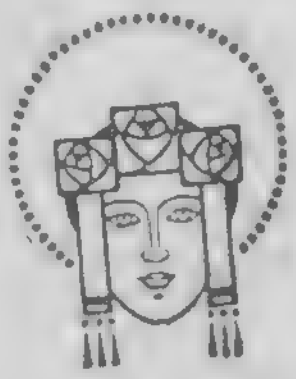
— Божись, что на вас деньги истратишь, на обоих, а ему будешь, как мне в детстве, нянькой.

— Косинька, Косинька, я забожусь, вот, божусь я, только что это ты, а?

— Ничего, старый. А мы, помнишь, маменьку ведь на второй день с утра из дома вынесли — и на кладбище. Значит, все слышала она. Слышала, как мы торопились, чтоб на поминках больше водки выжрать.

— Господи, Косинька, я беспокоюся... У меня вот и рука левая захолодела.

— Все торопились, торопились, наслаждения искали. А ее на второй день вынесли, скоты. И еще чего-то там изображаем. Борцы, освободители! Ну, будь здоров, скоро увидимся... Пошли, Максим Максимович, а то мне очень жутко здесь смотреть, как Шамес в углу собакой спит, самого себя стыдно...



ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ВОКЗАЛ. ПОЗДНЯЯ НОЧЬ

— Группа «Сокол»...— звучит приглушенный голос Гиацинтова на темном перроне, оцепленном японцами так, что муха не пролетит.

— Здесь,— отвечает мужчина в крестьянском обличье, стоящий перед строем из семи человек, также одетых в крестьянскую одежонку.

— Пароль в Чите?

— Осенний дождик.

— Отзыв?

— Будильник.

— Прошу в вагон. Группа «Рысь»?

— Здесь,— отвечает человек, одетый в форму красного командира. Рядом с ним семеро «бойцов» Народно-революционной армии.

— Пароль в Верхнеудинске?

— Сверху донизу.

— Отзыв?

— Ломберный стол.

— Прошу в вагон. Группа «Рожь»?

— Здесь,— отвечает человек, одетый оперуполномоченным госполитохраны ДВР. Рядом с ним семь человек — тоже вроде госполитохрановцы.

— Пароль в Борзе?

— Гнус.

— Отзыв?

— Пиджаки.

— Прошу в вагон. Группа «Амалия»?

— Здесь,— отвечает «красный партизан». Рядом с ним семь человек с алыми лентами на папахах. Ни дать ни взять — красные партизаны.

— Пароль в Благовещенске?

— Горит свеча.

— Отзыв?

— Взойдут семена.

— Прошу в вагон. Группа «Шпала»?

Так шла проверка групп в течение получаса. Потом эшелон с потушенными огнями, составленный из восьми вагонов, разделенных глухой перегородкой на две части — в каждой по группе,— двинулся к линии фронта. Впереди катилась платформа с мешками, набитыми песком: партизаны выступали с каждым днем все сильней и беспощадней.

Заехав после отправки людей в контрразведку, Гиацинтов пробежал последнюю сводку. Молчанов сообщал, что занята станица Волочаевская, и на Волочаевской сопке, контролирующей все подходы к стратегическим рубежам для возможного красного контрнаступления на Приморье и Хабаровск, начаты инженерные работы, которые превратят это место в бастион свободной, белой России, и отныне никакие возможные неудачи на фронте не смогут никого беспокоить во Владивостоке.

После, быстро переодевшись, Гиацинтов заехал в «Версаль», прочитал записку Ванюшина, в которой тот предупреждал, что они с Исаевым уже уехали на заимку, секунду постоял, раздумывая, потом спустился вниз, приказал шоферу быстренько заехать за ружьями и корзиной с вином, только что полученным от французов, и без остановки к Тимохе.

Ванюшин спал и во сне с кем-то ругался грубым, жандармским голосом. Филеры, проработавшие весь вечер поварами, храпели на два голоса. Они лежали как сторожевые собаки на шкуре медведя — у самого порога, так, чтобы никто, входящий или выходящий, не мог их миновать.

Сашенька и Максим Максимович сидели возле маленького оконца. Оконце было заледенелое, мохнатое, белое. Лед казался мягким и шерстистым. Сашенька прижалась к оконцу щекой и шепнула:

— Сначала как будто жарко, а потом очень холодно.

— Я при вас несколько глупею, Сашенька. Мне при вас хочется говорить только самые умные вещи и обязательно афоризмами.

— Это, наверное, вам передается мое состояние. Мне тоже хочется быть ужасно оригинальной и умной, чтобы вы не сразу поняли, какая я дура.

— Смотрите, месяц молодой — слева. Загадывайте.

— Загадала.

— У вас глазищи китайские.

— Да?

— Конечно. Разве не знаете?

— Знаю.

— Загадали?

— Загадала, чтобы вы влюбились в меня.

Исаев тоже прижался щекой ко льду на стекле и сказал:

— Сначала было холодно, а потом необыкновенно жарко.

— У вас на скулах румянец с синевой, как у склеротиков.

— Понятно. Не надо держать пальцы на льду, они занемеют.

— Нет, надо.

Исаев взял руку девушки в свою небольшую, но очень крепкую ладонь и сказал:

— Давайте играть в «ладушки».

— Я не умею.

— Вы просто забыли. Сейчас я буду петь и подбрасывать вашу ладонь, а вы бойтесь, чтобы я вас между делом не хлопнул по руке.

— А вы сильно не будете хлопать?

— Нет, совсем не сильно.

— Давайте,— еще тише сказала Сашенька, не отнимая своей руки от холодной ладони Исаева.

— Ладушки, ладушки,— начал тихонько напевать Максим Максимыч,— где были? У бабушки! А что ели? Кашку! А что пили?

— Спирт,— улыбаясь, ответила Сашенька и хлопнула Исаева по руке.— Вы не по правде играете, а я не боюсь вас, поддаетесь и в глаза мне не глядите.

— Сашенька, а вот если люди были вместе, долго, вечность, а потом вдруг один из них взял и уехал, но чтобы обязательно и вскорости вернуться — тогда как?

— О чем это вы, Максим Максимыч? Я же отказалась ехать к Гаврилину в Америку, коли вы не захотите...

— Когда б вы только видели, как я отвратителен, если сфотографировать мое отражение в ваших глазах: я кажусь маленьким и расплющенным, словно на меня положили могильную плиту. И рожа как новый пятак.

— Зачем вы так говорите? Я же не княжна Мэри, я прожила революцию и пять лет войны. Меня окольно не надо отталкивать, вы мне лучше прямо все говорите, а то я бог весть что подумаю.

Исаев взял с полочки маленькую свистелку в форме козленка, вырезанную Тимохой, и начал тихонько играть, как на свирели. Сашенька, смотрела на него, подперев голову кулачками, и покусывала губу. Луна — громадная и желтая — высветила лед на оконце, и он теперь казался фантастическим рисунком.

— Знаете,— сказала Сашенька,— вы когда-нибудь очень пожалеете, что не разрешили мне быть подле вас.

— Я знаю...

И он снова начал играть на свирелочке тоскливый и чистый мотив, который обычно напевают пастухи — самые влюбленные люди на земле.

Сашенька поднялась из-за стола, накинула свой тулупчик с белой оторочкой и, перешагнув через заметавшихся филеров, вышла на крыльцо.

— Кто? — спросил один из филеров, сунув руку под подушку.— А, барышня, простите, сон чумной увидел...

Исаев вышел следом.

— Смотрите, какая тайга под луной. Будто декорация. Совсем некрасиво оттого, что слишком красиво.

— Если играть «Богатели» возле картин Куинджи, тогда все смотрится иначе.

— У вас лоб хороший, выпуклый.

— Вы про лоб подумали оттого, что я вам сказала про музыку и живопись? Вы, верно, решили, что я умная?

— Да.

— Женщине надо быть дурой, тогда ее ждет счастье.

— Вам кто-нибудь говорил про это?

— Нет.

— Неправда. Это слова мужчины. Держите свистелочку.

Сашенька стала играть детскую пьесу — ту, которую разучивают малыши, впервые усаженные родителями за рояль. И впрямь, тайга сделалась иной: тени, лежавшие на хрупком, нафталиновом снегу, перестали быть рисованными, а сделались реальными и подвижными, верхушки громадных кедрачей стали походить на великанов из сказок, а далекие высверки луны на заледенелых солонцах, казавшиеся прежде неживыми, сейчас замерцали и сделались переливными.

— Сашенька,— сказал Исаев,— моей профессии... журналистике... противна любовь к женщине, потому что это делает ласковым и слишком мягким. А это недопустимо. Но я никогда раньше не любил даже издали, потому что для меня всегда были главными мои... читатели. Они, читатели, требуют всей моей любви, всего сердца, всего мозга, иначе я буду делать мое дело вполсилы — тогда незачем огород городить. Так я считал.

— Вы продолжаете и теперь считать так?

— Да.

— Я поцелую вас, Максим Максимыч, можно?

Девушка обняла его голову, прижала к себе и поцеловала в губы.

— Максим Максимыч,— шепотом сказала Сашенька,— а ведь ваши читатели газетами окна на зиму заклеивают и вашу фамилию пополам режут — я сама видела.

Исаев погладил ее по лицу. Он гладил ее лоб, щеки, губы на ощупь, как слепой. И лицо у него было скорбное и спокойное, как у святого на иконе.

— Я пойду за вами, куда позовете,— говорила Сашенька,— я готова нести на спине поклажу, в руках весла, а в зубах сумку, где будет наш хлеб. Я готова быть возле вас повсюду — в голоде, ужасе и боли. Если вы останетесь здесь, я останусь подле вас, что бы нам ни грозило.

Она говорила, говорила, а Исаев терся об ее щеку, как маленький щенок, и на лице у него были скорбь и счастье.

Часа через четыре вернулся из тайги Тимоха и кивнул головой Исаеву, который сидел возле Сашеньки, свернувшейся калачиком на широкой тахте.

— Возьмем зверя? — спросил Исаев.

— Должны.

— Далеко отсюда ходит?

— Верст десять в сопки.

— И то хорошо,— сказал Исаев, вздохнул, закрыл глаза и снова начал гладить лицо спавшей Сашеньки.

— Поспали б, господин Исаев,— сказал Тимоха,— а то завтра маетность предстоит.

— Ничего,— тихо ответил Исаев,— это все пустяки, сущие пустяки, Тимоха...

Уже под утро, когда луна скрылась за тучи, потянувшие серой, тоскливой стеной с океана, окна заимки чуть осветились прыгающим светом автомобильных фар — это торопился Гиацинтов.

Исаев, так и просидевший всю ночь подле Сашеньки, осторожно поцеловал ее в висок, укрыл потеплее и пошел на постель к Тимохе. Тот подвинулся к стенке, Исаев сбросил пимы и лег рядом с егерем. Запрокинул руки за голову и закрыл глаза.

Гиацинтов вошел в заимку, осторожно перешагнув через филеров, которые со сна сразу же потянулись за пистолетами под голова.

— Отдыхайте, отдыхайте,— шепнул Гиацинтов.

Следом за ним в заимку вошли еще три филера. Они сели к столу и сразу же начали доедать то, что осталось от ужина. Гиацинтов подошел к Исаеву, лежавшему рядом с Тимохой, нагнулся над ним и долго, неотрывно смотрел в лицо Максима Максимовича. А тот сладко посапывал, и ни один мускул в его лице не дрогнул, и ресницы лежали большими тенями на щеках: спокойно спал Исаев, как ребенок.

Гиацинтов судорожно вдохнул воздух, потому что разглядывал Исаева он не дыша, отошел назад и, сев на скамью, стал в задумчивости барабанить пальцами по столу опереточный мотивчик.

— Тише ешьте,— попросил он чавкающих филеров,— люди спят...

ПЕРЕДОВЫЕ ПОЗИЦИИ КРАСНЫХ ВОЙСК

По бескрайней снежной равнине, по узкой санной дороге, которая вьется по буеракам и взгорьям, медленно бредут части разбитой Народно-революционной армии, выходящей из окружения. На обочине,

по пояс в снегу, воткнуты два трупа голых народоармейцев. Они облиты водой и заморожены белыми насмерть. Один держит в зубах табличку, на которой написано: **«На Москву».** А у второго к груди прибита дощечка со стихами: **«У кого ж... не драта, голосуй за демократа».** Белые так себя стали называть — демократами, это Николай Дионисьевич Меркулов придумал, слово-то очень мужику нравится — непонятное и со смыслом.

Мертвый снег кругом, скользкая дорога кажется тоннелем в этих сугробах, воронье кружится над убитыми бойцами, мертвая тишина и только усталое шарканье сотен и сотен подошв по бугорчатому, порыжелому льду дороги.

Молча идут бойцы, только разве изредка сухой кашель забьет кого-нибудь из стариков, он остановится, скрючится посреди дороги и долго будет стоять так, позеленев, пока наконец отдышится и сможет сделать первый шаг — дальше, на запад.

И вдруг то ли пригрезилось, то ли ветер зашумел как-то странно, только послышалась людям песня. Боевая, с присвистом и задором. Ни дать ни взять, как на параде в мирное время. И бойцы, шедшие по унылой, бесконечной зимней дороге, не смели поднять голову или остановиться, потому что монотонное и многодневное отступление притупляет и успокаивает, оно принимает в себя и несет целый день — до случайного ночлега или до смерти, когда вьюга подует еще сильней и негде будет обогреться. Оно, это движение, безнадежно монотонно, его нельзя нарушать остановкой, потому что в этой монотонности и есть надежда на спасение.

Но слишком уж звонка песня, уж рядом она, вот здесь, за пригорком.

И дорога замирает, каждый боится спросить соседа и боится на него глядеть, каждый смотрит в небо — оно не обманет, оно молчаливо, но в нем сейчас — песня.

Выходит из-за пригорка полк. Все бойцы в «богатырках» — высоковерхих шапках, как у буденновцев, шинельки на них ладные, рукавицы теплые. И шаг печатают, будто на параде, а впереди, рядом со знаменем,— командиры. И песню ревут так, что воздух трясется.

— Ура! — тихо и хрипло говорит заросший седой боец с обвязанной марлей рукой, висящей на перевязи.

— Ура! — шепчет старик партизан сквозь слезы.

— Ура! — страшно и тонко кричит мальчишка с обмороженным лицом.

Все ближе и ближе полк, вот он проходит мимо, к бойцам тянутся руками, их трогают, просто трогают, чтобы убедиться в яви, чтобы набраться от них силы, чтобы распрямить плечи.

Проходят бойцы ровными квадратами, поротно, проходят мимо обмороженных и раненых героев. Проходят с песней и шаг печатают по мерзлому снегу.

Прошел полк, а те, которые только что брели на запад, отступая, сейчас останавливаются. Сначала они нерешительно топчутся на месте, потом, словно по команде, поворачивают головы вслед прошедшему полку, а потом — кто бегом, а кто взвалив на плечи товарища и еле-еле передвигаясь,— отправляются следом за прошедшим полком, к передовым, откуда только что откатывались — на восток.

ВАГОН БЛЮХЕРА

В салон-вагон главковерха, прицепленный к бронепоезду, выстроилась очередь. Купцы, журналисты, командиры, крестьяне, железнодорожники. Но у дверей вагона два народоармейца в тулупах молча преграждают штыками дорогу всякому, что бы тот ни объяснял. На соседних путях из теплушек разгружаются все новые, прибывшие из тыла, части: люди, кони, пушки. На громадной и наполовину сожженной артиллерийскими обстрелами привокзальной площади перекрикиваются молоденькие комвзводы, выстраивая бойцов поротно. Возле вокзала стоят походные кухни, и повара разливают в миски дымящийся на морозе суп людям, только что вырвавшимся из окружения. Среди оборванных и обожженных бойцов ходят медсестры в высоких колпаках с красными крестами, и среди этих окровавленных и заросших людей они кажутся такими чистенькими и ломкими, что даже боязно за них. К наскоро построенной бане стоят в очередь бойцы с шайками, мылом, вениками и новеньким обмундированием. В очереди шутки, смех, мужичий молодой заигрыш — кто кого плечом в сугроб подтолкнет, а кто — снежку сыпанет за ворот... Горят костры, выстреливают окрест себя пулеметными красными взбрызгами. У костров проводят беседы агитаторы, возле крестьянских повозок, в которых из деревень привезли муку и мясо, перека-

тывает гармоника,— словом, все оживлено тем особым, несколько лихорадочным ожиданием, которое обычно предшествует всякому большому сражению.

В салоне у Блюхера на диване, укрытый шинелью до подбородка, ужасно похудевший и состарившийся, лежит Постышев. Он часто кашляет, и тогда кажется, что в нем сейчас установлен испортившийся музыкальный инструмент — так долго хлюпает и повизгивает у него в бронхах.

Блюхер диктует Григорию Отрепьеву, редактору:

— Это в номер, Гриша. Нам говорят белые, что мы — интернационалисты, что для нас не важно, кто человек: русский ли, китаец, американец или кто любой. Правильно говорят белые.

— Погоди, погоди,— останавливает его Отрепьев,— товарищ главком, да разве белые могут правильно говорить?

— Могут.

— Нет, я понимаю, что в жизни-то, конечно, могут, но в нашей газете не могут.

— Могут,— говорит с дивана Постышев, не открывая глаз.

— То ж не агитация и пропаганда,— досадливо говорит Отрепьев,— а сплошное самообливательство грязью. На газетной странице красный должен быть во всем и завсегда умней и сильнее белого!

— Это, между прочим, здоровая мысль,— ухмыляется Блюхер,— только как ты объяснишь бойцу, от кого это он драпал тысячу верст на запад — голодный и больной? От какого такого глупого и неумного врага он отступал и сдавал ему родную землю? Ладно, валяй дальше, спорить некогда. Правильно говорят белые: нам, красным, не важна национальность, нам важно — рабочий ты или эксплуататор. Вот что нам важно. Белые твердят, что они — националисты, что они против красных под старым русским знаменем идут, воюют за русскую родину, а не за всемирный интернационал. Это верно, что они националисты, это верно, что они идут под старым русским знаменем, только чьи у них в руках винтовки? Только чьи на них шинели? Только откуда к ним подошли пушки? Только отчего это они с народом рассчитываются японскими оккупационными иенами, откуда они у белых?

— Тут один крестьянин меня спросил,— извиняюще перебив Блюхера, заговорил Постышев,— как это можно Кремлю грозить кулаком из Хабаровска? И еще он меня спросил: откуда это у белых появилось столько иностранного добра? Чем расплачиваться-то? Россией?!

— Хорошо, Павел Петрович,— говорит Блюхер,— очень хорошо. Волит внутри?

— Болит.

— Через час вылечу,— решительно говорит Блюхер.

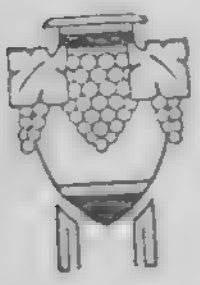
— Как?

— Баней. Очередь займи, Гриша, а я пока сам попечатаю. Видишь, на площади, за уголком, дым из труб штопорит? Это саперы вчера сруб поставили специально для санпропусковой бани.

— Помру от бани,— говорит Постышев,— ослаб.

— Я не дам помереть,— успокаивает Блюхер.— Полчасика попаримся — все станет хорошо, точно знаю, верно, товарищ тушинский вор?

— За что вы меня так? — обидчиво говорит Отрепьев.— Разве я виноват, что папаша меня Гришкой назвал? Я уж в прошлом году ходил в исполком — думал псевдоним взять. Просил старикашку делопроизводителя переписать меня с Отрепьева на Энгельса — так он чуть со страха не окочурился...



БАНЯ

Постышев лежит на деревянной лавке, укрытый сухой, жаркой простыней. Блюхер, скользя по мыльному полу, подходит к нему, зажав в руке распаренный веник, а в другой мочалку — всю в белых хлопьях. Смотреть на него страшно: все тело в рваных шрамах — бугристых, жутких, красно-синих.

— Как маму звали? — спрашивает Блюхер, снимая с Постышева простыню и замахиваясь веником.— Ну-ка, вспоминай да молись, чтоб вывезла. Мама, брат, всенепременно из любой хворобы вывезет.

Блюхер хлещет веником, натирает мочалкой блаженно стонущего Постышева, который вцепился распаренными громадными и губчатыми пальцами в край скамейки.

— Ну как? — кричит Блюхер.— Живой?!

— Пока дышу.

— Дыши, милый, дыши! — стонет Блюхер и поддает его веником по загривку, по лопаткам, по худым — смотреть страшно — рукам.

— Интересно, а врачи в бани ходят? — спрашивает Постышев.

— Это ты к чему?

— Интересуюсь.

— Комиссары зазря не интересуются.

— Я сейчас не комиссар.

— А кто?

— Римский аристократ.

— Если меня из армии погонят — банщиком пойду. И людям радость доставляешь и самому приятно. У меня дружок был на империалистической, банщик Петя. Льва Толстого мыл. Худенький, говорит, был старичок, с животиком. Сурьезно мылся, и никогда чтоб в кабинет, а всегда утречком, в общем зале. Петька рассказывал както: «Я, если вижу какой ферт пришел, я ему, конечно: «Чего изволите, да как угодно», а положу на лавку, мылом уши замажу, его самого легонько трогаю, силы берегу, а ему все равно кажется, что грохот стоит, потому как уши закрыты. Или пущу ему хлопушек, он и рад, а хлопушка это тоже у банщика экономия силы. Или, если клиент начал фордыбачить, я ему поперек мышцы насобачу, тело у него ломит, он и блаженствует, дуралей. А с Львом Николаевичем я осторожно, только вдоль по мышце работал, растягивал ему тело, разминал как следует и уши мылом не мазал, чтоб зряшнего шуму в голове не было, а то мысли можно спугнуть...»

— Ух, здорово, а! Тебя Отрепьев не слышит?

— Кудри мылит.

— Жаль. Ты так про своего Петю рассказал — он бы оду за ночь написал. Ты, как профессор, моешь, как я тебя мыть буду?

— Сначала выздоровей, а там посчитаемся. Холодной окатить или страшно?

— Черт его знает...

— Может, если столкнуть тепло с холодом, толк будет, а?

— Валяй.

Блюхер окатывает Постышева ледяной водой, накидывается на него с распаренным веником, безжалостно хлещет, мнет ручищами, рычит с натуги.

— Отошел я,— блаженно говорит Павел Петрович,— боль отошла. Сейчас спать, а там хоть в ад.

— Знай наших,— довольно смеется Блюхер и окатывает себя ледяной водой из ушата.— Ангина, ангина... Ангина, конечно, важно, а распариться — нет ничего важней...

Мимо Блюхера, Постышева, Серышева и только что вернувшихся с фронта командиров — Покуса, Конева, Петрова-Тетерина, Шевчука — гарцуют кавалеристы, за ними идут артиллерия, тачанки, потом пехота, а вокруг, сколько хватает глаз, на крышах домов, на повозках, на телеграфных столбах зрители. Тут и крестьяне с окрестных деревень, и железнодорожники, и отступавшие из окружения бойцы, и комсомольцы из местного сводного батальона, и вездесущие мальчишки.

Красиво идут бойцы Блюхера.

Слышны голоса:

— Пуговицы-то надраены, пуговицы, как при мирном времени!

— Это какое же мирное? Царское?

— Чего причепился? Я всем довольный, а ты чепляешь.

— Орлы.

— Тачанки белым дадут прикуру...

— Силища, чего там...

Именно этого и добивался Блюхер парадом. Он был уверен, что назавтра же слух о красной силе, прибывшей из тыла, пойдет по всей здешней местности, перекинется к белым, докатится до Хабаровска и даже захлестнет Владивосток. А слух — он на фронте порой сильнее тысячи бомб. Особенно если войне пятый год. Тут любому слуху поверишь, и чем страшней, тем охотнее поверишь ему, потому что и на войне у человека останется привычка — жить для того, чтобы выжить.

С дерева быстро-быстро слезает мордастый крестьянин. Посмотрел-посмотрел — и в возок, да и пошел лошадей наяривать. Сегодня же ночью к белым позициям подаст — упреждать. А этого Блюхеру только и надо. Пусть. Темнить больше нечего: наш бронепоезд сейчас трогает с пятого пути на белый бронепоезд, который держит подступы к Волочаевке. Через час все решится: если красный бронепоезд пересилит белый, оттеснит его, отодвинет за Волочаевку — хорошо, не пересилит, разобьется — плохо. Очень тогда будет плохо. Тогда вся сила, которую с таким трудом собирал Блюхер за эти месяцы, поляжет под ураганным огнем с белых бронепоездов, даже не подойдя к исходным позициям для штурма. А исходные позиции определил Блюхер прямо под Волочаевкой.

И, заглушая песни пехоты и рев оркестров, выстроенных по случаю парада, протяжно ревет бронепоезд, отправляясь на фронт — за победой.

ДУЭЛЬ

Несутся друг на друга два бронепоезда. В красном, замерев у смотрового окошка, стоит раздетый по пояс, чумазый и яростный Никита Шувалов, тот самый, которого Блюхер отобрал в машинисты на бюро райкома комсомола.

Кочегаром у него Пахом Васильев, тоже блюхеровский выдвиженец, на одном бюро утверждали.

— Еще! Еще! — кричит Никита.— Чтоб парку побольше!

Белый бронепоезд идет навстречу, сигналя беспрерывно и тревожно, а красный все больше набирает скорость, но идет без единого сигнала — как в психическую атаку.

Пахом выглядывает в окошко, говорит Никите:

— Слышь, а не воткнемся?

— Ну, а воткнемся?

— Я не против, только атанда будет шумная.

— Языком меньше трепи, вот тишина и настанет. Пару еще, пару! Подналяжь как следует!

Белый машинист и офицер, дежурный по паровозу, поначалу смеялись, когда следили за тем, как красный бронепоезд набирал ход.

— Резвунчики,— сказал офицер.— Играет кровь огнем желаний. Поддайте еще, пусть испугаются.

Но когда они увидели, что красный бронепоезд мчится им навстречу со все нарастающей силой, офицер потеребил ус и спросил машиниста:

— А может быть, он пустой?

— Кто?

— Бронепоезд...

— Может быть.

— Начинили паровоз толом и разогнали.

— Господи помилуй. Что делать-то? Он ведь прямо на нас прет.

— А вы думали, он к бабушке на чай заедет?!

— Ей-ей, пустой!

— Почему?

— Не свистит, не сигналит, на психику гудком не давит.

— Он скоростью давит на психику.

Никита замер у приборов и, когда Пахом решил было выглянуть в смотровое окно, одернул:

— Не егози!

— А скоро?

— Узнаешь, когда надо будет. Зачем зря смотреть?

— Где они, хотел поглядеть.

— Рядом.

— А ты почем знаешь?

— Знаю.

— Никит...

— Чего?

— Ты меня прости, если я над тобой маленько надсмехался при бойцах.

— Не пой, не на клиросе. Тут кто кого пережмет. А пережмет тот, кто не будет выглядывать. Я вон и то боюсь.

— Серьезно?

— А ты как думал...

— Испаримся мы с тобой, будто ангелы.

— Давай лопату, я покидаю.

— Хрен с ним, айда поглядим?

— Пока не моги.

— А когда?

— Скажу, не бойся. Пока песни ори, с песней ничто не страшно.

— Они ошалели, эти красные идиоты,— говорит офицер машинисту.— Мы сейчас столкнемся.

— Не сейчас, но скоро.

— Пора выпрыгивать?

— Здесь не спрыгнешь.

Дежурный офицер смотрит в окошко: бронепоезд несется по высокой насыпи, прыгать вниз, на валуны,— значит, неминуемо разбиться насмерть.

— Стоп! — кричит офицер.— Стоп! Полный назад!

— Стоп! — орет машинист помощнику.— Стоп, мать твою! Стоп, а не вперед! Сплющимся ж, дура!

— А-а-а! — кричит кочегар, бросает лопату и, схватившись за голову, начинает прыгать, приседать и натяжно, длинно выть.— Пустите, прыгну! Пустите, Христа за ради!

— Стоп! — кричит офицер, еще раз выглянувший в окно.— Стоп! Стоп! Стоп!! Стоп!!!

САЛОН БЛЮХЕРА

— Итак,— докладывает дежурный адъютант,— наш бронепоезд ворвался в деревню Волочаевскую, оттеснив белый бронепоезд.

— И тем не менее,— сухим, надтреснутым голосом говорит Гржимальский,— я просил бы не начинать штурма.

— Почему? — спрашивает Постышев.

— Я имею в виду наш разговор с главкомом о мирном предложении Молчанову.

— Кого вам жаль из тех, кому предстоит сражаться,— белых или красных? — с ехидцей спрашивает кто-то из командиров.

— Мне жаль русских,— сухо отвечает Гржимальский.

Минутное молчание.

— Что вы предлагаете? — спрашивает Постышев.

— Послать к Молчанову парламентера с предложением мира.

— Вы согласитесь пойти?

— Нет.

— Отчего?

— Я не боюсь смерти, которая ждет меня у них, как изменника родины,— Гржимальский кривит губы.— Я боюсь бесцельности моего визита. Меня расстреляют, вам не ответят, а вы — гордецы, другого не пошлете... Поверьте, я не становлюсь сентиментальным, что обычно происходит в старости с боевыми генералами, просто мне жаль русских.

— Это свидетельство нашей слабости, предлагать им мир,— слышен голос.

— Запомните,— отвечает Блюхер,— предложение о мире — это первейшее свидетельство силы.

СТАВКА МОЛЧАНОВА

Генерал лыс, худ и высок. Усы его обвисли книзу по-украински, как у Тараса Бульбы на старинных иллюстрациях. Одет он в зеленый френч, сшитый из солдатского сукна, без орденов, с походными погонами, на левом рукаве возле плеча вшит большой овал, на котором четко изображены череп и кости. Это символ смертников.

Он стоит посредине штабной комнаты, широко расставив ноги, обхватив себя руками за плечи, и слушает красного парламентера, комполка Уткина, который зачитывает послание Блюхера. Голос у парламентера срывается от волнения, и каждый раз, когда это случается, Молчанов прищелкивает пальцами левой руки, как танцовщик.

Я призываю Вас, генерал, к честному благоразумию и искреннему отказу от той жестокой роли, которую чужая воля навязала Вам в последней кровавой затее интервентов и чужеземных капиталистов.

Любовь к моему великому народу, поднявшемуся, как один, за свою Республику, и нежелание проливать его драгоценную кровь властно диктуют мне обязанность, как революционера и гражданина великой революционной России, сделать еще попытку обратиться к Вам с братским напоминанием Ваших обязанностей перед Родиной.

Попытайтесь, генерал, найти солдатское мужество сознаться в ошибках, воскресить в своей душе действительную любовь к своей Родине и сделать из этого честный вывод.

Мне бы хотелось знать, какое же количество жертв, какое число русских трупов необходимо еще, чтобы убедить Вас в бесполезности и бесплодности Вашей последней попытки бороться с силою революционного русского народа, на пепле хозяйственной разрухи воздвигающего свою новую государственность?

Какое число русских мучеников приказано Вам бросить к подножию японского и другого чужеземного капитала?

Сколько русских страдальческих костей необходимо, чтобы устроить мостовую для более удобного проезда интервентских автомобилей по русскому Дальнему Востоку?

Нет, генерал, мы этого не позволим. Мы, мужики, защищающие свое родное достояние, свою родную революционную русскую землю, впервые в течение столетий увидевшие свою истинно народную власть.

Оглянитесь назад, и Вы увидите наглые физиономии этих торгашей народной кровью, этих людей, потерявших всякое национальное чувство и срамящих низкопоклонством перед чужеземцами самое имя русского человека ради ничтожных подачек и животного страха. Неужели Вы будете продолжать помогать им в их вредной для великого русского дела продажной работе? Среди Ваших рядов я заметил много дельных людей, необходимых в настоящую минуту для государственной работы в России и Дальневосточной республике. Не губите их в угоду чужеземному золоту, и грядущая история нашей страны скажет Вам за это спасибо.

Слова: «Свободный народ не мстит» — есть голая историческая правда, и Ваши офицеры, которые находятся у нас в плену, могут Вам засвидетельствовать ее, равно как и те многочисленные колчаковцы, которые доблестно бьются в наших рядах за свое родное русское дело, свою молодую Дальневосточную республику.

Еще раз подтверждаю Вам мое твердое решение не дать Вас в обиду в случае добровольной сдачи оружия, но прошу не обижаться, если при продолжении борьбы это оружие будет вырвано из Ваших рук тем жестоким способом, который диктуется всей исторической обстановкой...

Председатель Военного совета и военный министр, главнокомандующий Блюхер.

Молчанов щелкнул пальцами, еще ниже нагнул голову, парламентер увидел старческие голубенькие жилки у него на шее и решил про себя: «Если сейчас начнет доставать наган — перегрызу, собаке, шею».

— Неплохо написано,— пожевав белыми тонкими губами, сказал Молчанов.— Да вы присаживайтесь, пожалуйста.

— Чего? — растерялся парламентер Уткин.

— Присаживайтесь, говорю, присаживайтесь.

— Постоим.

Молчанов близко подошел к парламентеру и уставился в его лицо своими серыми, спокойными глазами. Он внимательно осматривал его гладкий лоб, жиденькие брови, маленькие глаза, запавшие щеки, рот, острый, выпирающий подбородок с детской ямочкой.

— Вы родом из Смоленщины? — спросил Молчанов.

— С Могилевщины.

— Белорус?

— Русский.

— Давно оттуда?

— Давно.

— Перебросили с войсками?

— Нет, я здесь был на каторге.

— Политический?

— Да.

— Давно в партии?

— Десять лет.

— А самому сколько?

— Двадцать восемь.

— Чин?

— У нас чинов нет... Поставлен командовать полком.

— За десять лет службы?

— Я служу только пять лет.

— Вы не поняли. Я имею в виду партийную службу.

— Партии не служат.

— Экой вы тщательный в формулировках. Не изволите ли чайку?

— Мне бы лучше ответ получить.

— Ах, да, да, конечно... Но, видите ли, мы ведь не прежние генералы в прежней царской армии. Мы живем на демократических началах. Я обязан, прежде чем дать ответ, посоветоваться со своими коллегами, с моими друзьями-солдатами.

— А чего советоваться-то? Мы у вас не пушку просим. Сами вы как настроены?

— Оптимистично,— улыбнулся Молчанов.— А вы?

— Тоже.

— Вы, когда читали этот документ, очень нервничали. По-видимому, ждали, что я прикажу вас немедленно расстрелять, не так ли?

— Всяко может стать.

— А вы бы разве могли убить парламентера?

— Нет.

— А зачем так плохо думали обо мне?

— Я об вас не плохо думал,— улыбнулся парламентер,— я об вас с перспективой думал.

— Браво,— сказал Молчанов.— Браво. Я скажу моим людям о том, что командиры у красных отнюдь не вандалы и не изуверы, а вполне приятные молодые люди.

— Это вы к тому, чтоб я нашим сказал хорошо про вас, господин генерал?

— Война — не торговля, принцип «баш на баш» тут не годится,— сухо заметил Молчанов.

— Я врать не буду. Я честно все скажу.

— О, это великая жертва — сказать честно про белого пса, наемника японского капитала, губителя русского народа, на костлявых руках которого — кровь тысяч замученных женщин и детей. Надеюсь, вы заметили сходство между портретом, написанным у вас, и мной, так сказать, оригиналом?

— Художники — народ особый,— вон есть и такие, которые пишут про нас — «кровавые красные псы, опьянев от русской крови, истоптали матушку Россию, осквернили могилы отцов и продали нашу страдалицу родину еврейскому интернационалу».

— А что, разве это неправда?! — не сдержавшись, воскликнул Молчанов.

— Да не совсем вроде бы я похож на портрет, написанный вами.

— Не я написал этот портрет, а история!

— В таком случае она его и закрасит, история-то...

Молчанов отошел к двери, распахнул ее и сказал:

— Полковник Кремнев! Отвезете парламентера к красным позициям на броне. О погоде говорите сколько угодно, про политику воздерживайтесь.

— До свидания, господин генерал,— сказал парламентер Уткин.

— Прощайте.

Когда парламентер вышел из кабинета и, сев в броневик, укатил, Молчанов взял послание Блюхера, внимательно прочитал его еще раз, походил по мягкому ковру, заложил руки за спину, а потом сунул два листка в камин и долго смотрел, как бумага скручивалась в черный жгут, корчась на красных угольях.

ПЕРЕДОВЫЕ КРАСНЫХ ВОЙСК

На КП Блюхер подает стакан спирту только что раздевшемуся парламентеру Уткину.

Уткин выпивает залпом, нюхает китель, стоит мгновение с раскрытым ртом, грызет сухарь, протянутый ему Блюхером, и только после этого с шумом выдыхает из себя ядреный медицинский запах и блаженно улыбается.

— Что он сказал? — спрашивает Блюхер.

Гржимальский стоит белый, натянутый как струна.

— А ничего толком не сказал, товарищ главком.

— Про срок его предупредил?

— В самом начале сказал: срок три часа.

— Сколько прошло? — спрашивает Блюхер Гржимальского.

— Пять.

— Все,— говорит Блюхер.— Была бы честь предложена. Хватит. Где Постышев?

— У прямого провода, с Дальбюро говорит.

— Пожалуйста, пригласите его сюда.

— Есть.

— Командарм Серышев?

— Я.
— Товарищ Покус!
— Здесь.
— Яков Захарович, тебя назначаю командующим всеми войсками, которые начнут атаку Волочаевской сопки.
— Есть.
— Конев.
— Здесь.
— Хорошо. Петров-Тетерин.
— Я.
— Хорошо.
Входит Постышев.
— Начинаем,— говорит ему Блюхер.
— Отказал Молчанов?
— Да.
— Позвольте пойти на передовую? — спрашивает Гржимальский.
— Нет. Вы мне понадобитесь здесь.
Постышев одевается и идет следом за Покусом.
— Куда? — спрашивает Блюхер.
— В окопы.
— Я буду позже. Сигнал для начала, как обусловлено.
— Понятно. Счастливо, Василий Константинович.
— Счастливо, Павел Петрович.
Постышев и Покус уходят.
— Как с танками? — спрашивает Блюхер.
— Остался один, который может работать.
— Его бросить на поле сразу после начала наступления.
— Так у него ж пулемет заклинило.
— Ничего. Пусть идет без пулемета.
Входит адъютант.
— Товарищ главком, вас ждет главный редактор «Читинской правды» уже два часа, у него Чита на проводе, надо передовицу в номер.
— Извините,— говорит Блюхер командирам и выходит в соседнюю комнату.

Навстречу ему бросается маленький экзальтированный человечек в пенсне, с нервическим румянцем во всю щеку.

— Главком! Я понимаю! Мне нужно всего несколько слов.
— Несколько — могу. А что это вы суетитесь? Вы поспокойнее. Присаживайтесь, ручечку в чернила обмакните и пишите: «Дальний Восток был, есть и будет русским Дальним Востоком».

Главный редактор пишет в блокноте, брызгая кляксы.

— Еще вопрос.

— Пожалуйста.

— Я видел повсюду в войсках поразительный порядок. Я увидел армию, которой не было до вашего приезда на Дальний Восток. Сколько, верно, вам пришлось пострелять народа, чтобы добиться этого?

— Ни один боец не был расстрелян.

— Как?

— Так.

— Как же вам удалось навести порядок среди этого развала и разброда?

— У нашей партии есть целый ряд способов навести порядок и без репрессий. Вы сами-то кто по партийной принадлежности?

— Большевик.

— И давно?

— Порядочно.

— Странно. Вы когда-нибудь видели, как расстреливают людей?

— Нет.

— А по долгу службы вам никогда не приходилось подписывать ордер на расстрел человека?

— Нет.

— Тогда понятно. Еще вопросы есть?

— Есть.

— Сколько?

— Двенадцать.

— Прибавьте для счастливого числа еще один и задайте их мне после окончания сражения.

Блюхер возвращается в комнату к командирам, оглядывает их всех и медленно говорит:

— Я прошу вас сверить часы.

ОКОПЫ

Постышев лежит в снегу, рядом с бойцами, на сорокаградусном морозе. Ревет пронзительный ветер — низкий змеящийся по снегу, задувающий за воротники и под шапки.

— Спать ему не давайте,— говорит Павел Петрович старику, лежащему подле него, и показывает глазами на молодого бойца.— Во-он, под елочкой пристроился, сейчас заснет, лицо у него больно тихое.

— Не слушается он меня.

— Может, больной?

— Вроде бы здоровый, жару в нем нет.

Постышев подползает к парню и тормошит его.

— Ты не спи, Илья Муромец, только не спи.

— А мне лето грезится,— отвечает парень, не открывая глаз.

— А мне, может, осень! — сердится Постышев.— Раскрой глаза!

— От снега их режет, мне черным небо кажется. А в лете мне речка видится — мелкая-мелкая, дно песчаное,— очень медленно говорит парень,— берега с осокой, плотвичка на пригретых местах хвостиками вывертывает.

— Вот сволочное дело,— говорит Постышев,— и поднять его нельзя, сразу подстрелят. Открой глаза, черт ласковый! Сейчас все в атаку станут, а ты будешь лежать окоченелый.

Дыбится, кряжится впереди Волочаевская сопка — неприметная с виду, опутанная рядами колючей проволоки, ощеренная пушками и пулеметами, поросшая частым лесом, загадочная и молчаливая пока.

Тишина стоит кругом — зимняя, мирная, густая. И когда с красного броневоезда, который отвоевал железнодорожный путь, а сейчас, медленно похлестывая отработанными парами по снежному откосу, приближается к Волочаевке, свистя и кувыркаясь в воздухе, полетел на белые позиции первый снаряд, и когда он ахнул снежным фонтаном выше сосен, и когда каппелевцы ответили залпом из нескольких десятков орудий, а красные — всеми орудиями броневоезда, тогда разорвалась тишина, исчезла, полетела в клочья — вверх и в стороны.

Комиссар с «Жана Жореса» лежит в снегу рядом с бойцами.

— Вот я ему и говорю,— продолжает он свой рассказ в короткие промежутки между разрывами снарядов,— не видеть тебе всемирное царство свободы, как своей задницы, потому как ты трус и гнида. Он, конечно, в амбицию. А бесспорно то, что амбиция, она с девицей хороша, а не с красным бойцом. «Это, говорит, тебе ее не видать, свободы, оттого что ты под пулю прешь, а я обожду и в царство пройду первым». На что я ему заключаю: «Дурак, он и в папахе дурак. Без нас, если мы поумираем под белой пулей, царства свободы не будет,

а так, княжество какое-нибудь, обгаженное прохиндеями и трусами». Поднялся я в атаку, а он остался в окопе. Пробежал я пятьдесят метров, а в тот окоп — снаряд, и нет никого в помине.

Блюхер идет в расположение Особого амурского полка, который вместе с шестым стрелковым полком Захарова продирался через снега вдоль железнодорожного полотна, подтверждая, таким образом, победу бронепоезда.

После, уже к вечеру, когда небо стало светлым и высоким, а звезды — от яростного мороза — уменьшились и сделались красными, дрожащими в светлом, ледяном небе, Блюхер отправляется в забайкальскую группу войск Томина, которая была отправлена им в обход волочаевских позиций — по бугорчатому амурскому льду.

Ночью, возле костра, медленно проваливавшегося в сахарный рассыпчатый снег, Блюхер проводит совещание с командирами. Лицо его обуглилось, щеки провалились, заросли по самые глаза колючей серой щетиной, лоб зашелушился от морозного ветра.

— Бить будем с юга,— говорит он.— Там у них еще проволока не до конца натянута. Если брать отсюда, с центра, народу до черта положим, нельзя.

Он расстилает карту на снегу, водит пальцем по хрусткой бумаге, указывая направление ударов. Распоряжения его коротки и сухи.

— Постышев где? — спрашивает он.

— В окопах,— отвечает замначоперод Евзерихин,— в снегу.

— Ясно. Пошли и мы туда,— говорит Блюхер.— Веселить надо людей, а то заснут, померзнут. Разведчики Особого амурского полка с ротой корейцев пусть сейчас же начинают продвижение вплотную к цепи заграждений. У них халаты — они должны пройти. Все. Расходимся.

Блюхер надвигает на глаза свой заячий треух, запахивает коротенький тулупчик и, забросав костер снегом, первым уходит в ночь — на передовую, в первые цепи.

Постышев ползком добирается в отряд моряков, которые выдвинуты почти вплотную к рядам вражеской колючей проволоки.

— Замерзли? — спрашивает Постышев.

— Отогреемся, когда на проволоку.

— Как ее, сволочугу, резать?

— На зуб.

— Раскрошатся зубы, девчата любить не станут.

— Фиксы вставим.

— Заржавеют фиксы,— отвечает Постышев,— и образуется в твоем рту склад металлического лома.

— А вы как к нам добрались, товарищ комиссар?

— Пешком...

— Рост у вас приметный, а они шпарят — страх...

— Пригибаться вам надо, голову беречь.

— Рано еще пригибаться... Пока погодим голову гнуть. Табак остался?

— Мы здесь мох с-под снега откопали, курить можно, только во рту потом сплошная сосновая роща.

Разбрызгивая белые искры, шипя и замирая в небе, взлетают три красные ракеты.

Гремит «ура» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в агонии, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками, перелезают через нее, бросив поверх острых зубцов шинель и бушлат, падают, сраженные, но следом за ними переваливаются еще и еще — десятки, сотни, тысячи бойцов Народно-революционной армии и красных партизан. Они бегут вверх по сопке, утопая в снегу, глядя в черные маленькие дула винтовок и пулеметов, бегут, умирают, но следом бегут другие, и гремит, гремит в сухом морозном воздухе неумолкающий ни на минуту протяжный призыв к победе.

ЗАИМКА ТИМОХИ

Тимоха сонно зачмокал губами, заметался и, присев на кровати, быстро стал повторять:

— Просыпайтесь, господин Исаев, просыпайтесь...

Исаев очень точно разыграл спящего, несколько раз оттолкнул Тимохину руку, потом вскочил, спрыгнул на пол, увидел прямо перед собой Гиацинтова, смущенно улыбнулся и, протерев глаза, начал будить Ванюшина.

— Давно приехали? — спросил Исаев полковника.

— Не так чтоб очень.

— Давайте поскорей, господа,— торопил всех Тимоха,— спаси бог, засветит солнце, всю обедню попортим. Изюбрь любит, чтоб его затемно окружить, он за пять верст слышит.

Тимоха заметно нервничал, посматривал на филеров, приехавших с Гиацинтовым, руки его были суетливы и слишком быстры.

— А эти господа тоже с нами, Кирилл Николаевич? — спросил он про филеров, не удержавшись.

— Тоже.

— А как они без ружей.

— У них маузеры.

— Чего?

— Пистолеты американские. По два — на рыло. Ну-ка, друзья, покажите Тимохе, какие у вас штуки.

Филеры приподняли полы френчей, показывая Тимохе гранаты и заткнутые за пояс маузеры.

— Возьмет зверя? — спросил Гиацинтов.

— Смотря как они по целкости.

— Ничего. Целят как надо.

Ванюшин спросонья выпил стакан водки и сказал:

— Я себя неважно чувствую, не пойду я.

— Стрелков мало, Николай Иваныч.

— Ты, Тимоха, не волнуйся. Мои люди отменные стрелки. С любого расстояния зверя возьмут. У нас в машине карабины и пулемет,— улыбнулся Гиацинтов и доверительно положил руку на коленку Исаеву.— Ну как, мой храбрый охотник? Забьем изюбря?

— Постараемся,— ответил Исаев и постучал костяшками пальцев об стол,— заранее загадывать боюсь.

— Сашеньку возьмем? — спросил Гиацинтов.

— Оставьте в покое девушку,— буркнул из-под тулупа Ванюшин.— Пусть спит, а печенку вам потом здесь зажарит.

— Прометеев сюжет,— заметил Исаев, смешно морща нос,— кому и чью?

— Ну, с богом,— сказал Тимоха.— Двинем.

— Идите следом за ним,— сказал филерам Гиацинтов,— а мы с Максимом Максимычем пойдем замыкающими.

— Вы сами-то хотите стрелять сегодня? — спросил Тимоха полковника.— А то если нет, так я один пойду. А если хотите — давайте не последними, а ближе ко мне — я вас на перепадок поведу, где изюбрь у меня прикормлен.

— Там летом ручей, что ль?

— Ну.

— Хорошо. Мы тебя догоним, нам поболтать пять минут надо с Максимом Максимычем.

Гиацинтов взбросил на плечо карабин, обмотал шею толстым шарфом и сказал:

— Полегоньку двинулись.

Тимоха и четверо филеров шли впереди. Чуть поотстав, поддерживая друг друга под локоть, шли Гиацинтов с Исаевым.

— Макс, мне очень хотелось побеседовать с вами под открытым небом,— тихо говорил Гиацинтов,— а то в городе никак не уединишься. Звать к себе — интеллигенция сразу станет вас сторониться, как возможного агента охранки. У вас? Там всегда полно народу. А в кафе «Банзай» вы столь часто бывали с Ченом, что вас там слишком хорошо запомнили...

— Там прекрасно делали рыбу.

— По-монастырски?

— Нет, это обычно. Мне там нравились креветки, зажаренные в мясе осетра.

— Да, да, как-то раз я пробовал это, очень занятно. Но мы отклонились в сторону от разговора. Он будет краток. Я ничего не хочу знать о вашем прошлом, хотя оно крайне занятно и изобилует многими белыми пятнами, подобно карте Антарктиды. Меня занимало ваше настоящее, оно элегантно, оно достойно вас. Вы — обаяшка, а это не достоинство человека, это его профессия. Но волнует меня ваше будущее. Сегодня после отстрела зверя, когда я подойду к вашему номеру, вы мне скажете «да». Понимаете?

— Я готов сказать вам «да» прямо сейчас. Мне только не совсем понятно, о каком «да» идет речь.

— Вам пять лет? Вы плохо выговариваете букву «р»? Вы еще мочитесь в кроватку? Перестаньте, дуся, мы ж с вами люди вполне зрелого возраста.

— А если «нет»?

— Умница. Хорошо, что вы сказали про «нет». Я запамятовал сказать вам об этом. Если я услышу «нет», то завтра мы будем хоронить вас, как случайно застрелившегося на охоте.

— Такая жестокость, Кирилл Николаевич,— улыбнулся Исаев.

— С людьми вашей профессии и ваших связей мне иначе нельзя.

— Клянусь богом, я буду нем как рыба.

— Мне уже говорил про это ваш приятель Чен,— глядя в глаза Исаеву, сказал полковник.

— Ув-ле-чен,— пошутил Исаев.

— Неужто вы не знали, что Чен — это чекист Марейкис? — тихо спросил Гиацинтов.

— Сейчас начну хохотать и спугну изюбря, полковник.

— Бросьте. Партия сыграна, надо выбирать достойный выход.

— Вы знаете, что у многих контрразведчиков мания подозрительности — профессиональная болезнь, полковник?

— Наслышан.

— Любопытно, а в вашей конторе есть профсоюз, который защищает права занемогших на боевом посту?

— Хватит,— поморщился Гиацинтов и прибавил шагу, придерживая Исаева под руку.— Только не вздумайте шутить. Целить в изюбря буду один я.

— Знаете, Кирилл Николаевич, что-то мне не хочется идти на охоту. Я домой пойду.

— Значит, «да»?

— Нет.

— Это пока «нет». А домой я вас не пущу. Вернее, по дороге домой с вами и произойдет несчастный случай. Право, я не шучу. В нашей профессии есть одна опасность: заиграться. А я с вами заигрался. Мне обратно нельзя отрабатывать.

Исаев оглянулся: следом за ними шел еще один филер, который, по-видимому, все время сидел в машине и должен был идти замыкающим.

— Так что вот, Максим Максимыч, поймите меня, как человек, владеющий пером: я заигрался. И вы мне нужны. А зачем — я скажу вам после того, как услышу «да». Если «нет» — считайте себя покойником.

Разведчик обязан быть не только актером. В еще большей степени он обязан обладать даром режиссера, который может нафантазировать, а потом поломать уже нафантазированное, придумать новое и остановиться на самом талантливом.

Исаев понимал с самого начала, что на охоту, им же самим придуманную, Гиацинтов пригласил его неспроста. Исаев уже давно начал готовиться к этой «охоте». Он разбирал ее в воображении, от первой до последней секунды.

На что рассчитывал он, попросив Тимоху устроить охоту для Гиа-

цинтова? Он совершенно отчетливо понимал, что Гиацинтов постарается именно здесь, на охоте, в тайге, вдали ото всех, кто может Исаеву влиятельно помочь, поставить все точки над «и», поставить перед ним дилемму — «да» или «нет»? Сотрудничество с охранкой или отказ от сотрудничества? Следовательно, считал Исаев, именно здесь и надо будет разорвать гордиев узел его с Гиацинтовым взаимоотношений. Именно поэтому он пытался — иносказательно, конечно — объяснить Сашеньке, что временная разлука не означает окончательного разрыва; ожидание — лучшая гарантия любви и верности. Ему казалось, что Сашенька в чем-то понимает его, а полностью он, естественно, не мог ей открыться. Но он любил ее, и ему казалось, что она обязана будет домыслить то, о чем он не имел права ей говорить.

Как ему представлялась предстоящая операция? Она строилась на точном знании психологии истинного охотника, который считает унизительным отдать последний и решительный выстрел кому-либо, кроме себя самого. Это существует помимо охотника, это врожденное, неистребляемое, постоянное. А как говорил еще прошлым летом Тимоха, Гиацинтов был завзятым, азартнейшим охотником. Следовательно, считал Исаев, Гиацинтов не позволит никому из филеров стоять подле себя, потому что он слишком уверен в себе. Следовательно, Тимоха поведет филеров в загон, чтобы они гнали изюбря на полковника, и полковник прикажет им поступать именно так, если только егерь Тимоха попросит об этом. Тимоха, конечно, попросит, и Гиацинтов прикажет филерам идти в загон. Таким образом, он останется один, поставленный Тимохой точно возле высокой сосны, подле громадной, занесенной снегом скирды, в которой будут с ночи спрятаны люди из партизанского отряда Кулькова и Суржикова. Они-то и должны будут броситься на Гиацинтова со спины, когда Тимоха начнет гон изюбря с помощью филеров. Он станет кричать, охать, вопить, что, мол, изюбрь прямо на Кирилла Николаевича прет, полковник в эти мгновения превратится в самое внимание, но у него будет односторонее внимание, обращенное на лес перед собой, откуда с минуты на минуту должен выйти громадный изюбрь. В эти самые секунды на Гиацинтова и должны будут броситься партизаны, скрутить его, заткнуть рот и, смешав следы, бросить карабин полковника и его шапку возле полыньи, имитируя таким образом трагическую и нелепую смерть. А самого полковника унесут в тайгу по нехоженой тропке, где все следы стерты — над этим работал Тимоха и его друзья всю последнюю неделю. А там — в далекую партизанскую заимку, а потом Гиацинтова вместе с Исаевым партизаны должны

будут переправить через линию фронта к красным. Так задумал всю операцию Исаев. Сейчас секунды решали все: насколько точен был его план, сколь он прав в оценке гиацинтовского охотничьего характера, что Тимоха обговорил с партизанами и как те проведут свою часть операции. Словом, все решали мгновения, и Максим Максимыч, стоявший в сотне метров от полковника, весь похолодел, подобрался, и слышались ему секунды в ушах — шершавые и медленные.

Тимоха начал гон. Исаев сглотнул комок в горле. Он понимал, что, конечно, в крайнем случае придется брать полковника и его людей с боем, но эта операция «засветила» бы кульковский партизанский отряд, который пока что затаился, ожидая приказов из центра совсем неподалеку от белой столицы. Если бы узнали о его существовании, то, конечно, пришлось бы отряду отступать, да и неизвестно, смогли бы толком отступить, потому что каждый километр вокруг, на пути отступления, был забит войсками японцев, подпиравших русские тылы своим оружием.

Все вышло, как загадывал Исаев. Тимоха выстрелил два раза. В кустах пронесся старый изюбрь, всегда ходивший здесь на водопой. Тимоха завопил благим матом:

— Давай ко мне, загоняй на полковника! Ай, пошел, пошел, подранок, пошел!

Гиацинтов дернулся на месте, побелел лицом — азартен, махнул филерам рукой, весь подался вперед, взяв ружье на изготовку. Филеры побежали от полковника в кустарники, чтобы погнать изюбря, подраненного егерем, на полковника. Гиацинтов остался один.

Разгоряченные, сопящие филеры услыхали отчаянный крик Гиацинтова, когда были уже далеко в чаще. Заметались. Потом напролом, не разбирая дороги, ринулись к месту, на которое Гиацинтова поставил Тимоха. Спешка в незнакомом лесу — дело рискованное, заблудиться можно. На это Исаев тоже делал ставку. Он был убежден, что филеры, если услышат крик Гиацинтова и побегут к нему, наверняка заплутаются в чащобе. Тимоха должен будет найти сбившихся с пути филеров, собрать их всех и вывести к месту стоянки Гиацинтова для своего полного алиби. Так и вышло. А когда наконец филеры

вышли из кустарников, Гиацинтова уже не было. Тогда они побежали к реке, у полыньи увидели полковничий карабин, перчатку, ухан — и ничего больше.

Через четыре часа на заимку Тимохи прибыло семь машин с сыщиками, работниками контрразведки и прокуратуры, и только тогда все заметили, что отсутствует еще один человек: Максим Максимыч Исаев.

Прокурор, которого пытал Ванюшин, можно ли дать сообщение в газету о трагической и нелепой гибели Гиацинтова, сначала разрешил, но Воля Пимезов, адъютант Гиацинтова, отозвал газетчика в сторону и сказал:

— Не попадите впросак. Судя по всему здесь убийство, а не трагическая гибель. Даю вам добрый совет, Николай Иванович.

Сашенька сидела возле окна, которое оттаяло от дыхания многих десятков людей, набившихся в маленькое зимовье. Девушка неотрывно смотрела на лес, который насупился и потемнел.

— Николай Иванович,— спросил Ванюшина заместитель Гиацинтова полковник Суходольский,— вы давно Исаева знаете?

— А в чем дело?

— Да так, интересуюсь.

— Давно.

— Нет, вам придется дать ответики конкретные, потому что это у нас маленький допросик будет, Николай Иванович.

— Господа,— сказал один из прокурорских помощников,— пойдемте же на место происшествия, а то снег вон повалил.

А снег действительно начал идти, как в театре, громадными хлопьями, непроглядно и быстро. Снег помогал Исаеву, заметал следы, укрывая теплом землю, уставшую от войн.

— Ну, ты, рожа,— сказал Пимезов Тимохе,— признавайся подобру-поздорову, как все было, пока я кожу с тебя не спустил и на кнопки над головой не застегнул.

— Мальчик,— рассвирепел Ванюшин,— я этого человека знаю пятнадцать лет.

Пимезов смешался, ибо не думал, что говорил так громко.

— Нервы-с,— заметил он,— совсем сдают.

— Лечить надо, а не орать, как базарная торговка.

Исаев сидит рядом с Суржиковым и Кульковым. Лицо его растерянно и жалко.

Исаев читает шифровку, которую ему вручил связник, только что пришедший от Постышева. Исаев видит цифры. Их целая колонка, они пляшут у него перед глазами. А цифры эти говорят сейчас голосом Дзержинского:

«Вам предстоит изыскать возможность отъезда вместе с наиболее реакционной частью белогвардейцев в эмиграцию, для того, чтобы мы смогли знать через вас о новых заговорах против республики, которые, бесспорно, будут организовываться».

И подпись Дзержинского.

Исаев прочитывает шифровку еще раз, медленно сжигает ее на свече, растирает пепел по дощатому полу сапогом, потом тихо говорит:

— Понятно. Давайте сюда Гиацинтова.

Полковника вводят в землянку. Взгляд его сейчас кроличий, глаза красные, быстрые.

— Ну? — спрашивает его Исаев.— Как, Кирилл Николаевич?

— Плохо, Максим Максимыч.

— Понятно, что плохо. Так «да»?

— Вы имеете в виду мою работу на вас?

— Именно.

— Я согласен.

— Так сразу?

— Я же у вас, что мне остается делать?

— Достойно умирать.

— Не хочу.

— И правильно.

— Гарантии?

— Ваша помощь.

— Пожалуйста.

— Мне нужны все группы, которые вы отправили к нам в тыл.

— Гарантии? — повторил полковник.

— Честное слово.

— Вы же разведчик.

— Именно.

— Этого мало.

— Ладно. Вы на протяжении ближайших двух-трех лет будете нам нужны. У вас есть люди в парижских эмигрантских кругах?

— Да.

— В берлинских?

— Тоже.

— Это залог вашей жизни. Я у вас не прошу сейчас рекомендательные письма к ним. Но они мне вскорости понадобятся. В сопроводиловке я это написал.

— В какой сопроводиловке?

— Это наше словечко, надо бы знать. В бумаге, которую передадут мои люди вместе с вами в штаб, в Читу, а затем в Москву.

— Меня отправят туда?

— Конечно. И если вы вздумаете шутить по дороге, вас пристрелят. Это я вам обещаю. А что делать? В нашей профессии, как вы говорите, самое опасное — заиграться...

— Я не пойду туда!

— Бросьте, Кирилл Николаевич, хватит.

Когда Гиацинтова увели, Исаев спросил:

— А как я туда с пустыми руками приду? По легенде ж я зверя преследую.

— По чему? — спросил Суржиков уважительно.

— По легенде,— улыбнулся, вздохнув Исаев,— есть такое у нас словечко...

— Мы сначала думали вас вязать,— сказал Суржиков,— больно вы на харю-то аккуратный. Сомнение было взяло. А что касаемо зверя, так мы изюбренка подстрелили, можем отдать, чтоб вам не с пустыми руками...

Дверь тимохинского зимовья открылась, Исаев сделал шаг в комнату, забитую сыщиками и следователями, и упал. За спиной у него был изюбренок, килограммов на шестьдесят.

— Двадцать километров пер, сволочи,— прохрипел он,— никто встретить не смог. Спать хочу. Там и большой лежит.

И, сняв шапку с мокрой головы, он лизнул сухим, шершавым языком снег, занесенный кем-то из сыщиков в заимку.

Стало очень тихо. Все недоуменно переглядывались, а потом к Исаеву подошла Сашенька с сияющими глазами, стала перед ним на колени и принялась целовать его воспаленное, сухое лицо.

Ванюшин, кривя лицо, сказал:

— Дерьмо вы, а не сыщики. Деньги вам платить, так лучше учить проституток китайской грамоте. «Убийство», «допросик»,— передразнивал он контрразведчиков и смачно, презрительно сплюнул.

Те переглянулись и ничего не ответили. Ванюшин подошел к Исаеву, по-шутовски согнулся и шепнул ему на ухо:

— А патрон, судя по твоим словам, был один, Максик... Как же двоих зверей ухандокал, а, маленький мой?

Через три дня полковник Суходольский, назначенный Меркуловым исполняющим обязанности начальника контрразведки, вызвал Исаева через подставных лиц на свидание в оперативный отдел штаба молчановской армии. Он пошел навстречу Исаеву с открытыми для объятий руками. Чуть заикаясь — это было у него в минуты сильнейшего волнения,— Суходольский спросил, глотая открытые гласные:

— Так что же, друг мой, «да»?

Исаев улыбнулся и сказал:

— Покойник был шалунишкой и болтуном. С вами страшно иметь дело — вы слишком ветрены в симпатиях и болтливы в дружеских беседах с друзьями из мира богемы. Тем не менее я уже сказал покойнику на охоте — «да». Я повторяю вам, Суходольский,— «да»! Да! Слышите вы?! Да! Но одно условие — никаких кличек, номеров и шифров — я идейный борец, я против доносительства и политического негодяйства. Ну, будьте здоровы, надеюсь, вы не станете меня задерживать для любовного объяснения. Кстати, ваши деньги мне не будут нужны, они воняют разложением и трусостью. Не пугайтесь, дерзость — это моя манера, она симпатична тем, чья профессия — сдержанность и благопристойность.

ВОЛОЧАЕВКА

Поздняя ночь. Огромная луна. Черные тени от изорванной колючей проволоки рвут искрящийся снег.

Тихий говор санитаров, крики раненых, которых относят к походным фельдшерским пунктам на носилках, смех живых и легко обмороженных слышен сейчас здесь.

По бескрайнему полю, среди трупов, идут Блюхер, Постышев, командиры полков, бригад и партизанских отрядов.

— Белый,— кто-то говорит тихо, показывая на труп молоденького паренька. Глаза — стеклянные, удивленные, чистые, как вода.

— Еще белый.

— Каппелевец.

— Семеновец.

— Наш.

— Белый.

— Наш.

— Белый.

— Хватит,— тихо говорит кто-то,— русские они все. Хватит...

Дальше командиры идут молча — по отвоеванной земле, после великой победы, среди трупов русских людей, припорошенных искрящимся, синим снегом.

ПОСЛЕ ВОЛОЧАЕВСКОЙ ПОБЕДЫ

Ллойд Джордж заявил, что он считает необходимым переговоры на Генуэзской конференции с делегатами единственного правительства, которое может представлять Россию, то есть с делегатами ленинского правительства.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА ИЗ ГЕРМАНСКОГО МИДа НАЧАЛИ ВЕСТИ ЗАКРЫТЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С РСФСР О ЗАКЛЮЧЕНИИ МИРНОГО И ТОРГОВОГО ДОГОВОРОВ.

Король Италии принял наркоминдела Чичерина и заявил о желательности дальнейшего расширения итальяно-русских контактов.

Министр торговли США сказал журналистам:

— Мы можем торговать с Россией Ленина, и мы будем предпринимать шаги в этом направлении, ибо ленинское правительство единственная реальная сила между Варшавой и Токио.

ВЛАДИВОСТОК

Ах, праздник пасхи! Светлое Христово воскресение! Крестный ход вокруг церкви, высокие голоса певчих, слезы на глазах у сотен людей, запрудивших все переулочки вокруг храма, слова праздничной службы, произнесенные отцом Никифором, христосованье, голуби в темном ночном небе и неумолчный перезвон колоколов. Малиновый, неистовый, уносящийся в небо и падающий на темную океанскую гладь, торжественный, единственный в мире и единственный в каждом году пасхальный перезвон колоколов.

Звонарь делает чудеса. Колокола тягуче поют. Сверху, со звонницы, сквозь винтовую лестницу, служба слышна в храме, а если опуститься на три винта вниз — видны лица людей, осиянные радостью и надеждой. А наверху, в маленькой комнатенке, где звонарь хранит свой нехитрый инструмент, сейчас идет заседание подпольного ревкома. Товарищ, присланный Постышевым, помогая словам обстоятельным и круглым жестом левой руки, очень медленно говорит:

— Собственно, повестка у нас практически исчерпана. Сейчас руководители подпольных десяток должны начать подготовку к вооруженному восстанию. В первую голову надо продумать, как нам сподручнее спасти наших товарищей, томящихся в концлагере на Русском острове и в тюрьме. Их, по-видимому, будут пытаться уничтожить по суду, чтобы взять реванш за ту попытку, когда ничего не получилось у Меркулова с Гиацинтовым. Наша задача — не допустить этого. Ждать осталось недолго.

Холодное осеннее солнце. Ветер. Океан. Крики десятков тысяч людей. Сашенька, прижатая к железным перилам исступленной толпой, смотрит вслед отваливающему от причала последнему кораблю с беженцами. Глаза у Сашеньки полны слез, она ничего не видит сейчас вокруг, она пытается идти за медленно отваливающим пароходом, на корме которого, вцепившись ледяными пальцами в поручни, стоит Исаев. Ветер рвет его волосы, он неотрывно смотрит на Сашеньку, которая с каждой минутой становится все меньше и меньше, а возле него стоит Воля Пимезов из контрразведки, генерал Молчанов, генерал Глебов, Суходольский... А Сашенька все меньше и меньше делается, совсем она становится крошечной точкой на пирсе, а ветер все рвет его волосы, бьет ему в глаза горький и прекрасный ветер океана.

В номере «Версаля» возле огромного окна, выходящего на залив, стоит Ванюшин. Он стоит недвижно, заложив руки за спину, и смотрит, как тысячи людей осаждают последние корабли японцев и американцев. Он слышит, как дети исходят в крике, как женщины протягивают руки к тем, которые, убрав сходни, стоят на верхней палубе в своих аккуратненьких военных формочках, жуют апельсины, фотографируют и эдак беззаботно переговариваются друг с другом, показывая пальцами на обезумевших людей внизу, на пирсе...

Ванюшин стоит недвижно, насвистывая какой-то мотивчик из оперетты. Потом достает пистолет из заднего кармана брюк, вставляет дуло в рот и нажимает курок. Грохочет выстрел. Ванюшин падает на блестящий паркет. А на столе валяется его записочка:

А подите-ка вы все к матери!

А с запада, через рабочие окраины, в город, в «нашенский Владивосток», входят части Народно-революционной армии. Женщины из подвалов, бледные детишки, старики, рабочие, инвалиды — все они бегут рядом с красными бойцами, смеются и плачут. Это уж так всегда: война кончается слезами. И для победителей и для побежденных.

Семенов Юлиан Семенович

ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН

М., «Советский писатель»,
1966, 280 стр.
Тем. план вып. 1966 г. № 73

Редактор З. В. Одинцова
Художник Вл. Медведев
Худож. редактор Е. И. Балашева
Техн. редактор Н. Д. Бессонова
Корректоры С. И. Малкина
и И. Ф. Сологуб

Сдано в набор 10/III 1966 г.
Подписано к печати 29/IX 1966 г.
А 15428. Бумага 60×84$^{1}/_{16}$.
Текст отпечатан на бум. тип. № 2.
Печ. л. 17$^{1}/_{2}$(16,27). Уч.-изд. л. 17,09.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 75.
Цена 54 коп.

Издательство «Советский писатель»
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома
Комитета по печати
при Совете Министров СССР
г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

[redacted] 54 коп.

54 коп.